Карнович Е.

ПАГУБА
ПЕРЕПОЛОХ В ПЕТЕРБУРГЕ

История в романах

Пагуба: Роман; Переполох в Петербурге: Повесть //Мир книги, Москва, 2010
ISBN: 978-5-486-03409-1
FB2: Roland “Roland ”, 20.01.2018, version 1.0
UUID: 0d087d63-fa81-11e7-a5c8-0cc47a1952f2
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Евгений Петрович Карнович

Пагуба. Переполох в Петербурге (сборник)

(История в романах)

Евгений Петрович Карнович (1823–1885) – выдающийся русский историк и писатель. Автор многих интересных работ по русской истории, он известен также своими беллетристическими произведениями, в которых он описывает исторические события и рисует портреты исторических деятелей, основываясь на реальных документах, письмах и воспоминаниях участников событий.

В данном томе публикуются два произведения писателя. Исторический роман «Пагуба» посвящен секретной странице русской истории – «Лопухинскому делу», «заговору» придворных дам против императрицы Елизаветы Петровны. В центре повествования – клубок дворцовых, политических, любовных интриг, жертвами которых стали невинные люди. Основанный на документальных источниках, роман достоверно воссоздает быт, нравы и судьбы людей елизаветинской эпохи. Повесть «Переполох в Петербурге» это тоже история, история первого в России публичного дома.

Содержание

#1 0007
Пагуба 0008
I 0008
II 0032
III 0040
IV 0048
V 0060
VI 0076
VII 0091
VIII 0107
IX 0122
X 0137
XI 0147
XII 0163
XIII 0176
XIV 0184
XV 0199
XVI 0213
XVII 0228
XVIII 0232
XIX 0247
XX 0256
XXI 0271
XXII 0280
XXIII 0294

XXIV 0303
XXV 0318
XXVI 0334
XXVII 0347
XXVIII 0365
XXIX 0373
XXX 0394
XXXI 0411
Переполох в Петербурге 0419
I 0419
II 0424
III 0427
IV 0433
V 0443
VI 0455
VII 0462
VIII 0476
IX 0483
X 0488
XI 0495
XII 0504
XIII 0510
XIV 0517
XV 0522
XVI 0527
XVII 0536
XVIII 0543
XIX 0556

XX 0565
XXI 0571
XXII 0583
XXIII 0587
XXIV 0601
XXV 0616
XXVI 0623

Евгений Петрович Карнович
Пагуба

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Пагуба

I

В небольшой, но опрятно убранной комнате, на одной из многочисленных и скромных лифляндских мыз[1] сидели за дубовым чистым столом двое пожилых мужчин. Они составляли между собою совершенную противоположность по их внешности. Один из них, в котором легко было узнать хозяина, так как он угощал своего собеседника, был невысокий, здоровый и толстый весельчак с широкою грудью, короткою шеей и выдавшимся брюхом. Несмотря на свои почтенные годы и тучность, он отличался проворством и ловкостью. Часто во время разговора он или, вскакивая с места, смеялся от души, то отмахиваясь обеими руками, то держа ими свое дрожавшее от смеха брюхо, или, оставаясь сидеть, сильно притопывал об пол своими короткими ножками в такт хохоту. Иногда, после громкого хохота, он отваливался на спинку кресел и с трудом дышал, как будто только

что сбросил с плеч тяжелую ношу.

Другой собеседник – гость – был не столько высокий, сколько долговязый и поджарый, с коротким туловищем, с выпяченною искусственно грудью, на худеньких и тонких, точно жерди, ногах, и прежде всего напоминал собою журавля. Сидя на креслах, он беспрестанно вытягивал вперед свои ноги, обутые в высокие кожаные краги. Худощавое, с множеством мелких, неглубоких морщин, вроде продолговатых насечек, и с вытянутыми щеками лицо; лоб с высокими взлизами и глубоким вдоль его шрамом; орлиный, но вместе с тем аляповатый нос; впалые большие серые глаза под седеющими густыми бровями и, наконец, длинные и густые опущенные книзу усы с сильно пробивавшейся проседью, придавали этому гостю воинственный вид. Одежда его соответствовала как нельзя более этому виду. На нем был военный мундир тогдашнего немецкого покроя, из темно-зеленого сукна, с небольшим отложным воротником красного цвета, с мелкими круглыми пуговицами, и узкие лосиные панталоны; а на затылке болталась, словно маятник, то в ту, то в

другую сторону, небольшая, плотно свитая косичка. Сбоку у него висел на белых ремнях с огромным эфесом большущий палаш[2], который беспрестанно грохотал, стукаясь об пол, и который он по временам ставил между колен, складывая на его рукоятке свои жилистые руки или упираясь на него его гладко выбритым острым подбородком. К грохоту палаша примешивалось очень часто и звяканье огромных шпор. На столе перед ним лежали белые лосиные перчатки, небольшая треуголка тогдашней формы, с поднятыми с трех сторон полями, а отсрочивавший их золотой галун показывал людям, знавшим толк в тогдашней военной форме, что лицо, которому принадлежала треуголка, было особой штаб-офицерского ранга. Гость, говоривший, как и хозяин, по-немецки, произносил слова резко и отрывисто и порою так строго упирал свои глаза в собеседника, что тот если и не трусил своего приятеля-гостя, то все же весьма заметно проникался к нему уважением, отзывавшимся сознанием какой-то дисциплины. В это время он дружеское «ты» заменял обращением к своему собеседнику на «вы», прибав-

ляя слова «высокородный господин, герр майор, герр фон Шнопкопф» и т. п., и веселость его на несколько времени замирала.

При разговоре двух старых приятелей присутствовало еще и третье лицо, которое, собственно, нельзя было назвать собеседником. Это был мальчик лет одиннадцати – красивенький белобрысенький немчик. Видно было, что на него майор производил чрезвычайно сильное впечатление. Он превращался весь в слух, стараясь не проронить ни одного слова, произносимого воинственным гостем; но лишь только гость хотя случайно обращал на него свои глаза, мальчуган жался, ежился и как будто хотел куда-нибудь спрятаться от этих серых глаз, словно проникавших во все его помыслы. Очень бы хотелось подростку Фридриху подержать в руках или хоть потрогать блестящий палаш майора, надеть на свои маленькие руки его огромные перчатки с раструбами и его треуголку, но об этом нельзя было и подумать: майор смотрел так грозно, что при одной мысли о дерзостном прикосновении к его амуниции у мальчугана опускались вниз руки, черзвычайно шалов-

ливые в другое время.

Беседуя со своим приятелем, майор порою вынимал вставленную в один конец его рта коротенькую глиняную голландскую трубочку, из которой он с наслаждением тянул дым, слегка пошлепывая губами, как будто смакуя вкус той горечи, которая лезла ему в рот. Такие трубочки были тогда в Европе во всеобщем употреблении и со времени Петра расплодились и у наших солдат под названием «носогреек». Майор курил крепчайший кнастер[3], от которого даже у него, несмотря на всю его привычку к этому снадобью, по временам мутило в глазах и в них начинали вертеться зеленые, синие и красные круги. Время от времени майор протыкал набитый плотно в трубку кнастер длинной медной спицей, привешенной к трубочке.

– Его курфиршское высочество, – рассказывал майор своему хозяину, – соизволил отдать тот отряд, к которому я принадлежал, в распоряжение его величества короля шведского Карла XII, и я, таким образом, участвовал в победоносной для шведов баталии под Нарвой. Побывал я потом в Польше, а затем

пришли мы в Малороссию – страну очень хорошую, где можно жить и продовольствовать войско очень дешево. Под Нарвой меня прокололи вот сюда пикой, – майор дотронулся рукой до левого бока, – но так как мы остались победителями, то раненые наши, в том числе и я, не были взяты в плен. Совсем другое вышло под Полтавой: там мы были разбиты русскими, и я, раненный пулею вот сюда, – майор высоко задрал вверх правую ногу и указал на ее щиколотку носком левой ноги, – был взят русскими в плен.

Так как Шнопкопф рассказывал теперь о своих военных деяниях, то требовалось оказать ему особенное уважение, и вследствие этого хозяин изменил свое приятельское обхождение с майором на почтительное.

– Ведь вы, господин майор, были взяты в плен вместе с его сиятельством господином графом фон Левенвольдом, моим земляком и почти соседом? – полунапоминая и полурасспрашивая своего собеседника, сказал хозяин. Хотя он очень хорошо знал это обстоятельство, рассказанное ему уже майором, но не упускал случая повторить этот вопрос, так

как этим он давал майору повод завести сетования на испытанные им, Шнопкопфом, неудачи по службе, а майор, будучи совершенно одиноким человеком по своему семейному положению любил разговаром об этом предмете с близкими ему людьми хоть несколько отвести свою скорбящую душу.

– Да, но он был тогда простым драгуном и моложе меня на много лет, а теперь какая между нами разница? – хотя и с грустью, но без малейшего проявления зависти проговорил старый служака.

– Но как же он так далеко ушел? – спросил хозяин.

– Через карты и через женщин, – проговорил вполголоса майор, вытянув вперед шею по направлению к хозяину и полагая, что при таких предосторожностях он охранит от всякого соблазна присутствовавшего при этом разговоре мальчугана.

Хотя Фридрих не имел никакого понятия о карточной игре, а тем менее мог себе представить ту огромную и бешеную игру, какую вел Левенвольд в Петербурге, и хотя он, по своему детскому возрасту, не в силах был без посто-

роннего истолкования домыслиться, каким образом можно через женщин выходить в знатные люди, но тем не менее, как это часто случается в детстве, слова майора «женщины» и «карты», хотя и без сознания их настоящего значения, запечатлелись в памяти Фридриха вместе со столь часто повторявшимся в доме отца его именем Левенвольда, о котором говорили как о необыкновенно счастливом человеке.

– Да и что для нас, немцев, значит военная служба? – как бы спросил самого себя с оттенком грусти старый рубака. – Разве мы служим нашему отечеству? Мы служим только тому знамени, под которое то сегодня, то завтра поставит нас слепая судьба.

Майор быстро выдернул изо рта трубку, положил ее боком на край стола и, загремев палашом, встал с кресла и вытянулся во весь рост.

– Я верою и правдой служил тем знаменам, под которыми находился, – торжественно проговорил он, подняв к потолку правую руку, как для присяги. – По повелению моего всемилостивейшего государя данную ему во-

енную присягу я перенес на его величество короля шведского. В сражении под Полтавой меня взяли в плен русские, но не захватили меня, как труса, – я лежал на поле битвы с простреленной ногой и без памяти, ошеломленный ударом сабли по лбу. Плен при таких не позорных ни для какого воина условиях освободил меня от обязательства перед королем шведским, и я получил полное право выбрать себе новое знамя.

Так как майор произносил все это с горячностью и убеждением, стоя на своих длинных ногах, то хозяину показалось неприличным оставаться сидя, и он счел нужным также встать и при этом наставительно подмигнул мальчугану, который вскочил со своего стула; таким образом, вышло нечто торжественное.

– Его величество царь Петр Алексеевич, – продолжал майор, – умевший ценить славу и понимавший несчастье людей, обласкал нас, пленных, и предложил тем, которые могли считать себя вправе отречься от присяги королю, вступить в его царскую службу. Я был свободен и с чистою совестью присягнул военному знамени русского царя; до русских же

мне не было, собственно, никакого дела, я их и знать не хотел, но по повелению царя я всегда и на всяком месте сумел бы умереть за него, как следует честному солдату, и соблюду этот долг до тех пор, пока буду служить знамени, которому присягнул.

– О, я знаю, ты честный служака, – подхватил хозяин, обращаясь к майору, медленно, со стуком палаша опускавшемуся в кресло.

– Мне, впрочем, русская служба не совсем чужая; еще дед мой служил в иноземном войске в Москве при тамошнем царе, – не помню теперь, как его звали, – да убежал оттуда, – продолжал майор.

– Значит ты, дорогой Ульрих, не в него пошел. Плохой он, видно, был служивый!

– Нет! – с жаром вскрикнул майор. – И я то же самое сделал бы на его месте. Дед мой был обязан повиноваться только воинскому уставу, а ему вдруг захотели отрезать нос...

Хозяин изумился, а мальчуган встрепенулся и с напряженным любопытством навострил уши.

– Отрезать нос? – сдерживая с трудом подступивший к горлу хохот, спросил хозяин.

– Да, ему хотели отрезать нос по указу главного московского попа, которого называли патриархом, – с негодованием заговорил майор, – и хотел его так наказать за то, что он курил табак, ну а такому закону он не обязывался подчиняться. Он должен был повиноваться только своему начальству, а тут, как оказалось потом, вмешались, по подозрению, русские попы. Что они за командиры немцам?

– Да, да, совершенная правда, – поддакнул хозяин.

Майор хотел было продолжать, но его собеседник готовился разразиться хохотом. По лицу хозяина уже начало скользить судорожное подергивание – предвестник неудержимого хохота. Он хотел как-нибудь предупредить его взрыв подходящею шуткою, так как засмеяться только рассказу майора было бы крайне неприлично.

– А большой был нос у вашего дедушки? – вдруг спросил хозяин и захохотал уже во все горло.

Мальчуган, который до сих пор слушал рассказ Шнопкопфа не без ужаса, вдруг на

всю комнату прыснул от смеха.

– А ты, сшенок, как отваживался смеяться над законом? – вдруг на ломаном русском языке обратился майор к Фридриху, грозя ему пальцем. – Я буду тебя научивать, как следует уваживать закон! – с запальчивостью гаркнул майор.

Мальчик, не понимая, на каком языке так грозно заговорил майор, вскочил, оторопевши, с места, а хозяин от изумления разинул рот.

Майор, строго взглянув на своего собеседника, принялся объяснять ему то, что сказал по-русски Фридриху, и стал внушать, что дисциплина требует, дабы молодые люди не позволяли себе издеваться над тем, что устанавливают или требуют старшие, кто бы они ни были, хотя бы и русские попы, и что если он, майор, мог осуждать закон, как человек взрослый, порядком поживший на своем веку, то все же молокососы, подобные Фридриху, должны держать себя чинно при старших и только почтительно слушать, что говорят эти последние, не выражая при этом даже знаков одобрения, а тем еще менее имеют

они право выражать знаки порицания.

Хотя и должно было показаться слишком странным, что немец-майор вдруг, ни с того ни с сего, заговорил с Фридрихом по-русски, но это объясняется очень просто. Подогретый уже разговором о святости воинского долга, майор невольно перенесся мыслью в ту среду, в которой он вращался уже двадцать восемь лет, – в среду своих подчиненных из русских, и начал в каком-то полузабытьи делать нагоняй Фридриху на русском языке по привычке, так как этот язык почти исключительно употреблялся им в подобных случаях. Нельзя, впрочем, не добавить, что раздражению вспыльчивого майора посодействовала и насмешка над дедушкиным носом.

Шнопкопф мог быть признан одним из главных типов немецких воинов прошлого века. Мог он, вместе с тем, – при отсутствии в ту пору так называемых ныне «политических принципов», – считаться и типом простого, честного солдата. Надобно сказать, что в это время мелкие владетели разрозненной Германии обратились, между прочим, в поставщиков «пушечного мяса». В их резиденциях

беспрерывно слышались и наигрывание охотничьих рожков, и грохот барабанов, и под эти надоедавшие местным жителям звуки и стукотню обучались военным экзерциям[4] верноподданные герцогов, князей, маркграфов, ландграфов, пфальцграфов[5] и т. д.

Достаточно обученные военной выправке и военным приемам, они то оптом, то в розницу сдавались в временное распоряжение разным верховным правителям, имевшим надобность воспользоваться наемными воинскими силами. Такие сделки, – как обыкновенные имущественные сделки, – заключались своего рода нотариальным порядком. Один владетель обязывался другому выставить, под страхом денежной неустойки, к такому-то сроку такое-то число гренадеров, драгун, кирасиров, бомбардиров, драбантов и других всякого приспособления военных людей. Получивший же их во временное пользование другой владетель обязывался возвратить всю эту рать «в целости» ее собственнику, но так как болезни и баталии не обращали внимания на святость и на нерушимость

подобных договоров о сохранении чужой собственности, отданной только на время, а не окончательно, то в договорах об этом постановлялось, что настоящий владелец должен за утрату или порчу его воинства получить известное денежное вознаграждение. Весь могущий произойти при этом ущерб был расписан по статьям с немецкою аккуратностью. Постановлялось, что за полегшего «на поле чести» фендриха должно быть заплачено столько-то, за ефрейтора столько-то, за капрала столько-то и т. д.; провиделась также возможность различных увечий и поранений, причем производима была предварительно их оценка. Ценились тут руки, ноги, глаза, зубы, нужные солдату, чтобы скусывать ружейный патрон; перечислялись тут и другие увечья, делающие всякий воинский чин неспособным к дальнейшему отправлению его боевых обязанностей. Затем уши и нос не входили в оценку, так как истинно храбрый воин мог бы обойтись и без них.

В одну из таких ратных поставок попал и Шнопкопф, понявший уже слишком свято свою обязанность умирать или быть искале-

ченным ради денег, полученных его августейшим повелителем. Он усердно бил тех, на кого его натравливало начальство, и, в свою очередь, не раз был бит и мят сам куда как больно, собственно, ни за что ни про что. Под Нарвой его, несмотря на победу со стороны той рати, к которой он принадлежал, вдобавок к той ране, которую он получил в бок, вздули еще шибко прикладом; под Полтавой его придавили чем-то тяжелым и стукнули саблей вдоль лба. Но все эти раны не шли у него в счет, и Шнопкопф, вспоминая о них, только радовался, что имел случай выполнить свой священный долг перед тем знаменем, которому он принес присягу, хотя и недобровольную. Битва под Полтавой безупречно освободила его от прежней, слишком невыгодной для него присяги, и он, достигнув теперь в русской службе майорского чина, был по-своему доволен и если с некоторою грустью и вспоминал разницу между собой, незаметным еще майором, и блестящим гофмаршалом Петербургского двора графом Левенвольдом, красавцем и записным игроком, то вспоминал лишь как о примере, наглядно

поучающем, что у судьбы есть и свои балуемые чада, и свои пасынки, к которым она относится совершенно равнодушно.

После русского окрика на легкомысленного немчика и внушения, сделанного его весельчаку-родителю насчет необходимости внедрять дисциплину в юные сердца, а также после согласия со стороны отца о пользе такой заботы, разговор весьма естественно перешел к вопросу о будущей судьбе Фридриха. Отец хотел приспособить сына к мирным сельским занятиям, но майор твердо и красноречиво настаивал, чтобы отец отдал будущего юношу в военную службу. При этом он растолковал, что военная служба в России – дело для немцев очень подходящее, и что если при нынешних условиях посвятить ей себя смолоду, то можно уйти куда как далеко – можно попасть не только в генералы, но, пожалуй, добраться и до фельдмаршала.

– Много немцев служит в русских войсках, но их в солдатах мало, почти все они состоят в офицерах, и немало есть также из них и полковников и генералов, – говорил Шнопкопф. – Фридрих найдет себе в Петербурге хо-

рошую немецкую компанию. Вот еще недавно учреждены в Петербурге два гвардейских полка, конный и Измайловский, в которые хотят принимать исключительно немцев. Да что и говорить – живется нам в России не худо! Фельдмаршал Миних родом из Ольденбурга, а первое лицо при ее величестве, его светлость герцог Курляндский – немец из ваших краев; а потом наберется еще много и других наших единоплеменников, состоящих в больших чинах.

– Да вот хоть бы один из моих земляков, – не без гордости вставил хозяин, – генерал Балк, как высоко зашел; значит, служил исправно.

Гость не поддержал на этот раз хозяина. Он не ответил ничего, но, вспомнив историю Монсов и не слишком приглядный брак Балка с Матреной Монс, закусил нижнюю губу и отрицательно помотал головою, а на его строгом и честном лице выразилось неудовольствие. «По-моему, следует служить вовсе не так, чтобы дойти до генеральского чина, – подумал майор, – чин этот надо брать или в сражении, или на учебном плацу, а не иными

способами».

– Через дочь свою генерал, как у нас говорят, и с царским семейством породнился, – продолжал хозяин, довольный тем положением, какое занял в России лифляндский дворянин фон Балк.

– Да, это правда, – равнодушно пробурчал майор, – царь Петр выдал его дочь Наталью за двоюродного брата своей жены, господина Лопухина, человека очень богатого.

– Вот оно как! – радостно крикнул отец Фридриха. – Когда я, по твоему совету, буду посылать моего сына на службу в Петербург, то непременно достану ему письмо к госпоже фон Лопухиной от ее здешних родственников, господ Лилиенфельдов. Она станет оказывать Фридриху свое покровительство, и вот, дорогой Ульрих, ты увидишь, как сынишка мой далеко пойдет! – И заботливый папаша весело захохотал при этом полною грудью.

– Прежде чем искать ему дамских протекций, – сурово проговорил майор, – пусть постарается заслужить расположение своего военного начальства.

– Да ведь ты, любезный мой приятель, возьмешь его под свой надзор?

– И сделаю из него исправного солдата, если ты мешать не станешь. Будет дурно служить и не помогут увещания, так примусь и за фухтеля[6]. Шутить я не люблю.

– Ой! Ой! О! – вскрикнул хозяин, которому показалось, что и по его спине гуляет это исправительное орудие.

– Фридрих Бергер! – громко и повелительно крикнул Шнопкопф, встав с кресла.

– Фридрих Бергер! – еще повелительнее и еще громче позвал к себе майор мальчугана, который, после заданной ему русско-немецкой острастки, поспешил улучить благоприятную минуту, чтобы убраться от грозного майора.

Шнопкопф между тем надел перчатки и шляпу, подтянул пояс у палаша и принял внушительную позу в ожидании появления своего будущего питомца, который вскоре после второго зова в сильном волнении предстал перед майором.

Между тем старик Бергер в недоумении посматривал на майора, который в эту мину-

ту казался ему и смешным и грозным, так что он и сам не знал, что ему следует делать – хохотать или трусить.

– Ты должен на первый зоф являться по своему нашальству, – внушительно по-русски сказал Фридриху майор. – Нашальство требует тебя на караул, на тревог. Ты, как говоряйт русские, дерши всегда ухи остро.

Майор эту затвержденную по-русски речь, беспрестанно повторяемую им на службе, перевел теперь по-немецки, желая показать своим знанием русского языка, что он недаром получает свое штаб-офицерское жалованье и что он хоть и немец, но умеет учить русских солдат как следует, то есть прежде разъяснит им, что требуется от них, а потом уж взыскивает за неисправность.

Мальчуган стоял словно вкопанный, но с тою распущенностью, какая бывает свойственна детям, которых мало школят.

Майор отступил задом шага на три от Фридриха, пристально смотря на него.

– Слю... шай!.. Смирно! – скомандовал он, но нежданный новобранец не понял русской команды и, растерянный, смотрел на Шноп-

копфа.

Между тем майор, объясняя по-немецки Фридриху, что он от него требует, подошел к нему и начал кулаком подталкивать его подбородок, поднимая толчками, – на этот раз, впрочем, очень легкими, – вверх его голову. Потом, взглянув на него и заметив, что голова мальчика наклонена несколько в правую сторону, он стал тем же способом подавать ее влево до тех пор, пока не привел в такое положение, в каком голова солдата должна находиться во фронте.

Отец Бергер, посматривая на то, как майор выправляет его сына, и незнакомый вовсе с предварительными приемами военной муштровки, только удивлялся, пожимая плечами и покачивая в недоумении головою.

– Ты должен будешь служить исправно, честно и усердно; если же станешь шалить и не слушать начальства, то тебя, как сказано в воинском уставе, – можно будет «весьма шифота лишать через аркебузирование»[7].

Сказав это выражение, взятое буквально из русского воинского регламента, сперва по-русски, майор, для сведения и для надлежа-

щего вразумения Фридриха относительно предстоящих ему по воинской службе обязанностей разъяснил эти слова и по-немецки.

Малый струхнул не на шутку, и из глаз его выступили слезы.

– Я тебе, мой любезный друг, сделаю из него хорошего служивого, – обращаясь к отцу, самоуверенно сказал майор, слегка погладив Фридриха рукою по голове в виде начальственного одобрения.

– Я поручу тебе его в Петербурге, и там ты заменишь ему меня, – с чувством сказал отец.

– Знай наперед, приятель, что я по службе спуску ему ни на волос не дам, а во всех других случаях буду защищать его от притеснений и нападок и никогда не забуду, что он наш брат немец! – И майор протянул свою правую руку для дружеского пожатия с растроганным хозяином.

Шнопкопф пояснил Бергеру, что он, майор, назначен военною коллегией для осмотра и проверки военного обоза в полевых полках, расположенных в Лифляндии и Курляндии, и что, проезжая для исполнения этого поручения невдалеке от его имения, не мог не взять

несколько в сторону, чтобы повидаться хотя часок со своим старым другом. Затем он распрощался с хозяином.

– Когда на службе будешь прощаться со мною, – не преминул Шнопкопф внушить Фридриху, – то следует тебе держать руки по швам и сказать только: «Стравья шелаю, ваше высокоблагородие».

Майор, по существовавшему тогда по всей Европе среди военных людей обычаю, разъезжал и по проселочным дорогам не иначе как в полной форме. Только усевшись в бричку, да и то на ночь, он снимал с себя мундир, заменяя его, смотря по времени года, епанчою или тулупом, а треуголку – простою шапкой; но палаша не отцеплял никогда и возился с ним в дороге денно и нощно, твердо памятуя, что истинный солдат должен быть всегда в готовности к бою и что первым признаком такой готовности служит имение при себе надлежащего по роду службы оружия.

Майор выразил хозяину искреннее сожаление, что не мог засвидетельствовать своего глубочайшего уважения госпоже Бергер, его почтенной супруге, которая с двумя взрослы-

ми дочерьми уехала в гости, и просил ее мужа исполнить это за него.

Гремя своим палашом на всю мызу, майор взобрался в бричку, уселся в ней на разостланном сене и отдал провожавшим его отцу и сыну прощальный поклон по военному уставу. Почтарь протрубил в рожок, хлестнул лошадей длинным бичом, и бричка быстро выкатила из ворот на дорогу.

II

Проходил незаметно год за годом. Майор Шнопкопф, доказавший не раз свою честность и добросовестность по делам службы и по казенному интересу, продолжал исполнять поручение военной коллегии в Лифляндии, осматривая полковые хозяйства расположенных там войск и собирая справочные цены по поставкам фуража и провианта. При этих поездках он, если только представлялась к тому какая-нибудь возможность, всегда навещал своего старого друга. Беседы между ними при каждом свидании шли на старый лад и оканчивались внушениями майора определить Фридриха в один из полков, стоявших в

Петербурге, и отдать его под строгий надзор майора, так как подраставший мальчик, будучи на свободе, может до того избаловаться и испортиться, что потом, пожалуй, ни к чему уже не будет годен.

Самого Фридриха в это время майору муштровать уже не приходилось, так как отец, видя, что с взрослым парнем нет в доме никакого сладу, отправил его в Ригу. В Риге этот подросток, у которого уже начали пробиваться усики, сперва принялся только заглядываться на смазливых немочек, а потом и волочиться за ними. Он стал посещать пивные, погребки и разные увеселительные места, а когда приехал на каникулярное время на мызу, чтобы отдохнуть, и отец с своей стороны думал к нему обратиться с родительскими увещаниями относительно его разгульного образа жизни, то Фридрих и ухом не повел.

– Ты мне, батюшка, вместо того, чтобы читать пустые нравоучения, дай лучше побольше денег и отпусти меня в Петербург; там я и поступлю в кирасирский полк, – говорил отцу Фридрих, выросший, несмотря на свои только шестнадцать лет, чуть ли не на целую са-

жень. – В Ригу весною приезжал сын тамошнего аптекаря, пожалуй, не старше меня годами, а говорит, что он уже вахмистр, так что не сегодня-завтра будет корнетом[8], а я-то что ж у тебя без толку кисну?

Собственно, Фридриху служить не очень хотелось. Каждый раз при мысли о службе перед ним вставал призрак грозного майора, посвящавшего его лет пять тому назад в воинскую службу толчками под подбородок, но ему показалось слишком обидным его положение сравнительно с положением аптекарского сына. На него, как на школьника, никто не обращал никакого внимания, тогда как на проходившего по рижским улицам кирасира, громко стучавшего палашом, заглядывались и дамы и девушки, и тут-то Фридриху отчетливо уяснились схваченные им прежде на лету слова о Левенвольде, сделавшемся счастливым человеком через женщин.

Если прежде Бергер не очень желал определять своего сына в военную службу, то теперь, видя, что Фридрих делается беспорядочным кутилою, он обрадовался заявлению его, хотя и жаль ему было расстаться с накоплен-

ными – правда, в очень умеренном количестве – русскими рублевиками и немецкими талерами.

– Поезжай с Богом в Петербург, все равно ты теперь не живешь на моих глазах, – вздохнул старый немец, – а я попрошу господина майора фон Шнопкопфа, чтобы он наблюдал за тобою. Я стану высылать ему деньги, следующие на твое содержание, а он будет выдавать тебе их по мере надобности и по представлении тобой отчетов о расходах.

– Как же! Так я и захочу зависеть от этого старого хрыча! Да я к нему и не пойду вовсе.

Старик только пожал плечами, озабоченный тем, как устроить ему в полку Фридриха без содействия и руководительства со стороны уважаемого им господина майора.

– Добудьте мне только рекомендательное письмо к госпоже Лопухиной, а в Петербурге я сумею устроиться и сам, без Шнопкопфа, – сказал самоуверенно Фридрих, имея в виду счастливую долю графа Левенвольда, о котором ему так много толковали в Риге, и не принимая в расчет, что Рейнгольд Левенвольд был такой красавец, каких редко мож-

но встретить, а он, Фридрих, был ничего более, как только широкоплечий детина, пригодный по своей топорности только для кирасирского строя, но никак не для дамских будуаров, где требуется не только видная наружность, но и своего рода соблазнительные приемы и вкрадчивые речи.

Отец не умел противостоять требованию сына обойтись без майора, но тем не менее, уведомив Шнопкопфа, что он, Бергер, отправляет своего Фридриха в Петербург для определения в кирасирский полк, просил высокоблагородного господина фон Шнопкопфа хоть издали наблюдать за Фридрихом и в случае какой-нибудь могущей быть беды пособить ему и выручить его.

Завязав в замшевую мошну отсчитанную на первый раз отцом сотню рублевиков, Фридрих отправился в Петербург в чаянии той же самой радужной будущности, какая некогда ждала в Петербурге его земляка Левенвольда. Не менее, если еще не более, чем туго набитою мошной, дорожил Фридрих и рекомендательным письмом, добытым его отцом, к Наталье Федоровне Лопухиной, рожденной

Балк, племяннице или родственнице известной Аннушки Монс.

Попасть в дом Лопухиной в качестве рекомендованного ее родственниками лица было для Бергера большой заручкой. В ту пору в Петербурге – как это, впрочем, велось и всюду – сословность имела большое значение для того, чтобы занять на первый раз известное положение в обществе. Бергер не был по рождению дворянином, и ему трудно было бы втереться даже в круг своих земляков, служивших в Петербурге и под влиянием аристократических понятий сближавшихся только с равными по происхождению.

Майор был уже настороже в ожидании скорого появления в Петербурге молодого Бергера, считая, что он, майор, получил над ним хоть некоторую долю родительской власти, и воображая его таким же трусливым, как прежде, мальчиком, на которого стоит только прикрикнуть, чтобы подчинить его строгой дисциплине. Но молодой немец стал уже совсем не тот, каким знавал его майор.

Бергер явился в Петербург в последние годы царствования Анны Ивановны, во время

самого сильного могущества Бирона. Если положение, занятое в Петербурге Минихом, Левенвольдом и другими, хотя и менее важными, лицами из немцев, подстрекало их единоплеменников искать для себя в России и знатности, и богатства, и политического значения, то пример Бирона, вышедшего из ничтожества и ставшего на степень владетельного государя благодаря покровительству русской императрицы, еще более усиливал такое стремление, и Бергер явился в Петербург с твердым намерением так или иначе, но во всяком случае выйти на широкую дорогу, преодолевая все препятствия и не обращая внимания на те средства, которые могут привести его к желаемой цели.

В кирасирский полк он был принят беспрепятственно, поступив на службу, как это было тогда установлено для всех, простым рядовым.

Узнав об этом, майор Шнопкопф с нетерпением ожидал, когда к нему с должным решпектом[9] явится новый солдат. Майор с удовольствием воображал, как он заметит Фридриху какую-нибудь неисправность в об-

мундировке или в амуниции и стойке перед начальством, как он станет учить его по-русски установленным на службе выражениям и как он, обойдясь с ним сперва по-начальнически, будет потом обращаться с ним, как с немцем, по-дружески. Долго, однако, приходилось ждать старому служаке такой отрады. Дни проходили за днями, а Фридрих не только не является к своему покровителю, но даже и не думал о нем. Старик Бергер неоднократно в своих родительски нежных письмах напоминал сыну, чтобы он явился к майору, который очень огорчается таким невниманием к нему Фридриха и пишет, что он никогда не ожидал такого к себе пренебрежения со стороны молодого человека, которого, как он это очень хорошо помнит, он, майор, первый посвятил в основы воинских приемов и воинской субординации. Все напоминания старика об обидчивом майоре были, однако, напрасны, да и кстати ли было думать Фридриху о каком-то ничтожном майоре, если он надеялся и даже был уверен, что гораздо скорее и легче пробьет себе дорогу по службе иными, более надежными способами.

III

Дом Лопухиных, в который так порывался открыть себе доступ молодой лифляндец, громко звучал по своей древности и по родству с царским семейством. Он был известен и по тем бедствиям, которые фамилия Лопухиных испытала несколько лет тому назад. Главный, недавний его представитель, брат царицы Евдокии Федоровны, Авраам Федорович Лопухин, человек надменный и невежественный, держал сторону царевича Алексея Петровича, но царь Петр расправился с ним жестоко: голова боярина отскочила на плахе 9 декабря 1718 года.

После него главным представителем фамилии Лопухиных остался родной племянник казненного, Степан Васильевич. Петр послал его учиться морскому искусству в Англию, и надобно полагать, что после этого ученья молодой Лопухин сделался хорошим моряком, так как он командовал фрегатом «Феникс». Служил он и по дипломатической части, но, несмотря на все это, личность его представлялась не только не выдающеюся из ряда лич-

ностей заурядных, но можно сказать, была ничтожной. Как моряк старого времени, он усвоил себе общую, господствовавшую тогда не только в русском, но и в других европейских флотах слабость – любил крепко выпить, и неумеренные его попойки отозвались с годами мучительными припадками подагры. Как моряк, он был нелюдим и обществу женщин предпочитал товарищеский кружок, в котором главным условием времяпровождения была изобильная выпивка венгерского. Изнуренный недугами, он не хотел оставаться в Петербурге и большую часть года жил в своей подмосковной деревне.

Несмотря на это, дом Лопухина и без хозяина мог бы быть открытым и приятным домом, так как хозяйка его, Наталья Федоровна, могла, по своей любезности и светскости, заменять отсутствующего мужа. Но ей было теперь не до того. Из любви к избраннику своего сердца она отреклась от всех светских развлечений, редко выезжала куда-нибудь, а у себя принимала лишь немногих близких людей.

Попасть в дом Лопухиной Бергеру, небога-

тому и без всяких родственных связей молодому человеку, было делом нелегким, а между тем ему именно этого всего более желалось. В кругу молодежи он много наслышался о Лопухиной. Говорили часто в Петербурге о том, как ее красоте завидовали не только дамы, но и цесаревна Елизавета, которая, в свою очередь, слыла сама замечательною красавицей и при этом была шестью годами моложе Лопухиной, так что, по-видимому, зависть к красоте хотя еще и молодой женщины, но у которой подрастали дети, наглядно выдававшие ее годы, зависть со стороны девушки, только что расцветшей, казалась неуместной. Рассказывали также, что петербургские дамы старались как-нибудь походить на Лопухину, подражая ее нарядам и манерам. Вдобавок к обворожительной красоте, главною прелестью которой были необыкновенно чудные, темные и томные глаза, Лопухина была умна и образованна, а такими придатками не могли похвалиться тогдашние русские барыни.

Быть может, много думавший о себе кирасир и мечтал покорить себе сердце женщины,

о которой так много говорили в Петербурге, и тем самым обратить на себя внимание, так как вообще сердечные связи с такими женщинами, как Лопухина, придают в обществе мужчине своего рода почетную известность, и он становится предметом внимания других женщин. Сближение с Лопухиной могло представлять еще особое удобство: муж дал ей полную волю жить, как она хочет, так как женился на ней, а она пошла за него вовсе не по страсти. Чету эту обвенчал, не спрашивая ее согласия, сам Петр, и было неудобно отказываться от его сватовства, в особенности же когда он, будучи сватом, желал быть еще и маршалом на предстоящей свадьбе. Но если в этом случае муж Натальи Федоровны не мог быть для волокит никакой помехой, зато являлась со стороны другая помеха, которой, можно с уверенностью сказать, не преодолел бы никто.

Давно уже сошлась Наталья Федоровна с красавцем графом Левенвольдом и была верна ему непоколебимо. Со своей стороны, и он платил ей стойкою, незыблемою верностью, перед которою бессильны были искушения и

красоты и богатства. Это было не одним только предположением, но и действительностью. Екатерина высватала Левенвольду богатейшую в России невесту, княжну Варвару Алексеевну Черкасскую. Левенвольд сгоряча не прочь был от такого брака, дававшего ему неистощимые средства для мотовства, расточительности и картежной игры, до чего он был такой страстный охотник; но, одумавшись, он предпочел остаться по-прежнему кругом в долгах и очень часто без гроша в кармане для того только, чтоб не прекращать своих сердечных отношений к Наталье.

Но и помимо вопроса о самой Лопухиной лифляндчику хотелось втереться в ее дом уже и потому, что там он мог бы близко познакомиться с Левенвольдом, кружившим его голову своими успехами у женщин, и, хорошенько присмотревшись к нему, наладить себя на его образец.

Доступ в дом Лопухиной отчасти облегчался Бергеру семейной обстановкой хозяйки. Принадлежа по отцу к лифляндской фамилии фон Балк, служившей, впрочем, России уже в двух поколениях, она и по матери, Матрене

Ивановне Монс, не была чужда Лифляндии, так как ремесленник или виноторговец Монс приехал в Москву из Риги. И над семейством Монсов разразились страшные удары чисто романтического свойства. В Аннушку Монс Петр Великий был влюблен до безумия, и только Екатерина заглушила в царе кипучую любовь к Анне. Старшую сестру Аннушки, Матрену Ивановну, Петр выдал за генерала Балка, и от этого брака родилась Наталья, на которой царь женил Лопухина. Мать Лопухиной пострадала тоже. Когда Петру сделались известны отношения Екатерины к красавцу Виллиму, или Вильгельму Монсу, состоявшему камергером при императрице, то Петр, не без основания предполагая, что Матрена Балк содействовала близости этих отношений, отправил в ссылку генеральшу, приказав дать ей на дорогу десять ударов кнутом. Виллим же, как известно, погиб на плахе, но не по обвинению в нарушении того верования, что «супруги кесаря не должно коснуться даже подозрение», а по обвинению в лихоимстве. Он был приговорен к отсечению головы за то, что будто бы, пользуясь доверием государы-

ни, нарушил такое доверие, доставляя за взятки недостойным лицам должности и покровительство государыни, которая, будучи вводима им в заблуждение, в свою очередь невольно вводила в заблуждение и самого государя.

Так как Бергер все-таки не являлся к Шнопкопфу, то майор стал стороною наводить справки о строптивом кирасире; но как велико было огорчение старого служаки, когда он узнал, что молодой солдат и без помощи его оказывался исправным и толковым служивым. Он прекрасно ездил на коне и, будучи фланкером, отлично держал линию и как нельзя лучше проделывал разные эволюции и палашом и карабином, так что вскоре за успехи по фронтовой части был произведен в вахмистры, а это звание в ту пору для человека, хотя бы и немца, но не имевшего, по-видимому, никакой протекции, могло считаться большим успехом по службе.

На представившегося Лопухиной, с письмом от госпожи Лилиенфельд, Бергера генеральша не обратила особенного внимания, да и после изящного во всех отношениях Левен-

вольда Фридрих, не более как только молодцеватый, но неотесанный кирасир, не мог показаться ей ни красавцем, ни даже привлекательным юношей. Бывая, хотя и редко, в доме Лопухиной, он мало-помалу приятельски сошелся с ее сыном Иваном, который в год приезда Бергера в Петербург был юношей лет восемнадцати. Бергер начал с того, что стал оказывать молодому Лопухину свое покровительство по части разных развлечений и сделался товарищем его похождений. Последствием таких похождений была тесная между ними дружба, причем Фридрих руководствовался двоякими соображениями: во-первых, Лопухин был богатый и тороватый юноша, и, следовательно, открылась возможность кутить на его счет; а во-вторых, Бергер мог рассчитывать, что такой знатный боярский род, как род Лопухиных, не останется же вечно в загоне и что со временем он, Бергер, может найти себе в своем юном приятеле сильного покровителя.

IV

— Хотя я и немец, но я пошел бы арестовывать его высочество герцога Курляндского, – горячился майор Шнопкопф в кругу своих немецких родичей, находившихся в военно-русской службе. – Арестовать его приказал бы господин генерал-фельдмаршал граф Миних, мой главный начальник, – продолжал рассуждать майор, смотря с своей особой точки зрения на обязанности воинского звания, – и я не имел бы права рассуждать, правильно или неправильно распоряжается его сиятельство, и только должен был бы исполнить его приказание. Но я не осмелился бы никогда арестовать его высочество принца Брауншвейгского, так как он был генералиссимусом и, следовательно, верховным начальником всей военной силы в России, и об арестовании его никто войску приказывать не смел, а нужно было, чтобы его уволил от его высокой должности тот, кто имел на это право. Тогда бы я арестовал и его, но только в таком случае, если бы это приказано было в порядке дисциплины. Генерал, офицер и сол-

дат, получивший приказание от своего начальника, не смеет рассуждать – следует или нет исполнять то или другое, но только обязан слепо повиноваться.

Собеседники майора не входили в разбор происшедшего в Петербурге переворота с такой стороны, но только жалели, что немецкое господство в России кончалось, – говорили, что русские вообще, а русские солдаты в особенности, ожесточены против немцев и что этим последним теперь будет жить в России плохо; что не лучше ли ввиду этого подобру-поздорову убраться отсюда. Но майор рассуждал иначе, утверждая, что он служит военному знамени, а до всего прочего ему никакого дела нет и что он должен оставаться на своем месте, пока не получит «абшида»[10] в установленном порядке. Вместе с тем майор громко порицал низложение престола принца Ивана Брауншвейгского, которому присягнуло не только войско, но и вся Россия, а вместе с тем порицал, конечно, и переворот, произведенный в пользу цесаревны Елизаветы.

В таком настроении, неприязненном новому царствованию, Шнопкопф проходил по од-

ной из петербургских улиц, когда по другой стороне он увидел идущих двух молодых людей, дружески разговаривавших между собою. В одном из них майор тотчас узнал Бергера, другой, худенький и маленький, казавшийся почти мальчиком, был одет в партикулярное платье.

Майор сделал вид, что он не узнал своего давнего знакомого.

– Вахмистр! – громко крикнул он на всю улицу своим повелительным голосом; но оказалось, что вахмистр или не слышал, или только притворился, будто не слышит обращенного к нему зова, и ускорил свой шаг.

– Вахмистр кирасирского полка! – рявкнул майор еще громче и, не ожидая его поворота назад, сам пустился вдогонку улепетывавшему от него нижнему чину.

Все явственнее слышались Бергеру мерно отбиваемые майором шаги; все громче отзывались в его ушах и грохот палаша, болтавшегося около ног майора, и звяканье его огромных шпор, но Бергер и его спутник все-таки не останавливались. Наконец вахмистр признал невозможность скрыться от настойчиво

преследовавшего его долговязого майора. Он приостановился и, став навытяжку, ожидал приближения грозного штаб-офицера.

– Кого ты имел честь встречивать? – спросил сурово майор.

Оторопелый Бергер молчал, видя перед собой того, кто еще в отцовском доме делал ему первые внушения о важности воинской дисциплины.

– Ты имел честь встречивать господин майор, и что ты должен был сделать? – говорил майор, колотя себя правою рукою в грудь и этим движением указывая на себя вахмистру. – И что ты долженствовал сделать? Ты долженствовал отдать мне воинскую честь, следующую по военному артикулу, – строго внушал майор, – и я за твою манкировку буду всаживать тебя на кордегард.

Вахмистр только моргал глазами.

– Господин фон Шнопкопф, – заговорил было по-немецки Фридрих.

– Теперь нет ни господин фон Шнопкопф, ни господин Бергер, а есть только господин, майор и вахмистр. Да и на слушпе не говоряйт здесь по-немецки. По-немецки мы будем

разговаривать потом с тобой в приват-компании. А вы, господин Фридрих Бергер, – начал вдруг на этом языке Шнопкопф, – избегали такой компании со мной.

– Простите меня за это, ваше высокоблагородие, но я, как нижний чин, не мог позволить себе явиться к вам, как к штаб-офицеру: вы могли принять это за дерзость с моей стороны, увидели бы в этом нарушение дисциплины.

– Неправда! Неправда! – замахал руками майор. – Я и твоему батюшке жаловался в письмах, что ты меня совсем знать не хочешь! Я после того, как ты явился бы ко мне с соблюдением всей дисциплины, принял бы тебя, как сына моего доброго приятеля. А с кем ты ведешь знакомство? – спросил майор, показав глазами на Лопухина, стоявшего несколько поодаль в ожидании, чем кончится столкновение майора с вахмистром.

– Это господин Лопухин.

– Господин Лопухин? Это знаменитая фамилия.

– Он сын генерал-поручика, а дедушка его по матери, лифляндец господин фон Балк, то-

же генерал-поручик. Он был камер-юнкером при правительнице Анне, а теперь будет переименован в подполковники.

Расходившийся было майор присмирел и, оставив Бергера, подошел к его спутнику.

– Вы извините меня, ваше высокоблагородие, – сказал он, следуя тогдашней формуле обращения к лицам, которым оказывался почет, – что я позволил себе заставлять вам ожидать, но я должен был выговаривать нижнему чину, как нашальник. Вы сами были в военной слушпе и знаете дисциплину.

– Никогда я в военной службе и не думал служить, – отвечал небрежно Лопухин.

– Но мне господин Бергер сказывал, что вы бываете подполковником.

– Так что ж, что меня переименуют в подполковники? Я должен бы быть не только подполковником, но и бригадиром.

Майор, взглянув на юношу, требовавшего для себя таких высоких чинов без всякой предварительной службы в войске, только пожал плечами от удивления.

– Это мне бестии преображенцы подгадили, – продолжал Лопухин, – вздумали распо-

ряжаться в государстве по своей воле. Их ли это дело?

Майор обрадовался, увидя, что он наткнулся на человека, который сходственно с ним смотрит на обязанности войска. Он сделал знак рукою, чтобы Бергер подошел ближе.

– В самом деле, на что это походит! У нас в Германии, – начал горячиться майор, – никогда не бывал и бывать не может, чтоб зольдатен приходили ночью во дворец и сняли с престол государь! Ай, ай, ай! – удивленно выкрикивал майор. – Да и приходили они на такой дело без знамени, как разбойники, и без своих шеф.

– Да, всем делом распоряжался выкрещенный жид Грюнштейн, сделавшийся теперь богатым и знатным господином, – перебил Лопухин. – Вот подите-ка!

На лице Бергера при воспоминании о Грюнштейне проявилось выражение досады, которую легко можно было объяснить завистью к счастью этого смелого пройдохи.

– Говорят, что хотели избавить от немцев, а теперь что? Немцев, правда, прогнали, а теперь стал всем распоряжаться Лесток, ка-

кой-то французишка из немцев, – вышло еще хуже. Эх-ма! – добавил Лопухин, махнув рукой.

– Зольдатен не должны были идти без своих шеф и без знамени! И как отваживался господин Лесток разрезывать барабан на кордегард, чтобы там не ударили тревог и сбор. Его за это следовало тут же закалывать через штыка, а если нет, то потом весьма шифота лишить через аркебузирование, – настаивал майор.

– Потолкуйте-ка с ними... Они и вас разрежут... Пойдем, Бергер! – крикнул Лопухин, обращаясь к своему спутнику. – Прощения просим, господин майор. Так вы недовольны вступлением на престол Елизаветы Петровны? – вопросительно добавил Лопухин.

– Как же можно быть доволен, когда сломали всю дисциплин зольдатен... – Но Лопухин не дал договорить майору и, подхватив под руку Бергера, пошел своею дорогой, а майор зашагал в другую сторону.

– А вот бы донести на него, – как бы шутя проговорил Бергер, обернувшись назад и увидя, что Шнопкопф отошел от них уже доволь-

но далеко. – Досталось бы ему порядком!

– Никак ты, Федор Федорович, с ума спятил? Разве может сделать это честный человек? Да ему и на ум такие подлые мысли приходить не должны! – сказал удивленным голосом Лопухин, торопливо выхватывая свою руку из-под руки Бергера.

– Тебя бы и в свидетели поставил, – как будто отшучиваясь, продолжал Бергер.

– Не пошел бы я на такое мерзостное дело и в свидетели, а если бы пришлось мне показывать, то показал бы против тебя, а не против майора. Он человек хороший, если говорит то, что думает, и выдавать таких людей не следует, хотя бы на пытке стали допрашивать.

При этих словах Бергер смутился, но Лопухин, не смотревший на него, не заметил его смущения.

– Явился было здесь доносчик между офицерами, некто Камынин, – продолжал Лопухин, – родственник вице-канцлера Головкина, и сообщил ему, что против бывшего регента составляют заговор, а Головкин поспешил передать об этом Бирону, и те, на кого был до-

нос, жестоко пострадали, хотя и не были ни в чем виноваты…

– Ну а Камынину что было за это? – торопливо спросил Бергер.

– Разумеется, наградили, – с досадой проговорил Лопухин, – да что в том пользы? Все честные люди отворачиваться от него стали, у всех в презрение вошел, да и недолго ему благоприятствовало счастье: обоих его покровителей, и Бирона и Головкина, в Сибирь турнули, а затем уже никто с ним, как с доносчиком, никакого дела иметь не хотел, и на совести-то у него злое дело навеки осталось.

– Гм, – пробормотал себе под нос Бергер.

– Да еще к слову скажу тебе, Федор Федорович, уж коли валиться с коня, так валиться с хорошего, а что тебе дадут за жалкого майора? Уж поймал бы какую-нибудь важную птицу, а то эка невидаль – майор какого-то полевого полка! Да он и весь-то ничего не стоит!

Бергер призадумался.

– Ведь это, разумеется, я шутя говорил. Пойду ли я в доносчики! Худо ты, брат Ваня, меня знаешь, – проговорил он.

– Понимаю, что это шутка, да шутка-то глу-

пая; ведал бы я, что ты думаешь это на самом деле, так я не только дружбы с тобой не водил бы, а видеть бы тебя не захотел. Скажу тебе только одно: вперед такими пакостными шутками не шути!

– Бросим этот разговор. Правда твоя, шутка эта мерзкая, а ты вот что мне скажи. Настенька Ягужинская, которую я видал у вас раза два в доме, кажется, родная племянница того Головкина, о котором ты говорил?

– Да, дочь сестры его Анны Гавриловны, которая была замужем за графом Павлом Ивановичем Ягужинским, а теперь, как говорят, выходит за Михайлу Петровича Бестужева-Рюмина.

– Эх, славная девушка! – лакомо проговорил Бергер.

– И девушка-то славная, и богатая. Вот бы тебе, Федор Федорыч, невеста – лучшей и искать нечего! Я знаю, через кого я бы ее тебе посватал.

– Куда уж мне до нее! – с притворной скромностью отозвался Бергер, думавший, однако, о себе самом слишком много.

– Как куда? Да чем же был лучше тебя, на-

пример, граф Андрей Иваныч Остерман? Такой же бездомный немчура, как и ты, а женился же на Марье Ивановне Стрешневой, приходившейся еще царской родственницей, а ведь Ягужинские сами по себе неважные господа. Через некоторое время и ты в люди выйти можешь. Ты малый не промах.

– Где же выходить мне в люди! Вот третий год служу в нижних чинах. Попал в вахмистры, а в офицеры пробраться не могу, а уж, кажется, пора бы...

– Ну, ну, утешься, скоро и офицером будешь, а теперь пойдем поиграть на бильярде, а оттуда махнем в веселый дом[11], посмотрим, что там есть новенького.

– Денег-то у меня нет, – вздохнул Бергер.

– Ну, об этом не беспокойся, у меня они найдутся, – сказал Лопухин, запуская руку в карман своего кафтана и звякая лежавшими там в кошельке червонцами. – Ты, брат, лихой товарищ на всякую гулянку, и на таких, как ты, молодцов денег мне тратить не жаль, а их у меня, слава богу, довольно.

Спустя недели три после встречи майора Шнопкопфа с вахмистром Бергером первый

был неизвестно почему выписан из Петербурга в полк, расположенный около Воронежа, а последний был произведен в корнеты конной гвардии.

V

«От жены моей не токмо в супружестве непозволительные обиды имею, но и прочие, закону христианскому противные поступки ею чинятся», – читал секретарь, докладывая присутствию Святейшего синода поступившее в это духовное судилище прошение генерал-майора графа Павла Ивановича Ягужинского. По поводу этого прошения Синод выслушал также и экстракт из дела «о многих буйных и отвратительно-мерзких действиях графини Ягужинской в церкви, избах и на улицах». Синод приказал «инквизитору» допросить обвиняемую, а муж с своей стороны просил освященный собор «принять в рефлекцию, что она женою его быть не может». Видно было, что прошение, поданное обижаемым не в меру супругом, настрочил опытный в бракоразводных делах подьячий. В прошении этом были сделаны ссылки и на «Уложе-

ние», и на «Кормчую Книгу», и на «Духовный Регламент», и на «Воинский Устав», и на разные сепаратные указы, так что графине, при такой опоре ее противника на законы, трудновато было отвертеться от таких проступков, которые требовали строжайшего возмездия по уставам, как мирским, так и духовным.

Из дела оказывалось, что Ягужинская сбежала из мужнина дома к какой-то дьячей жене, а потом сбежала к «беспутной» княгине Щербатовой. После этих двух побегов отправилась она в Рождественский монастырь, но в какой – мужской или женский – этого в деле не указывается. Чтобы сильнее затронуть нежные чувства отцов освященного собора, Ягужинский заявил, что он, «ввиду бесприкладных непотребств, важных продерзостей и скаредных поступков» своей супруги, «боится за своих птенцов». В особенности же генерал напирал на то, что жена его ночевала у садовника, «и то ночеванье, – говорилось в прошении, – может причитаться за чужой дом; господствующим неприлично в рабских храминах, вне своих палат – кроме великой

и едва ли случающейся нужды ночевать». В подтверждение справедливости этого соображения приводилась «новая заповедь Иустинианова», гласящая: «Аще жена, не хотяща мужеви ея, вне дому своего, кроме родителей своих, нощь пролежит, брачному подвергают сотворяща тако разлучению».

В опровержение своей злоумышленности относительно такого поступка, расторгавшего, по закону благоверных греческих царей, не только в их владениях, но и в Петербурге брачные узы, Ягужинская, как докладывал Синоду секретарь, отговаривалась «меленколиею»[12]: «Была-де я в меленколической скорби, – отписывалась она, – а потому и за ночлежные мои поступки в ответе перед святыми отцами быть не должна».

Синод не расторгнул на этот раз брака, но только запретил с угрозами графине ночевать на будущее время вне дома. Но, должно быть, она не очень покорилась такому запрещению, потому что, докладывал секретарь, явилась «продерзостна и страшна». Тогда Синод взялся за нее покруче и определил: «Послать ее в Девич монастырь, в Александров-

скую слободу; а чтоб монастырю от ее житья напрасного истощанья не было, то продовольствовал бы ее супруг Ягужинский». Разумеется, что он не пожалел таких относительно ничтожных расходов на обуздание своей сожительницы. Девичий монастырь в Александровской слободе оставил по себе недобрую память. Он существовал еще во дни царя Ивана IV, который, как гласило предание, «вынужав оттуда благочестивых инокинь», сам в качестве игумена засел в этой обители со своими опричниками. Темные подвалы под монастырскою церковью были наполнены несчастными, обреченными лютым царем на муки и казни. В этой обители справлялись Иваном кощунственные потехи и игрища. Но теперь страшные предания уходили все далее и далее в глубь старины. Ушли из монастыря опричники, и взамен их снова заселили его жены и девы ангельского чина. Но и теперь от этой обители не веяло особенным духом кротости и милосердия, так как она была обращена в одно из главных мест заточения провинившихся в чем-либо мирянок. Со своей стороны, Ягужинский тем более мог рас-

считывать на усмирение своей жены, что монастырь, куда ее засадили, считался «крепкожительным» в том смысле, что тамошняя мать игуменья никому спуску не давала, а непокорных всего чаще смиряла самым нещадным образом «шелепами», то есть длинными, в аршин с лишком, узкими, пальца в два с половиною, холстинными мешками, набитыми мокрым песком. При таком наказании смиряемую ослушницу ее сестры во Христе обнажали настолько, сколько это нужно было для удобного восприятия виновною на теле такой карательной и исправительной меры. Наказуемую растягивали чернички на скамье или на полу, крепко придерживая за руки и за ноги, а потом принимались шлепать с обеих сторон упомянутыми песочно-мокрыми дубинками, дававшими себя чувствовать сильнее самой крепкой палки и самой свежей, гибкой лозы.

Не боялась, однако, как видно, Ягужинская и мучительных шелепов, потому что и под их грозою она «упорствовала, воздвигла церковный мятеж, церковнику учинила озлобление» и, мало того, даже «метала иконы и

крест с мощами». Выбилась наконец мать игуменья из сил. Монастырь, заведуемый ею, о котором прежде шла далекая молва, что при побывке в нем самые злобные волчицы обращаются в смирных овечек, стал терять теперь лестную для него известность. Принялись толковать, что тамошние инокини не покорствуют перед матерью игуменьей и что вообще там теперь все обстоит куда как неладно.

– И ума я не приложу, преосвященнейший владыко, что мне делать с ее сиятельством, – жаловалась, разводя руками и затем поправляя на голове свой клобук, мать-игуменья посетившему святую обитель епархиальному архиерею, в то время, когда его преосвященство перед своим отъездом сидел за приготовленной для него прощальной закуской. – Уж и отец-инквизитор от нее отрекся. «Ничего, мол, с ней, окаянной, не поделаю», – говорил он мне и сестрам. Каленым железом и плетьми пугал ее, а она не только ухом не ведет, но еще и на его особу с продерзостями накинулась, да накинулась, владыко, так озлобленно, что он, подобрав как есть рясу, поско-

рее от нее наутек. «Справляйтесь с нею, мол, как знаете», – махнул рукой, да и был таков. А чего только я и сестры с ее сиятельством не проделывали: и ежедневного корму, положенного от его сиятельства, по целым суткам не давали, а питали ее только сухим хлебом и водою; и в холодный темный подвал сажали, и в рогатке, и на цепи держали. Ничего не берет ее!

– Ну а шелепа-то в ход пускали ли или небось трусили по графской плоти ее отшлепать? – глубокомысленно спросил архипастырь, вытирая краем скатерти усы и бороду.

– Э, преосвященнейший владыко, у нас, в нашей богоспасаемой обители, ни на какую плоть не смотрят. Радеем мы о душе, а не о грешном теле. Для меня все равно, что графиня, что княгиня, что княжна, что знатная боярыня или боярышня; ведь известно тебе, что мы сами в ангельском чине состоим, так что же нам смотреть на мирские отличия. Суета в них одна, да и только. Ни на одну из непокорных не извели мы столько шелепов, сколько на ее сиятельство.

– Да ты, мать преподобная, дуй ее всякий

день, авось проймешь как-нибудь, да посматривай, чтобы шелепа были хорошо увлажены, а то как они подсохнут, то не так забористы бывают. Мне многие мати-игуменьи о том говорили.

– Уж что учить меня, преосвященный, – обидчиво пробормотала старуха. – Слава тебе, Господи, не первый год я игумствую и заготовку этих снарядов преотменно знаю. Трудно также бывает нам с нею, владыко, совладать; под шелепа добром нейдет, силою брать приходится. Вот еще на днях сестра Иринея на нее с ухватом ходила, – докладывала старица, указывая архиерею на здоровенную монахиню.

– Точно, ходила, преосвященный владыко, – подтвердила Иринея, кланяясь в пояс.

– Сам посуди, преосвященный, как нам трудно справляться с нею; силы у нас небольшие – бабьи, а мужского пола употреблять на это нельзя; во-первых, у нас его и не имеется, а вторительно – здесь обнажение телес бывает.

При этих словах молодая беличка, подававшая тарелку архиерею, вся зарделась от

стыда.

– Доводить себя до этого не нужно, непорочность сохранять подобает, – промолвил наставительно архипастырь, направив свое поучение в сторону молоденькой белички и довольный тем, что имел случай преподать стыдливой юнице благое поучение косвенным образом и тем укрепить ее добродетель. – Дельно ты, мать Феодулия, рассуждаешь, – заметил владыка, – а все-таки потачки ей не давай, а для усмирения ее аки супостата ходи на нее всем христолюбивым воинством, – подсмеялся владыка.

– Слушаю, преосвященный, но наперед дерзаю доложить, что все бесполезно будет: под шелепами она ревет благим матом, лежа на койке – постонет, поохает, а там, глядишь, все ей нипочем. Задай ей сам, преосвященнейший владыко, хорошего трезвону, авось твоего святительского гласа послушает, – жалобно пропищала мать игуменья.

– Как же! Послушает она меня, если и перед Святейшим правительствующим синодом чиниться посмела буйственной! Не хочу я ее видеть; еще, чего доброго, мой архиерей-

ский сан опозорит. Вожжайся с ней, как сама знаешь! А мне что с бабами путаться – не черничка она!

– Умилосердись над нами, сиротами, преосвященнейший владыко, убери ее от нас, не наводи срамоты на святую нашу обитель, – слезно проговорила мать-игуменья и бухнулась в ноги преосвященному. Примеру ее последовали находившиеся тут же другие монастырские власти: казначея, эклезиарха, хлебодарка, виночерпия и старшая уставщица.

– Господи, господи! Эко, подумаешь, наказание! – бормотала, приподнявшись с пола, мать-игуменья, поддерживаемая под локоть казначеею.

– С чего ты, мать Феодулия, так нюнишь? – заговорил, вставая из-за стола, Амфилохий. – Держи обитель в грозе, так и все в порядке будет. Вот царь Петр Алексеевич, так тот и стрельцов смирил.

– Да ведь, отец родной, он им головы рубил и, в страх другим, на колья тыкал.

– Ну и ты тыкай! – с досадою крикнул подрумянившийся после хорошей закуски владыка, не зная, что ответить на возражение

Феодулии против своего бестолкового сравнения. – Пиши, впрочем, всепокорнейший репорт на мое имя, а я препровожу его на благорасположение Святейшего правительствующего синода. Ведь по его, а не по моему распоряжению прислана сюда эта озорница. Что я с ней поделаю? Пожалуй, велю ее предать всенародно анафеме, да будет ли из того какой толк? – говорил преосвященный, раздавая благословение подступавшим и падавшим ему в ноги монахиням и беличкам.

Поблагодарив Феодулию и сестер за радушный прием, преосвященный вышел на крыльцо, сел в свою колымагу и, напутствуемый трезвоном, медленно выехал из святых ворот.

– И он-то ничего не поделал, – твердила огорченная мать-игуменья, и сетованиям ее вторили сестры, расходясь по своим кельям.

Ни уменьшение «корма», ни рогатки, ни цепь, ни шелепа, ни инквизитор, ни «всепокорнейший репорт», отправленный игуменьею к преосвященному и им препровожденный на благоусмотрение Синода, не могли укротить «страшную и продерзостную графи-

ню». Не подействовала бы, конечно, на нее, метавшую и иконы и кресты, и всенародная анафема, которой в былую пору без малейшего затруднения предавали в своих епархиях митрополиты, архиепископы и епископы тех, к кому считали нужным применить эту кару. Да не только архиереи, но и попы по своим приходам выкрикивали в церквах анафему своим врагам. С своей же стороны Синод не внимал новой заповеди Иустиниановой, объясняя, что ночлег Ягужинской у садовника в собственной ее усадьбе мог быть действительно истолкован «меленколичной скорбью» женщины, в свою очередь обижаемой мужем. Тогда этот последний прибег к тому решительному способу, который казался ему, несомненно, верным средством для получения развода, по каким бы заповедям и правилам этот вопрос ни разрешали.

Ягужинский представил в Синод самую наглядную, по его мнению, улику в нарушении его женою супружеской верности, а именно: письмо, написанное к ней из Риги каким-то влюбившимся в нее немцем, и потому в присутствии Святейшего синода была прочитана

следующая на исковерканном русском языке любовная цидулка:

«Хотя я все три дне твоих писем читал, то все мене не скушно бил, и я могу тебе правду и верна божица, что я сколку на свете жил, и сколко луди видал, никто мне так мил не был, как ты мой сердце дорогая».

С какою суровою важностью ни относились члены высшего духовного судилища к вопросу об отмене силы одного из таинств, установленных искони веков христианскою церковью, но все-таки при чтении этого безграмотного послания легкая улыбка скользнула под их усами.

– А чья подпись-то значится под письмом? – спросил секретаря один из членов.

– «Иван Ливорх», – доложил секретарь.

– А когда оно писано? – спросил тот же член.

– В тысяча семьсот шестнадцатом году от Рождества Христова, с пометою по немецкому летосчислению от одиннадцатого апреля, а по нашему – от тридцать первого марта.

– Ого! Какой стариной тряхнул его сиятельство граф Павел Иванович, – засмеялся

один из членов, проводя вниз по всей жидкой бороде сжатою в кулак рукою.

– Да и как по сему письму обвинить жену в супружеской неверности? Мало ли кого женщина непроизвольно обольстит своею красотою, а он вздумает ей на письме излагать свои сантименты? Может, она и аттенции к ним никакой не показала, – рассуждал один из заседавших.

– Ну, в настоящем припадке сказать сего нельзя, – перебил третий член, – из цидулы ясно видно, что и она с немчиком в грешных корреспонденциях пребывала; ведь он читал ее письма, а она, конечно, писала в них свои сантименты.

Начались вследствие этого прения, которые окончились тем, что Синод приказал архимандриту монастыря, соседнего с женскою Александровскослободскою обителью, в которой находилась Ягужинская, объявить ей «при всем соборе порицание за блудническиe речи и отчаянные письма».

И эта попытка Ягужинского тоже не выгорела, и он, прежде веселый и беззаботный, теперь крепко приуныл.

– Что, брат Павел, ты больно уж присмирел? Видно, все с законной сожительницей возишься? – спросил однажды Петр входившего к нему Ягужинского.

Царь, занимавшийся в это время точением на станке, приостановил работу, не отнимая ноги от махового привода.

– Приладь-ка мне вот эту штуку, – добавил царь, указывая Ягужинскому на кусок дерева, подведенный под точило.

Ягужинский поспешил исполнить приказание государя, который снова завертел ногою колесо.

– Знаю я эти хлопоты. Повозился и я порядком с моею женою, и, знаешь, поведи я это дело законным путем, я не выиграл бы ничего. Эх, эти бородачи-черноризцы! Жизни человеческой не понимают или, лучше сказать, знать не хотят. А ты, Павел, вот что сделай: женись на другой, да и махни в Святейший правительствующий синод всепокорнейшим доношением, что так и так, я, мол, вторично женился, а потому и прошу всепочтительно дело мое о разводе, как ныне рассмотрением уже не требующееся, прекратить и сдать оное

на хранение в архиву. Ты их сим так озадачишь, что они не будут знать, за что им и приняться.

– Объявят меня двоеженцем и будущих птенцов моих признают от блуда происходящими.

– А ты им отпиши, что вступил-де я в новый брак по указу его императорского величества, а я тебя им не выдам, – засмеялся весело Петр, – ведь я «верховный судия» сей коллегии.

– Невесты-то у меня теперь на примете нет, ваше величество, да кто же за меня и пойдет, или кто выдаст за меня свою дочь, когда все знают, что я состою в законном браке?

– О невесте не хлопочи, найду я тебе преотменную невесту, а кто она – узнаешь завтра, когда придешь ко мне об эту пору, и порадуешься. А теперь ты мне не нужен – ступай с Богом!

И государь, кивнув на прощанье Ягужинскому головою, принялся вертеть станок с прежним усердием.

VI

На другой день Петр ранним утром, сев в свою окрашенную красной краской и запряженную в одну лошадку одноколку, отправился по обычаю в объезд по Петербургу. Заглянул он на производившиеся в Адмиралтействе разные корабельные работы, завернул в Сенат, а оттуда поехал на Васильевский остров к вице-канцлеру графу Гавриле Ивановичу Головкину. Хотя посещения государем частных лиц – начиная с дипломатических представителей иностранных держав в Петербурге и высших государственных сановников и кончая иностранными негоциантами и разными мастерами – не были вообще в диковинку петербургским жителям, но тем не менее такие посещения всегда производили переполох в том доме, куда неожиданно заезжал царь. Порою посещения его оказывались очень прискорбными для хозяина дома, так как Петр нередко заезжал к кому-либо для того, чтобы, приняв от него надлежащее угощение, с своей стороны угостить хорошенько хозяина дубинкой за что-нибудь нехорошее,

узнанное или замеченное царем на дороге.

Вице-канцлер, как и вообще все его родные, за исключением одной лишь дочери Анны, отличались мнительностью и нераздельною с нею робостью, а потому Головкин сильно всполошился, узнав о приезде к нему государя.

– А я, Гаврила Иванович, сватом к тебе приехал, – сказал весело государь встретившему его в сенях Головкину.

Хотя Петр был не всегда приятный сват, да и нельзя сказать, чтобы в этом случае у него была легкая рука, но верноподданнический долг требовал не только радостно принять такое, иногда вовсе неожиданное вмешательство Петра в чужие домашние дела, но и выразить свою рабскую признательность за столь великую честь.

Старик Головкин, в изъявление такого чувства, хотел упасть к ногам императора.

– Что ты, Гаврила! – гневно крикнул государь. – Вздумал падать ниц передо мною? Разве забыл всенародное объявление, что поклонение челом в землю достоит только единому Богу, а не достоит ни единому из человеков?

Разве забыл, что не раз толковал я вам, что я не Бог, чтоб мне воздавать такие почести, какие воздаются ему, и что я только «приставленный от Бога истец за все дурное, сделанное России»? Эх, старина, – ласково добавил Петр, трепля по плечу Головкина, – верно, из памяти выжил.

– От необузданной радости хотел кинуться к освященным стопам вашим! – пробормотал Головкин.

– Нет, выжил ты, Гаврила Иванович, из памяти, и вот сейчас я это проверю. Скажи мне, да только без ошибок, сколько у тебя дочерей? – требовательным голосом спросил государь.

Разумеется, что Головкин очень хорошо помнил весь личный состав своего семейства, но такой простой, конечно, шуточный, а вместе с тем и загадочный вопрос со стороны государя, знавшего всю семью графа наперечет, заставил вконец растеряться оторопевшего сановника. В голове его быстро промелькнула мысль: не проведал ли что-нибудь государь о грехах его юности, не отыскал ли он какую-нибудь придаточную отрасль Гаврилы

Ивановича, не выдает ли себя перед Петром за его, Гаврилы Ивановича, дочь какая-нибудь искательница приключений? Да и мало ли к чему мог вести вопрос, выраженный так странно.

– У меня, – заплетающимся голосом начал Головкин, – старшая дочь Анастасья – прости, Господи! – Наталья замужем за князем Барятинским, да две, Анна и Анастасия, в девицах.

– Ну, хорошо! А сыновей сколько?

– Иван, Александр и Михайла, – уже без запинки ответил Головкин.

– Верно. А из всех их уступи мне одну Аннушку, выдам я ее хорошо замуж. Приданого ей, разумеется, от себя не дам. Таких трат мне производить не из чего, сам я по себе человек, как ты знаешь, небогатый, так что ты будешь богаче меня. Так приданого ей, как сказано, от себя я не дам, но мужа ее, если будет служить мне и отечеству исправно, как служил до сих пор, пожалую деревнями – на это у меня есть полное право. Да не стану тебя томить попусту любопытством. Жених твоей дочери – Павел Ягужинский, человек мне любезный за его давнюю верность и испытанную

преданность.

– Да ведь супруга-то его… – начал было робко бормотать Головкин.

– Хочешь сказать, здравствует? – перебил Петр.

– Или, быть может, уже Господу Богу душу отдала? – поторопился спросить Гаврила Иванович. – Долго ли умереть человеку!

– Нет, она жива и в Успенском монастыре на исправлении пребывает. Да что тебе до этого за дело? Коли я берусь быть сватом, то в дураки я не полезу и сделаю дело начисто, а не как-нибудь.

– Знаю это, государь, знаю, – отозвался Головкин, – но ты сам изволишь понимать, что родительское сердце чует лучше чужого.

– Правда твоя, правда! Но уж коли завести речь о сердце, то нужно спросить не отцовское иль материнское сердце, а сердце самой невесты. Хорош и я, – засмеялся Петр, – сам издал указ о непринуждении детей к бракам их родителями, а между тем устраиваю свадьбу, не спросивши невесту: хочет ли она идти замуж за намеченного жениха? Быть может, – кто знает их, девок! – ей уже мил и дру-

гой? Плохое дело подневольные браки, Гаврила Иванович, плохое дело. Вот хоть бы и я – что я сделал? Поневоле сочетал супружеством сродственника моего Степана Лопухина с Наташей Балк. А что она за бабенка! Просто загляденье, вся в мать, Матрену, пошла. Кажись, не налюбуешься ею, а вот поди – не любит ее Степан, да и он ей не люб. Хорошо еще, что он дает ей полную волю жить, как она хочет, а она обзавелась дружком, который, кажись, и в жизнь ей не изменит. Да и как ей Левенвольд пришелся под пару – и он-то просто писаный красавец.

– Иногда, ваше величество, и в подневольном браке муж с женой исподволь сживаются, – заметил Головкин.

– А что, Гаврила, должно быть, ты такой брак затеваешь, если московскую старину стал подхваливать? – шутливо спросил Петр.

– Замышлять не замышляю, а случиться может. Метит, сказать по правде, на младшую мою дочурку князь Никита Юрьевич Трубецкой, да не знаю, как сладится. Стар он для Настюшки. Спрашивал я ее как-то, хочет ли она пойти за него, а она отвечает: «Мне все равно,

батюшка, как твоя воля будет». Она такая у меня мирная и покорная, а Аннушка, ваше величество, потверже будет; были у нее подходящие женихи, да упрямится, а младшую прежде старшей венчать как-то не приходится, из-за нее и Настенька в девках сидит. Уж не знаю, как полажу с нею, а насчет Павла Ивановича – кажись, он ей не противен. А в случае ее отказа ты, государь, ее заставь, для тебя она и против своей охоты пойдет за графа.

– С чего я буду ее приневоливать? Издал я, как тебе сейчас напомнил, указ против принудительных браков, издал и обязан наказывать нарушителей его, а от них же, Господи, первый есмь аз! – смиренно добавил Петр. – Берусь я за сватовство, да при этом забываю, что у нас воле царской воспротивиться никто не посмеет и что Аннушка, если не желает, все-таки выйдет за Ягужинского. Насильствую, пользуясь моею властью, ее девическую волю. Вот тебе и указ! Позови-ка ее ко мне, а я поговорю с ней сам, да вели ей, кстати, поднести мне и чарочку анисовки.

Головкин опрометью кинулся исполнять

приказание.

– Да ты на пожар, что ли, спешишь, Иваныч? Не торопи ее, да и не говори ей пока ничего.

Хозяин ушел, а державный гость в глубоком раздумье начал расхаживать по комнате большими шагами.

– Прости, государь, дуру девчонку, если она замедлит явиться на твой зов, – доложил возвратившийся Головкин. – Не приодета она еще как следует: ныне бабьи наряды по твоей воле уж не такие стали, какие были у наших матерей и бабушек. В ту пору вскинула боярыня или боярышня на плечи ферязь да шугай, кику на голову надела – вот тебе и все готово; а ныне не то: надень и фижмы, и роброн, и маншеты, а голову напудри да всякую всячину то пришпиль, то обтяни, то подтяни. А к тебе Аннушка неряхой выйти боится; знает, что ты во всем порядок любишь.

– Ну, ничего, что помедлит, ведь я приехал к тебе и не по команде ее к себе требую. Могу, значит, и обождать, а если девка принаряжается, так выходит, что пригляднее хочет казаться. На то самое и весь женский пол Госпо-

дом Богом создан. Ты меж тем присядь со мной, и я тебе скажу вот что. В настоящую пору у нас всяких молодых балбесов, олухов, ветрогонов куда как много, а из них хорошей девушке жениха выбрать трудно. Вот я и надумал сам пристроить твою Анну, и кажется мне, что Павел ей будет под стать. Правда, он уже не первой молодости, не молокосос, идет ему под сороковку, но он детина статный, ражий и пригожий и никому из молодых ни в чем не уступит. Малый он добрый, только больно задорен, ну, да Аннушка возьмет его в руки и от излишних запалов удерживать станет, а он, намаявшись до устали с первою женою – с такой бабой, с которой не может быть ни ладу ни складу, – будет крепко любить вторую свою жену – добрую, кроткую и рассудительную. Будет и для Павла удобство: сердце у него горячее, любит он своих птенчиков, а Аннушка, пока они подрастут, заменит этим сироткам их мать-негодницу. Впрочем, я сам потолкую об этом с Аннушкой и, ей-ей, ни к чему ее приневоливать не стану.

Прежде чем успел досказать Петр эти слова, дверь в ту комнату, где он сидел, приотво-

рилась и между дверями показалась голова Аннушкиной няни. Вслед за тем дверь распахнулась настежь, и на пороге показалась вторая дочь графа Головкина – Анна. Никто не назвал бы красавицей эту бледненькую и худенькую, но вместе с тем и чрезвычайно стройную девушку. Ее светлые волосы, свитые в большие букли, опускавшиеся на плечи, были слегка посыпаны пудрою, и иметь такие волосы пожелала бы каждая девушка. Ее высокий рост и ровная, твердая поступь как бы противоречили той кротости и той мягкости, которые выражались в ее больших темно-серых глазах, и в тонких нежных чертах ее лица, и в хрупкости ее стана. Она несла в руках на серебряном подносе такую же чарку, штоф анисовки и несколько кренделькoв, обычную закуску государя в так называемый «адмиральский час».

Вместо прежних приниженных московских поклонов, которые отвешивала в подобных случаях почетным гостям ее бабушка, а отчасти еще и мать, Анна развязно, без всякого жеманства, сделала государю немецкий книксен и подошла к нему.

– Здравствуй, девочка! – ласково сказал Петр Аннушке, – вот какую красавицу я почти что сам на руках выносил! Помнишь, как я тебя, маленькую, вверх подбрасывал, аль забыла?

– Нет, государь, я всегда помню твои к нам превеликие ласки, не забыла и твоих гостинцев. Баловать ты меня изволил.

– Поставь-ка поднос на стол да поцелуй меня.

Анна подошла к Петру, он взял ее за подбородок, пристально взглянул ей в глаза и поцеловал в лоб.

– Погладил бы я тебя, Аннушка, по старой привычке по головке, да вишь какой шевелюр ты взбила, помять его боюсь.

– Не бойтесь, ваше величество, коли и помять изволите, так ведь мне шевелюр мой взобьют, – игриво отвечала девушка.

– Какая она у тебя, Гаврила Иваныч, и прыткая и складная, – сказал Петр, присматриваясь к Анне, – недаром же она слывет первой танцоркой в Петербурге. Любишь танцевать, Аннушка?

– Даже и очень.

– И я в молодости любил танцевать. Бывало, смотришь в Москве, в Кукуевской слободе, как пляшут немцы, так в душе завидуешь им. Хотел было и я в пляс еще в Москве пуститься, да все удерживался. Думал, узнают москвичи, что я пляшу, так на смех меня подымут, а смех пуще всего вреден для властедержателей. Пусть клевещут и бранят, как хотят, это перенести можно, а как высмеют – это уж негоже. Заговорили бы на Москве: «Царь пляшет!» Вот и конец всякому ко мне уважению. Подучил меня плясать тайком Лефорт перед первым моим отъездом в чужие земли. А вот ты теперь, Аннушка, послушай, что я рассказывать буду, – это вашей женской породы касается. Приехали мы в Кенигсберг, а там тем временем проживала маркграфиня Байретская – бой-баба! Устроила она в честь мою препышную ассамблею и на этой ассамблее подвела меня к какой-то немецкой графинюшке: «Потанцуйте, мол, с нею, ваше величество». Вижу, немочка пригоженькая. Взял я ее «валец», по немецкому обычаю, за бока. Господи помилуй, думаю я, да что это такое: или у здешних немок ребра не так, как у дру-

гих женщин? Знаю, что у всех идут ребра поперек корпуса, а у этой немки моей – вдоль, или, как говорят в геометрической науке, не горизонтально, а вертикально. Проплясал я с ней валец да и рассказываю моим спутникам о таком диве, а около меня немцы ну шептаться: что, мол, сказал царь? – «Да говорит, что у здешних немок ребра не такие, как у всех женщин». Все так и померли со смеху, а маркграфиня после того каждый раз, как взглянет на меня, так и зальется хохотом без всякой удержи. Потом мне объяснили, что немки кенигсбергские переняли от француженок корсеты, сшитые на крепких китовых усах, и что корсеты эти называются у них шнурбрустами, ну а на ощупь китовые подпорки вкруг всего корпуса кажутся ребрами, да и только. Маркграфиня не только похохотала надо мною, но, как говорят, записала об этом казусе в своем «юрнале»[13], а шутники переиначили мои слова и говорили, будто я пустил о немках диковинную небывальщину.

Петр переглянулся с Головкиным, и оба весело расхохотались.

– Так вот, Аннушка, какие со мной оказии

бывали.

– С необыкновенным человеком и бывает необыкновенное, – находчиво отрезала Аннушка.

– Эх, ты смотри, воструха! Прикусишь язычок, как я тебя выдам замуж. Ведь я затем и приехал к твоему отцу, чтобы тебя сватать.

– Знаю я, государь, что ты к нашей фамилии и ко мне милостив и, наверное, высватаешь мне хорошего человека; а не полюбится он мне, так знай наперед, что я ни за что с ним под венец не пойду, да, впрочем, ты и сам перечить своему указу не будешь – было бы тебе это и грешно и стыдно! – спокойно проговорила Аннушка.

Головкин изумился такой развязности своей дочери и замямлил что-то, желая оправдать ее резкую речь, но Петр не дал сказать ему ни полслова.

– Ай да молодец-девка! – с живостью воскликнул государь. – Вот люблю таких, которые мне прямо режут в глаза правду-матку! – И, вскочив с кресел, он крепко обнял смелую девушку и несколько раз поцеловал ее.

– Хочу я женить на тебе Павла Ивановича

Ягужинского. Скажи мне по душе, мил он тебе или нет? – спросил государь, взяв Аннушку за руку и с участием глядя на нее.

– Что таиться: мне он мил, да человек он женатый, так о супружестве с ним не приходится девушке и думать. Если бы божеские законы не противились с ним браку, то я пошла бы за него.

Петр призадумался. Видно было, что слова прямодушной и рассудительной девушки произвели на него сильное впечатление. Он уже не сказал ничего о сватовстве и, переговорив только о некоторых делах с Головкиным, простился с ним и с Аннушкой.

«Эх, ведь что я в самом деле затеял – сватать жениха при живой его жене. Впрочем, что ж ведь! Как говорит пословица: „И на старуху бывает проруха”», – думал государь, влезая в одноколку.

VII

Предположив посватать Ягужинского к Анне Головкиной, Петр не сказал ничего о той невесте, которую он наметил для своего любимца, да и излишне было бы говорить об этом. В Петербурге давно знали, что Павел Иванович страстно влюблен в Анну, но отвечала ли она ему любовью или хоть особенным сочувствием – насчет этого трудно было догадаться. Дочери Головкина были для того времени очень хорошо образованы, и в обществе, когда было нужно, они отличались той сдержанностью, которая никогда не обнаруживает оказываемого кому-либо особого предпочтения. Анна со всеми мужчинами была одинаково обходительна, мила и любезна, хотя в душе и отдавала преимущество перед всеми ловкому, красивому, веселому и остроумному Ягужинскому. Он считался в Петербурге лучшим танцором, а она – первой танцоркой, и когда они начинали танцевать вдвоем, то гости обступали их вокруг, любуясь изящными движениями этой парочки.

По уму и по нраву Анна и Ягужинский

близко сходились между собою: и он и она были живого характера, и отличительною их чертою была прямота, порою доходившая до излишней пылкости. Анна, полюбив Ягужинского и зная его несчастную супружескую жизнь, очень часто высказывала сожаление, что ему выпала такая горькая, невыносимая доля. Да и не одна Анна сожалела о добром малом Ягужинском. Почти все в один голос обвиняли в домашних его невзгодах не его, а его жену. Между тем на деле нельзя было винить ее, так как, собственно, Ягужинская была несчастная женщина с расстроенными умственными способностями. Но тогда на душевные болезни не только у нас на Руси, но и во всей Западной Европе не обращали никакого внимания. Запугивание, непреклонная строгость и жестокие истязания считались вернейшим средством излечения душевных недугов. Помешанных и сумасшедших за их бессознательные поступки наказывали гораздо строже, нежели людей, совершивших такие же и даже более важные проступки с полным, отчетливым сознанием всей их важности. Их сажали на цепь, приковывали к сте-

нам, притягивали ремнями к койкам, а о наносимых им побоях и ударах плетьми и палками и говорить нечего. Подобного рода меры применяли в прежнее время и к таким лицам, за которыми мог быть даже самый тщательный, самый заботливый уход. Так, например, помешавшегося короля английского Георга врачи предписали, при наступлении первых признаков бывшего у него временного помешательства, вздувать для вразумления палкой без всякой пощады, и один знатный английский лорд, принявший на себя эту спасительную обязанность, вместе с первым королевским камердинером практиковал некоторое время означенный способ лечения весьма успешно. Сохранилось письменное известие и о другом лице, которого таким же способом врачевал один из самых приближенных к нему любимцев и довел свое врачебное искусство до такой степени совершенства, что по временам одно только указание глазами на тот угол комнаты, где стояла сплетенная из воловьих жил палка, просветляло рассудок больного, принимавшегося было дурить на разные лады.

Но если такие медицинские рецепты могли приносить пользу той или другой умственно расстроенной личности, то нельзя сказать, что они, прописываемые Ягужинской такими эмпириками, какими были преосвященный Амфилохий и преподобная мать-игуменья Феодулия, были применяемые с успехом к этой несчастной женщине. Видя себя в обители кротости и милосердия и в то же время испытывая там страшные истязания, она, при помрачившемся рассудке, перенесла свою вполне справедливую ненависть к своим мучительницам на всю окружавшую их благочестивую обстановку. Ягужинская, ожесточенная матерью-игуменьей и ее сестрами во Христе, «неистовствовала» в Успенском монастыре все сильнее, и неистовства ее выражались не только в «бесприкладных продерзостях» против монастырских властей, но и в опорочивании, хулении и надругательстве над всем, что относилось не только к «ангельскому чину», но и к обрядам церкви. «Всепокорнейшее донесение» о том смиренной Феодулии владыке Амфилохию не осталось без последствий. Синод снова вошел в

рассмотрение дела Ягужинской и на этот раз, оставя в стороне вопрос о разводе ее с мужем как вопрос, однажды уже разрешенный и никем более не возбуждаемый, занялся лишь рассмотрением дела о «богохульственных мерзостях и продерзостных пакостях» графини Ягужинской.

Страшные обвинения были выставлены при этом в Синоде против несчастной женщины, говорившей и действовавшей под влиянием сильно пошатнувшегося рассудка, и случись с ней это до царствования Петра, в Москве, – быть бы Ягужинской, как злостной еретичке, богохульствовавшей под дьявольским наваждением, на Болоте или в деревянном срубе, или в железной клетке. Нельзя, однако, сказать, чтобы и отцы петербургского освященного собора отнеслись с чувством особого сострадания к помешанной. Из того монастыря, где она натерпелась и голода, и холода, и шелепов и где железные обручи и цепи натирали ей болезненные язвы, Синод 25 мая 1725 года приказал перевести ее в Федоровский Переяславский монастырь, где, разумеется, за нее взялись еще строже. Она не

выдержала тамошней жизни и убежала ночью в лес, окружавший монастырь. Сестры под предводительством матери-игуменьи отправились на ловитву беглянки. При помощи соседних крестьян, созванных набатом на монастырской колокольне, они, как писалось во всепокорнейшем доношении местному владыке, учинили в лесу облаву и наконец в густой чаще захватили ее сиятельство. Ввиду всего этого Синод в конце того же года постановил: сослать графиню Ягужинскую в монастырь, «зовомый в Горах», находившийся в Белозерском уезде, близ мужского Кириллова монастыря, и в том монастыре заточить ее безысходно.

Таким безысходным заточением разрушался сам собою брак Ягужинского с первою его женою Анной Федоровной из рода Хитровых. Безысходная затворница не могла уже быть ни женою, ни матерью своих птенцов, и Ягужинский вследствие этого освободился без дальнейших с своей стороны домогательств от тяжелых для него брачных уз. Петра Великого в это время не было уже на свете, но благодаря начатому им сватовству Ягужинский

знал о расположении или, вернее сказать, о любви к нему Анны Головкиной, и брак его с нею после синодского приговора мог состояться беспрепятственно.

Вступая с ним в супружество, молоденькая Ягужинская приняла на свое попечение падчерицу Настеньку, девочку двух лет. Она полюбила ребенка, как свою родную дочь, заботилась о ней и воспитывала так старательно, что впоследствии императрица Анна Ивановна, осведомившись об этом, пригласила Анну Гавриловну быть гофмейстериной и главной наблюдательницей своей племянницы, будущей правительницы Русской империи Анны Леопольдовны Мекленбургской.

Наступило царствование Анны Ивановны. Прямодушный и резкий, а отчасти взбалмошный Ягужинский не нравился ни верховникам, ни вообще лицам, имевшим тогда силу, и его спровадили посланником в Берлин, где он вскоре умер. Молодая еще в ту пору вдова его возвратилась в Петербург и здесь пользовалась большим расположением императрицы. Она жила так скромно, что самые злые языки не могли сказать о ней ни одного дур-

ного слова.

Настенька между тем подрастала и хорошела и, как говорилось в старину, стала невеститься, то есть становилась взрослой девушкой, готовившейся явиться невестою. Мачеха, против обыкновения, горячо любила выросшую на руках ее падчерицу и приискивала ей жениха, не гонясь ни за знатностью, ни за богатством, и такие скромные желания она умела внушить Настеньке.

Не одну, впрочем, Настеньку любила Анна Гавриловна. Был у нее еще самый дорогой любимец, младший из трех братьев Головкиных, но бывший годами значительно старше своей сестры, граф Михайла Гаврилович. Редко можно встретить такую беспредельную привязанность, какую чувствовала к нему Анна. С самого детства она, не замечая некоторых его недостатков, видела в нем только такого человека, лучше которого во всех отношениях нельзя было найти в целом свете. Любовь ее к брату доходила до какого-то боготворения его личности. Неразрывную дружбу сестры к брату поддерживала, между прочим, и жена графа Михайлы, графиня Екатерина

Ивановна, рожденная княжна Ромодановская, приходившаяся внучатой сестрой императрице Анне Ивановне и отличавшаяся чрезвычайною добротой, кротостью, а вместе с тем, как потом оказалось, и чрезвычайною твердостью и редкою преданностью своему несчастному мужу.

Хорошо жилось семейству Головкиных при Анне Ивановне. Сам Михайла Гаврилович, робкий, мнительный и осторожный, умел отлично ладить с Бироном, разумеется, угождая ему на каждом шагу. Умная Ягужинская не могла не замечать приниженного положения своего брата перед временщиком, но, ослепленная любовью к брату, извиняла, как могла, его крайне непохвальную угодливость и только втайне скорбела, что он не занимает того независимого положения, которое, как ей казалось, должно было бы принадлежать ему и по его необыкновенным дарованиям, и по его редким способностям к государственным делам. Ослепление в этом случае сестры насчет почти бездарного и далеко не высоконравственного брата было слишком велико, но она не могла истребить в себе

то нежное к нему чувство, которое вкоренилось в нее с малолетства. С тех пор как только начала она себя помнить, никто не представлялся ей более заслуживающим любви и уважения, как брат ее Михайла. Каждое его огорчение она принимала так близко, а пожалуй, еще и ближе, чем свое собственное, каждый неблагоприятный о нем отзыв раздражал ее гораздо сильнее, чем раздражала бы лично ей нанесенная самая тяжкая обида, которую она по своей доброте тотчас же была готова не только простить, но и забыть навсегда.

Падение Бирона не только не изменило почетного положения семейства Головкиных при дворе, но, напротив, еще улучшило его. Теперь между молодою, беззаботною правительницей и Михайлой Головкиным не было уже прежнего могущественного временщика, перед которым так принижался вице-канцлер, а после удаления от дел властолюбивого Миниха Головкин сделался на некоторое время первенствующим в России лицом, если только не брать при этом в расчет влияния саксонского посланника Линара, руководившего тайно всеми действиями правительни-

цы. Но здесь была уже сердечная привязанность. В домашней жизни правительницы Головкины, а в числе их и Анна Гавриловна, они занимали самое видное место, и не проходило дня, которого бы не проводили они во дворце у Анны Леопольдовны, как самые близкие к ней люди. Ягужинская, впрочем, не вмешивалась в политические дела, довольствуясь оказываемыми ей правительницею уважением и дружбою, но относительно последней она должна была уступить первенствующее место любимой фрейлине правительницы, баронессе Юлиане Менгден, прехорошенькой, веселой и бойкой девушке.

Будучи ревностным сторонником правительницы и желая упрочить за нею верховную власть, Головкин вместе с графом Линаром, которому Анна Леопольдовна предалась всею душою, принялся хлопотать, чтобы мать малолетнего государя была провозглашена самодержавною императрицей. Он прочитывал церемониалы коронаций императриц Екатерины I и Анны Ивановны и по этим образцам готовился уже составить новый церемониал для венчания в Москве на царство

императрицы Анны II Леопольдовны. Казалось, все шло успешно, но дворцовый переворот, произведенный Елизаветой Петровной с помощью одной только роты гренадер Преображенского полка и при пособии золота со стороны французского посла в Петербурге, известного маркиза Шетарди, разрушил все замыслы графа Михайла Головкина.

По вступлении на престол Елизаветы Миних, Остерман, Левенвольд, приговоренные к смерти, хотя и были избавлены ею от казни, но тем не менее были отправлены в Сибирь, в отдаленную суровую ссылку. В числе знатных сановников, низверженных новою государынею, был и граф Михайла Гаврилович Головкин. Елизавета преследовала его не только за преданность бывшей правительнице, но и за внушения, делаемые им Анне, – постричь Елизавету в монашество и засадить ее на вечное заточение в какой-нибудь отдаленный монастырь. Вице-канцлер, избавленный от плахи, был отправлен в вечную ссылку под Якутск, в пустынный поселок, носивший непривлекательное название Собачий Острог.

Не столько падение семейства Головкиных, конфискация их обширных имений и всего движимого имущества и предстоявшие им в будущем забвение и ничтожество поразили Анну Гавриловну, сколько сокрушала ее страшная участь, постигшая так неожиданно ее любимого брата Михайлу, свергнутого с высоты величия. Часто и в воображении, и во сне представлялся он ей, изможденный и горем и лишениями, опозоренный, привыкший с детства к удобствам и роскоши, а в зрелые годы – к особому почету. Анна Гавриловна не переставала плакать и терзаться о нем и, конечно, не могла относиться дружественно к главной виновнице ее злополучия – императрице Елизавете, забывая, что брат ее, будучи во власти, вовсе не мягкосердно относился к участи цесаревны и без сострадания обрекал на вечное заточение молодую женщину, желавшую пожить на воле, повеселиться и насладиться земными благами.

Если изменилось прежнее, завидное для многих положение Анны Гавриловны, то то же самое должна была испытать и ее падчерица, Анастасия Павловна Ягужинская. Если

еще и прежде Анна Гавриловна не готовила Настеньку к блестящему замужеству, то теперь об этом нельзя было и думать. Молодая девушка, при своем сиротстве и с отцовской и с материнской стороны, считалась как бы принадлежащею к семейству Головкиных и разделяла его недавнюю счастливую участь, а теперь ей приходилось разделять и разразившуюся над ним беду. Никто из видных петербургских женихов не решился бы в ту опасную пору, – когда кара, которую должен был понести один виновный, распространялась на всех его родных, – никто не решился бы предложить свою руку девушке с опальным родством, да вдобавок к тому же не слишком богатой. Такой смельчак едва ли отыскался бы в тогдашнем русском обществе.

Еще до ссылки графа Головкина с домом его сестры Ягужинской познакомился через своего близкого приятеля Ивана Лопухина Фридрих Бергер, произведенный бог весть за какое отличие в поручики с зачислением опять в тот же стоявший в Петербурге кирасирский полк, в котором он находился до своего перевода в конную гвардию. Независимо

от того, что Настенька крепко приглянулась ему, он рассчитывал и на то, что такой сильный в ту пору вельможа, каким был граф Головкин, принимавший постоянное участие в падчерице своей сестры, скоро выведет его в люди. С своей стороны, и Настенька, не гоняясь за блестящим супружеством, не прочь была выйти за молодого и статного офицера. Между Настенькой и Бергером начали мало-помалу установляться близкие, почти дружеские отношения.

Когда несчастье постигло семейство Головкиных, то Бергер на первых порах не уклонился от прежних хороших отношений с домом Анны Гавриловны Ягужинской, но при этом он имел в виду очень тонкие расчеты.

Первые месяцы нового царствования были очень тревожны. Неудовольствия против новых любимцев государыни – Лестока, Шувалова и Разумовского – и проявившийся ропот даже среди лейб-компанцев, которым, собственно, Елизавета была обязана своим восшествием на престол, наводили на мысль, что и ее власть не очень прочна. Эта мысль вызвала весьма последовательно другую

мысль, а именно: что низверженная Елизаветой Брауншвейгская фамилия, имевшая всюду немало сторонников, может, пожалуй, занять свое прежнее место, и тогда все ее приверженцы, а между ними и один из главных – граф Михайла Головкин, так тяжко пострадавший за свою преданность правительнице, явятся не только в прежней, но и в еще большей силе.

«Надежда еще не потеряна, – думал честолюбивый немчик, – да, кроме того, хоть Настенька и не из богатых невест, но все же настолько есть у нее достатка, что на ее средства можно мне будет прожить безбедно весь век, и если повезет мне счастье, то уеду к себе в Лифляндию и заживу там важным господином назло тем, которые считают Бергеров людьми ничтожными».

VIII

Еще при Петре Великом строитель Ладожского канала, знаменитый в свое время инженер и прославившийся потом своими воинскими подвигами как начальствовавший над русскими войсками Бурхард Миних, немец, родом из Ольденбурга, построил на том месте, где ныне стоит лютеранская церковь во имя апостолов Петра и Павла, небольшую и, как кажется, деревянную лютеранскую кирку. Он считался ее ктитором и был самым почетным лицом этого лютеранского прихода, о делах и пользах которого он радел с большим усердием. Желая дать своим прихожанам рассудительного и честного пастора, Миних выписал откуда-то из Германии известного по своей благочестивой христианской жизни пастора Грофта.

В один из воскресных весенних дней 1742 года пастор Грофт произнес в этой церкви, по принятому им обыкновению, обширное поучительное слово. Внушая своим слушателям и слушательницам разные христианские добродетели, он в заключение очень сдержанно

намекнул на то, что совпадающее с этим воскресным днем число праздновалось прежде в приходе с особенною торжественностью в честь одного из прихожан, которого, к сожалению, ныне нет среди молящихся.

Все присутствовавшие в кирке немцы и немки были чрезвычайно растроганы таким заключением пасторской проповеди. Они вспомнили, что на это число приходился день рождения фельдмаршала Миниха, томившегося теперь в печальном изгнании в отдаленном Пелыме. Многим как живой представился этот приснопамятный прихожанин – высокий, бодрый, с воинственной осанкой, начавший уже стариться мужчина, величавая и повелительная наружность которого обращала на себя внимание каждого, кто его видел. Припомнилось также всем, как этот благочестивый прихожанин чисто лютеранского закала, сидя на своем почетном месте, под бархатным балдахином, распевал зычным голосом на всю церковь псалмы. У многих расчувствовавшихся немцев, а в особенности у немок, навернулись на глазах слезы при этих грустных воспоминаниях, а одна старая нем-

ка-булочница, влюбленная без души в бывшего фельдмаршала, расплакалась навзрыд, и тщетно утешал ее муж, что герр граф фон Миних живет очень хорошо в Пелыме, что русские, наверно, без него никак не обойдутся и что если не в то, то в одно из ближайших воскресений она снова увидит господина фельдмаршала сидящим на своем обычном месте и услышит его голос.

Когда Грофт окончил свою речь и спустился с кафедры, многие из прихожан стали подходить к нему, дружески и почтительно пожимая ему руку и благодаря его в лестных выражениях за прекрасную и трогательную проповедь. Пастор, чрезвычайно довольный тем впечатлением, какое он произвел на свою паству, отправился спокойно домой, рассуждая на пути сам с собою о непрочности всего земного и заготовляя в голове новую проповедь на эту благодарную тему.

Во время богослужения посторонний зритель, пришедший в кирку не для молитвы, а только для наблюдений, непременно заметил бы среди многочисленного и довольно пестрого собрания богомольцев двух выдавав-

шихся лиц. Один из них, худощавый старик, сидел на одной из задних лавок, уткнув свой нос в молитвенник, и ни разу не только не оборотил своей головы в ту или другую сторону, но даже не отвел глаз от листов своего старого «гезангбуха». Старчески разбитым, но, как было заметно, когда-то мощным голосом он с замечательной верностью слуха подпевал под гремевший в церкви орган. В старике этом нетрудно было узнать майора Ульриха Шнопкопфа, несмотря на происшедшую в нем перемену, так как в короткое время он постарел на целый десяток лет, осунулся чрезвычайно, а спина его сделалась сильно сутуловатой. И неудивительно, что так ослаб еще незадолго перед тем столь молодцеватый майор. В короткое время он испытал много горя: сперва перевели его в далекую команду, потом отняли ее у него, а вскоре за тем прислали «абшид», то есть отставку, в которой, по обычаю того времени, он был рекомендован всем «высоким потентатам» как честный и храбрый офицер, с добавлением, что он может быть принят на службу всюду, «где он, по состоянию своему, счастия искать пожелает».

Но бедного майора, которому уже поздно было искать счастья, огорчал не столько «абшид», присланный из военной коллегии без всякой с его стороны просьбы, сколько внесение в означенный патент, что он, майор Шнопкопф, увольняется от службы за непригодностью к ней «по дряхлости лет». Также сильно огорчало его и неупоминание о ранах, полученных им при Нарве и при Полтаве, о которых, конечно, вовсе некстати было упоминать русскому военному начальству как о воинских отличиях. При чтении выданного Шнопкопфу патента можно было предполагать, что он был захвачен, пожалуй, как беглец с поля битвы. Но всего более огорчало его то, что он, как «абшидованный», то есть по-нынешнему, отставной, не имел уже права носить свой огромный палаш, с которым он так свыкся. Теперь майор, к крайнему его прискорбию, был уже совершенно устранен от всякого участия по внедрению дисциплины среди победоносного православного воинства. Не мог же он, идя без палаша, остановить на улице нижнего чина и распечь его на ломаном русском языке, с угрозою тем или

другим артикулом «Воинского Устава», который теперь ему приходилось забыть навеки как знание, ни к чему уже не пригодное.

Через своего приятеля, служившего в военной коллегии по секретной части, майор узнал, что причиной всех его злосчастий был поступивший прямо в эту коллегию неграмотно написанный по-русски донос. Подробности этого доноса, то есть встреча доносчика с майором на улице в то время, когда он, доноситель, шел с одним из своих товарищей, и затем изложение обстоятельств, в сущности сходных с действительностью, но только с добавочными прикрасами и с приданием иного смысла разговору майора с молодым Лопухиным, явно показали, что доносчиком мог быть только Фридрих Бергер, пожелавший таким гнусным поступком обратить на себя внимание военного начальства.

Слушая рассказ о доносе, Шнопкопф выходил из себя и даже бесновался. Сперва он хотел вызвать Бергера на поединок, но потом сообразил, что с подлецами такой способ расправы не только непозволителен, но и признается унизительным по господствующим

понятиям о чести. Затем майор хотел заколоть или застрелить Бергера, как презренного негодяя, но опять сообразил, что нападение на кого-либо с оружием без предварительного объяснения о причине, подавшей к тому повод, составляет своего рода низкий поступок, на который никогда не может решиться прямодушный солдат. Таким образом, оказывалось, что Бергер, хотя и несомненный доносчик, был неуязвим со стороны людей, чутко понимавших правила чести. Открыть же Бергеру причину вызова на поединок или неожиданного на него нападения было для майора невозможно, так как это повлекло бы к погибели того из его доброжелателей, который сообщил майору о поступившем на него доносе.

Другой молельщик был с совершенно иным отпечатком сравнительно с Шнопкопфом. Он был молодой, здоровенный детина, довольно представительной наружности, в мундире поручика кирасирского полка, и, конечно, нетрудно догадаться, что то был Фридрих Бергер. Бергер засел на одну из первых лавок с своим, как было видно, близким зна-

комцем, одетым в мундир какого-то армейского полка, стоявшего гарнизоном в Петербурге. Вместо того чтобы быть внимательным к богослужению, Бергер беспрестанно вертелся на месте, заглядывая то в ту, то в другую сторону и не смотря вовсе в свой «гезангбух». Так как в лютеранских церквах искони строго поддерживается внешнее благочиние, то Бергеру нельзя было даже и шепотом разговаривать с своим соседом, а потому он, поглядывая в левую сторону, где на лавках сидели дамы и девицы, только подталкивал соседа локтем и показывал глазами на хорошенькую или миловидную замеченную им немку. Когда пастор начал говорить свою проповедь, то Бергер не обращал сперва никакого внимания на его душеспасительные поучения; но когда Грофт перешел к намекам на Миниха, то Бергер как-то радостно встрепенулся, навострил уши и даже попридержал своего соседа, когда тот слегка подтолкнул его локтем, желая в свою очередь указать на общую их знакомую Лотхен.

При выходе из кирки Шнопкопф приостановился на паперти, ожидая в грустном на-

строении, не выйдет ли из кирки кто-нибудь из его хороших знакомых, кому бы он мог передать постигшее его горе и встретить хоть какое-нибудь участие к своей печальной судьбе.

Майору не пришлось долго ждать. Вскоре в выходных дверях показались Бергер и его сосед по церковной лавке. Бергер, завидев Шнопкопфа и притворившись, будто не замечает его, проворно юркнул в сторону и замешался в толпе, пристав с разными пошлыми любезностями к Лотхен. Но товарищ Бергера подошел к Шнопкопфу.

– Здравствуйте, господин майор, – сказал он ему, протягивая руку, – да что же вы без палаша? Неужели вы, такой исправный служака, забыли прицепить его?

Майор грустно покачал головой.

– Со мною, господин Фалькенберг, – начал он жалобным голосом, – приключилось большое несчастье! Я получил «абшид».

– Ах да, я слышал, да забыл... Мне что-то об этом говорил Бергер, – перебил Фалькенберг. – Бергер! Бергер! Где ты? – окликнул молодой майор, отыскивая глазами своего това-

рища среди все более и более редевшей около кирки толпы; но Бергер, укрываясь от Шнопкопфа, взял направо по Невской першпективе и был уже далеко. Он остановился только у Зеленого, нынешнего Полицейского моста, поджидая, когда подойдет сюда Фалькенберг, которому тоже следовало идти этим путем.

– Вот кто счастливец, так это Фридрих Бергер, – заговорил Фалькенберг, продолжая свой разговор с Шнопкопфом. – Мало того, что он вдруг и так скоро по службе пошел, он еще отыскал себе славную невесту – графиню Ягужинскую, молоденькую, хорошенькую, и хоть не слишком богатую, но для Бергера, у которого за душой нет ни гроша, с таким хорошим достатком, что она просто для него находка! Да и хорошо он думает устроиться в супружестве. Если, толкует он, придется мне с женою жить ладно, то ей хорошо будет, а если она наскучит, так поеду в Лифляндию и, как тамошний уроженец, легко разведусь с нею. У нас развод не так труден, а по нашим законам, – рассчитывает Бергер, – все женино имение достается в распоряжение мужа, если от разведенной с ним жены есть у него дети.

Вот так сметливый человек! – подхвалил Фалькенберг своего товарища.

– Если господин Бергер действительно так думает, как вы говорите, – вспылил старик, – то он должен быть отъявленный негодяй. Благородный офицер не позволит себе делать такие низкие расчеты, и если бы я имел честь быть знакомым в доме графини Ягужинской, то предупредил бы ее о том, какая печальная участь готовится бедной девушке. Мое нижайшее почтение, господин майор фон Фалькенберг! – сказал, раскланиваясь с ним, Шнопкопф и поспешил уйти от одного из близких приятелей Фридриха.

Фалькенберг, так круто оставленный Шнопкопфом, направился к Зеленому мосту. Около него он сошелся с поджидавшим его Фридрихом, и оба они отправились обедать на Луговую, нынешнюю Миллионную улицу, в немецкий трактир, который содержал пруссак Беглер. Трактир этот был в ту пору местом сходки всех немцев, проживавших в Петербурге, – разумеется, за исключением тех, которые занимали высшие должности и потому считали неудобным ходить по трактирам.

Там собиралась главным образом вся петербургско-немецкая молодежь и преимущественно молодые офицеры, проводившие время в разговорах за кружкой пива или за бутылкой дешевого вина, или за игрою на бильярде, в карты, домино, шашки и шахматы. Без устали любезничали они с молоденькими служанками из немок и в особенности льнули к игравшим на арфе или распевавшим свои песни тиролькам, которые, для таких прибыльных в ту пору занятий, стали в изобилии наезжать в Петербург чуть ли не с самого его основания. Было заметно, что в немецкой компании, собиравшейся в заведении Беглера, Бергер, несмотря на свой офицерский чин, не пользовался ни малейшим уважением. Все, даже его земляки, как-то косо и недоверчиво посматривали на него; никто ничем его не потчевал и не подсаживался к нему для беседы, как это обыкновенно водится в отношении приятных знакомых или добрых товарищей. Все как будто избегали не только разговора с ним, но даже и встречи. Один лишь Фалькенберг считался его коротким приятелем, да иногда заходил с Бергером

в трактир молодой Лопухин, чтобы поиграть с ним на бильярде. Бергер почти силой затаскивал туда молодого подполковника с тем, чтобы угоститься на даровщинку или попросить щедрого на деньги Лопухина заплатить долг по счету, записанному на Бергера.

– Что ты заставил меня так долго ждать? – спросил Бергер подошедшего к нему у Зеленого моста Фалькенберга.

– Да заболтался со старым Шнопкопфом. Рассказывал, как он неожиданно получил «абшид» без всякой с его стороны просьбы и должен был вследствие этого отцепить свой тяжелый палаш. Старик ужасно огорчен. Да из-за чего он так сердит на тебя?

– Почему же ты думаешь, что он сердит на меня? – не без смущения спросил Бергер.

– Вообрази, он как-то узнал стороною, что ты собираешься жениться на Настеньке Ягужинской, и теперь хочет написать безыменное письмо к ее мачехе, чтобы она не выдавала за тебя свою падчерицу, потому что ты, как он говорит, – извини за откровенность, – негодяй, плут, мот, картежник, пьяница, короче сказать, по его словам, ты самый скверный

человек во всем мире.

Бергер не промолвил ни слова, стараясь сделать вид, что не обращает внимания на оскорбительные о нем отзывы со стороны майора.

На другой день с утра принялся Бергер что-то писать; долго писал он и много делал помарок, пока не окончил своего сочинения.

Между тем «абшидованный» майор терялся в соображениях, что ему делать, очень ясно сознавая, что без службы и без палаша он существовать не может.

«Пойти разве опять в шведскую службу, – думал он. – Вышел я из нее не бесчестным образом, да и обстоятельства для меня сложились так, что мне не приходилось воевать против шведов».

Когда однажды майор в таких размышлениях сидел в своей скромной квартирке и, по обыкновению, покуривал трубку, ему принесли повестку, в которой требовалось, чтобы он завтра утром с имеющимся у него патентом явился в полицейскую управу. В тревожном настроении отправился туда Шнопкопф, и тревога его была не напрасна. В полиции, по

указу военной коллегии, отобрали у него абшид и выдали ему подорожную до русской границы с тем, чтобы он в течение трех суток в сопровождении приставленного к нему полицейского выехал из России. При этом его предварили, что в противном случае с ним будет поступлено, как с ослушником, по всей строгости законов.

Разведывать о причине такой внезапной высылки было бы бесполезно. Бергер, которого вследствие сплетни Фалькенберга тревожило присутствие майора в Петербурге, знал очень хорошо эту причину. Сам же Шнопкопф приписывал свою высылку общей проявившейся среди русских ненависти против немцев. Майор наскоро собрал свои скудные пожитки и отправился к границам Курляндии. Совесть успокаивала его, что он в России честно служил тому знамени, которому присягал, что не его вина, если с ним поступили так безжалостно. Он признавал, что теперь свободен от присяги русскому знамени и может «по состоянию своему» искать счастье, где пожелает, хотя письменного на то удостоверения при нем уже не имелось.

IX

В той комнате трактира Беглера, где за небольшим особым столом уселись обедать Бергер и Фалькенберг, шел шумный говор на немецком языке, представлявшем смесь всех германских наречий, которые в ту пору разнились одно от другого более, чем разнятся ныне. Но эта разница не нарушила никогда единомыслия петербургских немцев; в особенности же они сплачивались тесно между собою теперь, когда им всем без исключения стала грозить, по-видимому, общая опасность со стороны русских. Русские, озлобленные против немцев при Бироне, а отчасти и при правительнице Анне Леопольдовне, теперь явно выражали свою неприязнь к немцам. Они за деньги и в чаянии щедрых наград первые принялись возбуждать преображенцев против правительницы и ее сына, разглашая, между прочим, что он даже и крещен не по православному обряду. Они склоняли солдат в пользу Елизаветы, как истинно русской царевны, при которой русским будет житься иначе, нежели жилось при немцах. Шварц и

Грюнштейн, после удачного исполнения их замысла, были щедро награждены Елизаветой. Так, выкрест Грюнштейн за оказанные им услуги и преданность не только был произведен прямо из солдат в майоры, но еще получил до тысячи душ крестьян в вечное потомственное владение. Соответственная тому награда была пожалована и Шварцу. Они были первыми лицами, которым признательная Елизавета оказала свои царственные щедроты. В отношении же других своих пособников она в первые месяцы своего царствования была скупа, не желая, чтобы оказываемые им милости приняли как следовавшее им вознаграждение за действия в ее пользу.

Современники воцарения Елизаветы не знали ничего о происках французского посла маркиза де Шетарди, употреблявшего все усилия, чтобы, сообразно инструкциям Версальского двора, сделать в России государственный или, вернее, династический переворот. Правда, в Петербурге ходила не совсем благоприятная для Елизаветы молва, разглашавшая, что хотя при ней уже немцев и нет, но

что все-таки вся сила находится по-прежнему в руках людей не русских, а француза Лестока и Разумовского, которого в народе ошибочно считали поляком, и Разумовский – человек незлобливый и безвредный – сделался в первое время царствования Елизаветы предметом общей и даже более сильной ненависти, нежели злой и пронырливый Лесток. Но так как низвержение Брауншвейгской фамилии было произведено солдатами при деятельном участии таких чисто русских людей, как Воронцовы и Шуваловы, и так как Елизавета не слыла сторонницей немцев, а симпатии ее к Франции народу не были известны, то все полагали, что теперь наступила такая благоприятная пора, что легко будет расправиться с сильно надоедавшими немцами.

Движение против них обнаружилось прежде всего в войске, так как солдаты, настроенные общим подъемом народного духа, хотели истребить своих начальников из немцев.

Невдалеке от столика, за который уселись Бергер и Фалькенберг, разместились за большим обеденным столом несколько близких

между собою приятелей-немцев. Один из них, вернувшийся недавно из Финляндии, какой-то пожилой уже штаб-офицер, рассыпался в восторженных похвалах о командовавшем находившимися там русскими войсками генерале Ласси, рассказывая, как этот генерал смело и решительно усмирил солдат, разбушевавшихся под тем предлогом, будто новая государыня, ненавидевшая немцев, приказала истребить всех начальствовавших из этой породы и объявить, что отныне солдаты не должны им более повиноваться, а обязаны слушаться только русских офицеров.

Другой собеседник, тоже из военных, рассказывал подробности о том, как во многих полках солдаты оскорбляли и даже били своих начальников немецкого происхождения.

Все присутствовавшие приходили в ужас от этих сообщений, не предвещавших ничего доброго немцам, и в недоумении посматривали друг на друга, как бы спрашивая один другого, что же им придется делать, если продолжится или, что еще хуже, усилится еще более такое враждебное отношение русских к немцам. В дополнение ко всему этому слышались

со всех сторон хулы и порицания и России, и русскому народу, а также насмешки над его религией, свойствами, способностями, обычаями и нравами.

– Я вам вот что скажу, – начал вдруг громким голосом среди общего шумного говора, отзывавшегося сильным раздражением, сидевший также за столом седой старик с умным прямодушным выражением в лице. Легко можно было заметить, что к этому старику все собеседники относились с большим уважением, так как лишь только начал он говорить, все примолкли и стали слушать его с напряженным вниманием. – Я вам скажу, господа, – продолжал он, – что хулы ваши на русский народ несправедливы; я имею с русскими беспрерывные сношения уже пятьдесят лет и прямо среди моих почтенных единоплеменников заявляю, что русские – народ добрый, ласковый и приветливый...

– Да вы, Карл Иванович, известный защитник русских, недаром даже и мы, немцы, называем по-русски «Карл Иваныч», – со смехом отозвался один из собеседников.

– Так почетно называл меня и сам царь

Петр Алексеевич, а я сам, хоть и очень привык к русским, но в душе остался и останусь навсегда таким же немцем, каким я родился! – почти крикнул Майглокен, один из первостатейных немецких негоциантов в Петербурге. – Я желаю и даже завещаю моему семейству, чтобы тело мое после смерти было перевезено в мой родной Юнкгейм; но все это не мешает мне нисколько отдавать должную справедливость русскому народу за его хорошие качества и осуждать то, что действительно в нем есть дурного. Я приехал прямо в Москву еще очень молодым человеком, бедным приказчиком к тамошнему купцу из немцев Августу Фрейлиху, и с каким пренебрежением, а вместе с тем и с боязнью смотрел я тогда на русских! Но вот что я скажу вам: когда при мне начались в Москве народные смятения, когда стрельцы и чернь беспощадно истребляли своих начальников и бояр, даже родственников царских, – мы, немцы, в своей мирной слободе оставались спокойны. Московские старожилы из немцев успокаивали нас, рассказывая, что даже в один из самых сильных бунтов, когда московская чернь

грабила русских купцов и разорила правительственное учреждение, называвшееся «Холопий приказ», – никто из немцев не был ни ограблен, ни оскорблен русскими. Правда, был при мне убит один из иноземцев, доктор Гаден, но, во-первых, он был не немец, а жид, а во-вторых, убили его потому, что обвинили в чародействе, в отравлении царя Федора, а такое обвинение не спасло бы от смерти и природного русского. Не спорю, что злоумышленными подстрекательствами нетрудно довести русский народ до того, что он примется поголовно и беспощадно истреблять тех, на кого его станут натравливать, но разве не бывало того же самого и у немцев?.. Вспомните-ка, сколько подобных ужасов происходило и в нашем отечестве, в дорогой и милой всем нам Германии.

– Это справедливо, – заметили несколько голосов, но зато все прочие собеседники сомнительно покачали головами и отнеслись к словам Майглокена не только с заметным недоверием, но и неприязненно.

– Положим, что сам по себе русский народ хоть и не любит, но и не ненавидит нас, но у

нас в России есть опасные и злые враги – попы и монахи, – заметил один из обедавших.

– Не говорите и этого безусловно, господин Форслебен, – с живостью возразил Майглокен. – Знаю я и русских попов, и русских монахов. Правда, они смотрят на иноверцев враждебно, боясь, что мы совратим русских, или, как они их называют, православных, в свою нечестивую веру; но замечательно, что они с гораздо большим ожесточением преследуют своих же русских сектантов, так называемых раскольников. Не раз приходилось мне вести об этом беседу с русскими духовными лицами. Мы, например, имеем в Москве, да и в Петербурге, на одной из главных улиц этого города, свои храмы, тогда как русские сектанты не только справляют свои, собственно, те же православные обряды тайком, но уходят в леса, чтобы там иметь свои молитвенные сборища. Мало того, мы иной раз при нашем богослужении вмешиваемся и во внутренние дела России, – добавил, улыбнувшись, Майглокен. – Вот хотя бы сегодня господин пастор Грофт говорил в своей проповеди о досточтимом графе Минихе, и, конечно, все поняли,

какой укол и какие порицания нынешнему правительству заключались в его проповеди. Надобно нам, господа, быть справедливыми и искренними.

– Проповедь господина пастора Грофта была превосходна, – заговорили разом несколько голосов.

– Это образец красноречия и глубины мысли, – подхватил учитель немецкого языка при церковной школе.

– Я нисколько не позволю себе порицать риторические и нравственные достоинства этой блестящей проповеди, но, господа...

– Вы, вероятно, хотите сказать, что подобного рода проповеди с политическим оттенком могут навлечь и на господина пастора и на его прихожан, сочувствующих им и ободряющих их, неудовольствие, если и не со стороны ничего не понимающего в этом народа, то со стороны правительства? – перебил толстый консисториал-советник с тревожным выражением в лице.

– Вы совершенно верно угадали мою мысль, господин Викинз. Представьте себе, что в это время находился бы кто-нибудь из

русских, понимающих по-немецки, довел бы до сведения правительства о существенной мысли проповедника. Согласитесь, что в таком случае господину Грофту пришлось бы очень плохо. Теперь шпионство господствует здесь не менее прежнего; оно сильно поощряется; смело можно сказать, что нынче выходят в люди за доносы, и я уверен, что если бы кто-нибудь донес на господина пастора, и в особенности если бы таким предателем явился бы кто-нибудь из немцев, он щедро был бы награжден за особенную преданность настоящему правительству. Мы живем в опасное для нас время, но опасность грозит нам не со стороны самого народа.

При этих словах Бергера, внимательно прислушивавшегося к тому, что говорил Майглокен, как-то передернуло.

– Теперешнее правительство только ищет предлога, чтобы за что-нибудь придраться к немцам, и нам как нельзя более следует остерегаться, чтобы не подать к тому какого-либо повода. Малейшая с нашей стороны неосторожность может очень дорого обойтись нам. На днях я слышал от верного человека, что

духовника государыни, Дубянского, который имеет на нее такое сильное влияние во всем, что касается религии, подбивает против лютеран какой-то приехавший из города Владимира монах Варсонофий. Живет он теперь в Александро-Невском монастыре и распускает слух, что к нему являются разные святые, которые требуют от него, чтобы он пошел против лютеран и проповедовал бы народу об их поголовном истреблении и о разрушении лютеранских церквей. Разумеется, такой изувер может взволновать простых русских людей, а через духовника государыни он убедит и ее в необходимости – если не разрушения наших церквей, то все же в необходимости стеснить свободное отправление богослужения по нашему обряду.

Около этого предмета завязался между застольными собеседниками оживленный разговор. Они были уверены, что в обеденном зале не было никого из русских, так как все немцы знали один другого наперечет и тотчас же могли бы заметить постороннего человека, которого следовало стесняться при откровенном разговоре.

Бергер и Фалькенберг чувствовали, однако, себя неловко в этой компании. С ними никто из посетителей не заговаривал, но не по политическому к ним несочувствию, а потому что Бергер считался дрянным и сварливым человеком и беззастенчивым блюдолизом. Такое отчужденное и приниженное его положение среди «своих» сильно раздражало его, тем более что его постоянно грызло желание выйти в люди во что бы то ни стало. Он все более и более терял надежду на покровительство Головкиных, которые теперь находились в таком незавидном положении, что брат Михайлы Гавриловича Александр, бывший посланником в Голландии, решился навсегда со всем своим потомством отрешиться от своего отечества. Он перевел свои громадные капиталы в Амстердамский банк, утвердил в своем семействе лютеранскую веру, и оно до такой степени отчуждилось от России, что возвратившийся в Россию при Екатерине II внук графа Александра, лютеранин по вере, не умел даже говорить по-русски.

Но если бы даже Головкины и сохранили их прежнее значение, то устроиться около

них Бергер не мог рассчитывать с достаточною уверенностью. В том, что он, как молодой и статный офицер, мог, подделываясь хитро к молодой девушке, полюбиться ей, еще не было твердой заручки для брака. Сегодня Настеньке мог нравиться один, а завтра понравится другой, тем более что сильной и глубокой страсти тут не было, и молоденькой Ягужинской так же легко мог полюбиться и другой приглядный по наружности молодой человек, как понравился Бергер, бывавший чаще других в доме ее мачехи.

Помимо этого, Бергер имел основание опасаться, что затеваемое им супружество легко может расстроиться и по особой причине: до Анны Гавриловны или вообще до семейства Головкиных могли так или иначе дойти слухи о разных неблаговидных его поступках и об его развратной жизни. Особенно он этого начал побаиваться с той поры, когда сплетник Фалькенберг передал ему угрозу майора Шнопкопфа. Зная безупречную нравственность старика и его прямодушие, Фридрих опасался, что решительный Шнопкопф надумает, чего доброго, сделаться охранителем

молодой девушки и из современного майора обратиться в средневекового рыцаря, считавшего защиту невинности одною из главных обязанностей своего звания. Поэтому Бергер и счел нелишним избавиться на всякий случай от майора уже известным ему, Бергеру, способом, и вследствие его гнусной проделки майор, по отобрании у него «абшида», был выпровожен на курляндскую границу под обычным в то время полицейским надзором.

Между тем честолюбивые искания все сильнее разыгрывались в кирасирском поручике. Он крепко досадовал, что ему не пришлось примкнуть к тем молодцам, которые способствовали вступлению на престол Елизаветы, и мучился от зависти, когда ему приходилось слышать рассказы о той великолепной свадьбе, которую справил саксонский жидок Грюнштейн в Москве и которая была удостоена присутствием императрицы, щедро одарившей невесту Грюнштейна и бриллиантами, и золотом, и серебром. Такое же мучительное чувство испытывал Бергер, когда до него порою доходили слухи о том, как благоденствует Шварц, хозяйничая в пожалован-

ной ему обширной и богатой вотчине. Не без досады вспоминал он, что даже простые солдаты Преображенского полка, обращенные в лейб-компанцев, пользовались особым почетом, что они не только были пожалованы в офицерские ранги, но и получили поместья, тогда как он, Бергер, остался тем же поручиком и, промотав доставшееся ему от умершего отца небольшое состояние, должен был довольствоваться небольшим жалованьем, запутанный кругом в долгах и находясь очень часто без копейки денег, тогда как ему хотелось бы пожить в довольстве и пользоваться всем, чем может пользоваться человек в его годы.

X

Теряясь в бесплодных догадках, как бы получше устроиться и выйти в люди, неразборчивый в выборе клонящихся к тому средств, Бергер напал на мысль, что удобно было бы ему, как немцу, воспользоваться раздражением русских против его единоплеменников и, выделившись сразу из ряда этих последних, заявить себя правительству с самой что ни на есть благонадежной стороны. Как человек хотя и крайне плутоватый, но вместе и ограниченный умом и без всяких правил чести, он подумал, что при настоящем положении дел предательство может служить очень пригодным орудием для достижения предположенной цели.

«Если я укажу на политические подстрекательства пастором Грофтом его прихожан, то, без всякого сомнения, во мне увидят благонадежного человека, не думающего, ради государственных интересов, даже и о потачке своим единоплеменникам и единоверцам. Кажется, тогда я представлю такое доказательство моей преданности, сильнее которого ед-

ва ли можно найти. Непростительно было бы мне упускать такой благоприятный случай», – думал Бергер.

Раздумывая таким образом, Бергер хотя и желал предать неосторожно проболтнувшегося пастора, но с тем, чтобы устроить это предательство так, чтобы оно открыло ему доступ прямо к тем лицам, которые имели сильное влияние при императрице. Теперь в пустоватой голове кирасира, туманившейся вдобавок к тому нередко и пивными, и водочными, и винными парами, стали являться те небольшие переходы, посредством которых он, как один из самых усерднейших верноподданных, может дойти и до государыни.

Бергер, отчужденный от немцев, которые очень хорошо знали его как продувного малого, имел довольно обширное знакомство среди русских и у них мог проведать многое. Русские, по своему благодушию, относились к нему с нравственной точки зрения гораздо снисходительнее, нежели немцы, старавшиеся поддержать о своем небольшом петербургском кружке добрую молву относительно некоторых условий общественной жизни и

личных отношений. С своей стороны, Грофт, в качестве обер-пастора, успел даже присвоить себе своего рода нравственно-духовную расправу над своею паствою. Разумеется, он не решался привлекать к своему суду более или менее чиновных лиц из ее среды, но простых немцев он нередко приглашал к себе для соответствующих вразумлений. Хозяева часто обращались к нему с жалобами на мастеровых, рабочих и приказчиков из немцев, прося пастора сделать им отеческие внушения и наставления. Нередко приходили к Грофту с жалобами мужья на жен, жены на мужей, отцы на детей. На петербургской немецкой колонии лежала та же печать общинного духа, какую вообще наложило протестантство на своих последователей.

Собираясь обнаружить перед подлежащими властями политическую неблагонадежность пастора, Бергер, одно из духовных его чад, видел в этом деле особенную важность, на которую, как он полагал, следовало ему указать в своем доносе, а именно – что пастор Грофт был вызван в Петербург бывшим фельдмаршалом Минихом, который отправ-

лен за свои злокозненные замыслы против благополучно царствующей ныне государыни в отдаленную ссылку; что он, Грофт, был в дружбе с графом Остерманом, достойно наказанным за «злодейские поступки», и что при этих условиях он и в настоящее время может затевать разные злоумышления, подготовлять восстановление Брауншвейгской фамилии, а вместе с ее возвращением – и возвращение двух упомянутых злодеев. Короче, несмотря на свою ограниченность, честолюбивого кирасира хватило настолько, что он сумел представить дело пастора в таком виде, что оно будто бы грозило государству страшною опасностью и что он, Бергер, избавлял государыню от беды, почему в настоящем случае он являлся спасителем государства и его нельзя было оставить без особых отличий. «Важнее же всего, – думал он, – здесь окажется то, что такие предостережения идут от немца и лютеранина. Поступи так русский, донос его казался бы не столь важным».

Обдумывал также Бергер, через кого бы лучше всего можно довести о своем усердии до сведения императрицы. Сделать это через

Лестока ему казалось не совсем удобным, так как Лесток – реформат, хотя и слывет безбожником. На Воронцовых, Шуваловых и Разумовского тоже рассчитывать было нечего: они занимаются совсем иными делами.

– Да что же я долго думаю, – спохватившись, ударил себя по лбу поручик. – А Варсонофий-то монах – чего же лучше? Он через государынина духовника представит мою бумагу императрице, и, быть может, она потребует меня к себе для личных объяснений.

В тот же день Бергер, который, как мы сказали, имел много русских знакомых, начал, как бы без всякой цели, расспрашивать у них об отце Дубянском и о монахе Варсонофии. Собранные им о том и о другом сведения оказывались для него чрезвычайно благоприятными. Ему рассказали, что Дубянский пользуется у государыни большим влиянием и что он неприязненно относится к немцам и в особенности к лютеранству. Сообщили ему также, что в Александро-Невском монастыре живет приезжий монах Варсонофий, считающийся человеком святой жизни и имеющий дар пророчества; что ему в монастыре, по

внушениям духовника императрицы, оказывают особый почет; что к нему за благословением и за советами ездят и знатные русские господа и именитое русское купечество, а он им всем пророчествует, что русское царство вскоре постигнут большие бедствия за нечестие, которое разводят между православными «нечестивые люторы», что их давно бы следовало изгнать, а божницы их предать поруганию. Добавляли к этому, что и набожная императрица внимает таким вещим глаголам смиренного инока.

Императрица, собиравшаяся сама, после ссылки Шубина Бироном, уйти в монастырь и даже добровольно отведавшая в Успенском Александро-Слободском монастыре обстановку монашеского жития, любила окружать себя людьми, бывшими или только представлявшимися людьми благочестивой жизни, и отец Варсонофий, о котором столько наговорил ей Дубянский, был во многих отношениях под стать тому настроению, в каком находилась Елизавета.

Сообразительные люди могли легко догадаться, что то враждебное настроение к нем-

цам и к их религии, в какое старался привести Елизавету Варсонофий, поддерживалось и лицами, бывшими к ней близкими. Все они желали избавиться от злого и заносчивого Лестока, который содействовал так много Елизавете в ее предприятии против брауншвейгцев, хотел управлять всем и всеми по своему произволу. Немногие, да и то слишком робко и уклончиво, решались не столько говорить ей прямо о Лестоке, сколько лишь намекать на то исключительное положение, какое занял при ней иноземец, бывший лейб-хирург, в обиду русским. Отцу Дубянскому он был невмоготу не только по каким-либо государственным соображениям, но и потому еще, что он, как безоглядочный болтун, порою дерзко затрагивал религию.

«Пусть отец Варсонофий, – думал часто Дубянский, – скажет напрямки государыне то, чего не посмеем сказать ей ни я и никто из ее приближенных. С грубого мужика за это не взыщется. Да и сам-то Варсонофий, как я заметил, парень ловкий. Пусть другие, как хотят, возятся с Лестоком, а я уверен, что никто столько ему не навредит, сколько Варсоно-

фий».

Приезжая часто в Невский монастырь, государыня после обедни бывала в келье Варсонофия и выходила оттуда растроганная, нередко с заплаканными глазами, и Лесток мог заметить, что после такой побывки она относилась к нему уже не с особенною благосклонностью и порою высказывала, что пора бы избавить Россию от всех иноземцев, и разумеется, что такие как будто невольные обмолвки государыни принимались за предвестие, что Лестоку несдобровать.

Мало-помалу Варсонофий, присмотревшийся к государыне и, таким образом, попривыкший к ней, а следовательно – уже переставший ее бояться, стал постепенно забываться перед государыней. Он позволял уже себе журить ее, угрожая ей и жупелом, и металлом, и устрашал ее от имени Божия страшным воздаянием за ее прегрешения, если она будет непокорна его внушениям, идущим будто бы не от него самого, но от святой высоты. Он начинал входить в обширные права духовного отца, считающего своею обязанностью обуздывать страсти и помыслы по-

корствующей перед ним овечки. Главным предметом укоров государыне со стороны этого изувера было то, что она слишком мирволит нечестивым иноверцам, которые только и помышляют о пагубе святой православной церкви и о распространении их дьявольских ересей.

На первых порах хитрый хохол Дубянский, земляк Разумовского, был очень доволен тем влиянием, которое он, вдобавок к своему личному, успел утвердить через Варсонофия над Елизаветой. Варсонофий в точности исполнял наставления, даваемые ему духовником, но, почувствовав свою силу, начал относиться иначе к своему покровителю.

– Да что ты, отец Федор, вздор-то городишь! Без тебя я все знаю. Голова-то у тебя, видно, без мозгов, – начал возражать Дубянскому Варсонофий своим грубым вологодским наречием в противоположность мягкому говору малоросса. – Да ты кто? Такой же поляк, как и приятель твой Разумовский; знаю я ваше отродье. Я и без тебя сумею сказать царице, что ей нужно творить для спасения ее души. Пусть она идет по моему пути, а

ты в дела наши не суйся. Никто тебя о том не просит. Знай, сверчок, свой шесток...

Спохватился отец Федор, что он слишком далеко завел монаха в доверие и благорасположение императрицы и что теперь пора бы и повернуть его вспять.

«Потерплю еще маленько, – думал Дубянский, – пусть он прежде спихнет Лестока, а там с Варсонофием уж я справлюсь».

Особенно встревожился Дубянский, когда Мавра Егоровна Шувалова, рожденная Шепелева, передала, что как-то однажды императрица сказала, что ей хочется побывать на духу у Варсонофия.

При этом известии отец Федор уразумел, что он, чего доброго, может остаться ни при чем по милости Варсонофия, и отправился посоветоваться к Разумовскому.

– А щоб его кием добре отсель випыхнуть на его Вологду, – посоветовал земляку Разумовский.

Дубянский объяснил Разумовскому неуместность такого простого приема в настоящее время, так как пока Варсонофий еще им очень нужен, чтобы сжить ненавистного

Лестока, и что после того как Лесток спихнется, можно будет приняться за кий и распорядиться с Варсонофием. Разумовский, очень хладнокровно выслушав мнение протопопа, согласился с его доводом, вполне уверенный, что его собственное положение нисколько не зависит от Варсонофия, который, сверх того, вовсе не перебивает доходов, пожалованных ему императрицею, как могут перебивать высочайшие дачи, делаемые Дубянскому.

XI

Собрав сведения о Дубянском и Варсонофии, Бергер решился толкнуться к последнему из них. Он рассчитывал на то, что чем необыкновеннее дойдет его донос до императрицы, тем более он будет иметь важность и тем большее значение получит в глазах государыни сочинитель доноса. «Ее непременно должно будет, – соображал Фридрих, – поразить странное соединение, ради государственных и ее личных интересов, молодого кирасирского офицера с простым русским монахом, и притом офицера из немцев, указывающего на свободомыслие своего пастора,

пользовавшегося в Петербурге общим уважением. Такие подвиги не забываются, – думал Бергер, – они выходят из ряда обыкновенных. Я предупреждаю государыню о зловредных для нее замыслах, указываю ей на то, чего она не узнает от русских, открываю ей новую измену. Притом, – рассуждал Бергер, чувствовавший, несмотря на все нравственное свое падение, потребность в каком-нибудь, хотя бы самом слабом, оправдании, – я в сущности ничего не выдумываю, так как Грофт действительно был бы рад возвращению в Петербург своих могущественных покровителей Миниха и Остермана, хотя бы это не обошлось без низвержения с престола нынешней государыни. Помню я, что майор Шнопкопф, которого все считали честным человеком, не находил возможным изменить только знамени, а я, как лифляндец, присягал не только русскому знамени, но еще и на верноподданство нынешней императрице. Следовательно, если я укажу на угрожающую ей опасность, то я только выполню мой долг».

Так желал оправдать себя Бергер, упуская из виду, что он прибавлял к действительно-

сти много такого, что ее искажало и придавало чрезвычайную политическую важность проповеди Грофта. Бергер не хотел принять во внимание и то еще обстоятельство, что если бы его не мучило желание так или иначе выйти в люди, то он не придумывал бы тех непозволительных способов, к которым он прибегал теперь, и оставил бы пастора в покое.

Рассуждая сам с собою, Бергер с Луговой улицы, на которой он жил, вышел на Невскую першпективу. Эта улица – нынешний Невский проспект – не имела тогда ни малейшего сходства с тем, что она представляет в настоящее время. В начале ее стояло Адмиралтейство, на том же месте, где оно стоит ныне. Это было крайне неуклюжее здание, представляющее укрепление, окруженное валами и рвами; перед ним расстилался луг, служивший городским выгоном, на котором пасся скот. По обеим сторонам улицы, по направлению к Зеленому мосту, стояли небольшие каменные и деревянные дома вперемежку с садами, огородами, пустырями и пустопорожними местами, то открытыми, то загоро-

женными дощатыми заборами. На месте нынешнего Казанского собора стоял прежний Казанский собор, представлявший большую деревянную постройку – образец строительного безобразия. В этом соборе отправлялось богослужение в торжественные дни. Далее тянулись также дома и заборы до Аничкина моста; здесь по левому берегу Фонтанки строились, уходя все далее к взморью, загородные дома или усадьбы петербургских вельмож. На Невской першпективе, до Литейной улицы, которая вела к артиллерийским казармам, или светлицам, рос сосновый лес. В нем, как бы в виде продолжения «першпективы», была сделана просека, тянувшаяся вплоть до Невского монастыря, около которого вдоль левого берега Невы стали селиться оптовые хлебные торговцы, предки современных калашниковцев. На протяжении Невской першпективы до Знаменской церкви во многих местах были топи, сверх которых была настлана бревенчатая мостовая, а далее начинались «пески», шедшие до самого монастыря. Тротуаров около домов не было, и пешеходы пробирались или по тропинкам, проложен-

ным около домов, или около заборов, или шли посреди улицы.

Движение по Невской першпективе было очень незначительно, гораздо менее, нежели на Васильевском острове и даже Петербургской стороне. Редко проезжали по першпективе громадные тяжелые кареты, запряженные шестеркой лошадей цугом, и такая упряжь показывала, что экипажи эти принадлежат «знатным персонам». Проезжали здесь также коляски и колымаги, запряженные четверней, принадлежавшие лицам штаб-офицерского ранга. Чаще же всего показывались на першпективе парные и одноконные брички и тележки, в которых разъезжали лица обер-офицерского звания, купечество и духовные лица. По временам проезжали здесь и беговые дрожки, и существующие до сих пор двухколесные чухонские таратайки. Вообще тогдашний Петербург по постройкам был не красивее и по движению менее оживлен, чем нынешние наши уездные города. Освещение города было самое жалкое, только кое-где были поставлены на столбах да повешены на веревках, протянутых поперек улиц, тускло и

недолго горевшие фонари. Ворота в домах русских, по перешедшему из Москвы обычаю, были на запоре и днем и ночью, и вдобавок к такой предосторожности, когда начинало смеркаться, на цепи спускали около домов дворовых собак. Рано ложившийся спать город всю ночь до самого рассвета оглашался их вытьем и лаем, протяжными окликами часовых, грохотом трещоток и битьем в чугунные плиты или деревянные доски.

Невский монастырь вовсе не был тогда такою представительною обителью, какою является теперь. В то время он только что стал обстраиваться. Известный в свое время петербургский архитектор граф Растрелли начал по повелению императрицы возводить нынешний монастырский Троицкий собор с прилегающими к нему полукруглыми галереями, а также и митрополичьи палаты по образцу итальянских палаццо. Весь монастырский двор был загромождён камнями, кирпичами, бревнами и досками, и Бергер с трудом пробирался между грудами этих строительных материалов, отыскивая келью Варсонофия. Был послеобеденный час, и на дворе ни-

кого не было видно, так как вся братия после трапезы разошлась по кельям на отдых. Долго ходил по двору кирасир, пока встретил какого-то послушника, у которого он и спросил, как пройти к Варсонофию.

По узкой и крутой лестнице взобрался Бергер к той двери, на которую указал ему тотчас же скрывшийся послушник. Кирасир слегка постучал в эту дверь, но она не отворялась, и на этот стук внутри кельи не было никакого отзыва. Он стукнул в другой раз посильнее, но также напрасно. Раздосадованный кирасир принялся стучать в дверь кулаком и греметь по полу палашом.

– Что ты, дьявол, в дверь так ломишься? Нешто не знаешь, как к монахам в келью просятся? – отозвался за дверью грубый голос; но, услышав в сенях звяканье палаша и шпор, Варсонофий, вставший с постели, поспешил приотворить дверь.

– Я пришел к вам, господин Варсонофьев… – проговорил смутившийся от такой невежливой встречи поручик.

– Какой я господин Варсонофьев! И назвать-то меня не умеешь как следует. Я про-

сто или отец Варсонофий, или, иначе, преподобный отче. Да что тебе, брат, от меня надо?

– Позвольте войти к вам, госпо… отец Варсонофий, – проговорил не оправившийся еще от смущения Бергер, – и я вам расскажу, в чем дело.

– Нагрешил, верно, а теперь ко мне за разрешением от грехов притащился? Да ты кто такой будешь? – придерживая Бергера на пороге, спросил Варсонофий.

– Поручик кирасирского полка.

– Значит, из тех, что на конях в железе ездят?

– Так точно.

– Ну, лезь, – проговорил монах, толкнув вперед рукою дверь, жалобно заскрипевшую на ржавых петлях.

Едва ли можно представить себе что-нибудь хуже того помещения, в котором обитал Варсонофий. Хотя архимандрит и предлагал ему в монастыре очень приличное помещение, но Варсонофий, желая явить в этом случае смирение, отказался от всякого удобства и выбрал для себя самую скромную келью. Воздух в небольшой комнате или просто ка-

морке, занятой Варсонофием, был удушлив. На стеклах запертого теперь, да и вообще никогда не отворявшегося окна, покрытых грязью и пылью, жужжало и пищало множество мух. У стены на простых из белого дерева подмостках лежали какие-то грязные лохмотья, служившие одром отшельнику. Подле этого ложа стоял деревянный запачканный стол, а на нем находился почерневший железный ковшик с квасом.

– Эка тварь проклятая! – проговорил с досадой Варсонофий, подбрасывая вверх своими запущенными в ковш грязными пальцами плававшую там муху. – Все время ко мне, окаянная, приставала, лезла то в нос, то в рот, а потом ты ко мне ломиться стал. Совсем заснуть не дали, а я-то на службе Божией с самого раннего утра порядком намаялся, отдохнуть надо было на вечерние радения... Так что ж тебе от меня надо? – спросил Варсонофий, обращаясь к Бергеру и садясь на постель. Он закрыл лицо ладонями и зевнул несколько раз. – Да садись же и ты вот сюда, – сказал он поручику, указывая ему глазами на стоявший подле постели чурбан.

Бергер присел на чурбан.

– Так, значит, выходит, чего ж ты от меня хочешь? – спросил опять Варсонофий, сопровождая свой вопрос несколькими зевками во весь рот, который он принялся теперь осенять мелкими крестами.

– Правда ли, что вы, отец Варсонофий, бываете у государыни императрицы?

– А тебе к чему это знать? Коли бываю – значит, того достоин, недаром же царица меня так жалует; значит, выходит, что я того достоин.

– Вот потому-то я и пришел к вам. Хочу вас просить, чтобы вы доставили мне возможность лично поговорить с ее величеством.

– Эк куда хватил! Да знаешь ли ты, олух царя небесного, что не все-то и енералы к ней являться могут? Вишь чего захотел!

Бергер смешался.

– Да ты веры-то какой, скажи ты мне наперед?

– Я лютеранин.

– То-то я смотрю, с чего ты ко мне и под благословение не подходишь, как следует православному.

– Извините меня, отец Варсонофий, я не сделал этого потому, что у нас нет такого обыкновения, – смиренно проговорил Бергер.

– Знаю, что вы, люторы, – нечестивцы. Вы, чай, и своих архиереев ни в грош не ставите, а нас небось совращать хотите. Да недолго вам у нас тешиться; после того, как вашим милостивцам Миниху да Стерманову хорошо по загривкам дали, всем вам присмиреть пришлось. Или думаете, что эти злодеи снова вернутся, так на вашей улице праздник будет?

– Не хочу я этого, а хочу служить верой и правдой нынешней государыне, и пришел-то я к вам, чтобы через вас предупредить ее о той опасности, которая грозит ей...

Варсонофий встрепенулся от удовольствия и стал поглаживать свою всклокоченную, с сильной проседью бороду, уставив свои лукавые глаза на немца. Он очень обрадовался, что помимо Дубянского и всяких других знатных персон он может явиться к государыне с таким важным известием.

– Да кто же посмел злоумышлять на матушку-царицу? – строго спросил Варсонофий.

– Пастор Грофт.

– Это тот, что на Невской першпективе в вашей божнице обедницы служит? Слыхал я о нем, что он хочет быть у вас патриархом санкт-петербургским и всенемецким, а потом и до нашей православной церкви добраться и сделаться как бы папою римским, церкву нашу православную себе подчинить. Да его, окаянного, за это в три дуги согнуть надо. Что ж он злоумышляет?

– Желает он возвращения Миниха и Остермана.

– Постой, брат, да ведь ты сам из немцев. Как же ты предательствуешь своих-то? Ведь ты на Иуду-христопродавца смахиваешь.

Бергер до сих пор терпеливо переносил грубости монаха, но теперь он уже не выдержал, вскочил с чурбана и застучал палашом по полу.

– Как смеешь ты мне это говорить? Я хочу верно служить государыне, а ты называешь меня Иудой, сбиваешь меня с пути. Да знаешь ли, что я сейчас же отсюда в Тайную канцелярию и объявлю там против тебя «слово и дело». Там тебе все кости переломают, старая собака!

Не ожидая такой грозной острастки, Варсонофий струхнул порядком, но не хотел показать своего испуга.

– Ты сам сущий пес! С чего так на меня разлаялся? Я обмолвился, а он принялся на меня орать! Сам я без тебя знаю, что ты не Иуда; ведь ты не Христа предаешь, а только предаешь своего попа-негодника, да и предаешь ты не за сребреники. Так возьми же в толк, какой ты Иуда.

– То-то, смотри у меня! – сказал Бергер, садясь опять на чурбан и еще раз в угрозу старику постучав палашом об пол.

– Да ты из каких будешь? – спросил Варсонофий, желая переменить разговор.

– Сказано ведь тебе, что я лютеранин и немец.

– Не о том я спрашиваю, я хочу спросить, кто твой отец будет, чем занимается?

В других случаях Бергеру неприятно было, когда заходила речь о его скромном происхождении от какого-то митавского бюргера, переселившегося в Лифляндию, но теперь ему стесняться было не перед кем: кто бы он по происхождению ни был, во всяком случае,

он мог считать себя по своей породе выше какого-нибудь вологодского мужика.

– Отец мой в Лифляндии держал в аренде мызу, – сказал Бергер.

– Не разберу я ничего из твоих слов. Говори толково: чем же, значит, он занимался?

– У него было свое хозяйство, свои поля, свой скот…

– И крестьяне крепостные были?

– Нет, крестьян таких не было.

– Кто же у него в поле-то работал?

– Наемные работники.

– Ну, это другое дело, а я-то думал, что ты по отцу будешь из господ. Уж больно обидчив. Смотрю я да и дивлюсь: из-за чего так малый заартачился? Эка диковина, что старик лишнее, пожалуй, и неосторожное слово проронил. Ну, хорошо, скажу я царице о злодейском против нее замысле, а ты мне передай, что ей к сообщению следует.

– Ну, нет, этого-то уж не будет, а ты только доведи меня до нее.

– Да как твое прозвание будет?

– И этого тебе знать не нужно, – решительным голосом возразил Бергер. – Разве мало с

тебя будет, что ты, помимо всяких знатных персон, первый предупредишь государыню о той опасности, которая ей угрожает? Она тебе во всю жизнь признательна за это будет, а когда мы с тобой к ней пойдем, то все там ей расскажем. Если бы я тебе не хотел добра, так разве не мог бы я пойти прямо к графу Лестоку, или к Андрею Ивановичу Ушакову, или к кабинет-министру Бестужеву? Через них мне дорога была бы и прямее и скорее, а я их хочу обойти и без них прямо обо всем самой государыне рассказать. Да ты, верно, ничего сделать не можешь, так я от тебя к Дубянскому пройду.

– Как же не могу! – обидчиво вскричал Варсонофий. – Да то ли я ей еще говорил! А теперь скажу: так-то и так-то, матушка наша, благочестивейшая царица, приходил намедни ко мне офицер из немцев и говорил, что они, нечестивцы, хотят паки в управление и Миниха и Стерманова поставить, да и сокрушенную тобою злодейку правительницу с некрещеным ее сыном на царство восстановить. Офицер-то этот своего прозвания не сказал, а хочет тебе открыть многое, что на твою,

благочестивейшая самодержица, погибель готовится. Повели же ему через меня, недостойного, к тебе явиться, и он всех твоих недругов из окаянных немцев тебе по пальцам перечтет. Видно, они страшное дело затевают, коли их же брат, немец, на чистую воду вывести хочет. Никому этого дела не поручай, все тебя, матушка, твое царское величество, обманут, а разбери его сама. Офицер-то тебе все как на духу откроет. Складно так будет?

– Больше ничего мне и не нужно. Пусть только государыня позовет меня к себе, а уж говорить с нею я сумею, – самоуверенно сказал Бергер. – И тогда тебя, старика, не забуду, – покровительственно добавил он.

– Ну, брат, бабушка-то еще надвое сказала, кому кого забывать не придется, – возразил монах, – я-то уж в великой чести у царицы, а ты куда какая еще неважная птица! Зайди ко мне послезавтра, так я тебе дам ответ.

– Хорошо, буду я у тебя об эту пору. Да только поскорей дело делай, – сказал Бергер, уходя от Варсонофия не совсем довольный первым с ним свиданием.

XII

Спустя несколько времени после свидания Бергера с Варсонофием, Варсонофий, одетый в истертую и порыжевшую от времени рясу, с белой палкой в руках подходил к очень скромному деревянному дому, судя по приземистости и невзрачности которого никак нельзя было предположить, что владелец этого жилища, которое он сам называл «конурами», был одним из могущественных людей в тогдашней России. Незатейливое, с деревянным навесом на тоненьких столбиках крыльцо с покосившимися и подгнившими ступенями невысокой наружной лестницы вело со двора в эти «конуры». Надворные деревянные постройки имели обветшалый вид, а просторный, заросший травою двор с сохнувшей среди его березой показывал, что за этим домом не было никакого ухода. Все здесь было запущено: дожди давно смыли наружную окраску охрой, образовав на стенах огромные бурые пятна, ставни свешивались со сломанных петель, и деревянная, проросшая бархатисто-зеленым мохом, а кое-где и травою крыша и

осыпавшиеся над нею дымовые трубы наглядно обнаруживали весь неуход за обиталищем столь «знатной персоны», какою сделался при императрице Елизавете и еще более прославившийся впоследствии ее кабинет-министр граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.

Взойдя на крыльцо этого дома, Варсонофий не видел надобности постучать привешенным у входной двери молотком, так как двери прихожей были растворены настежь. В доме министра, против существовавшего тогда у знатных бар обычая, не толпилась многочисленная челядь, и доступ в его покои был открыт каждому. Стены и потолок первой небольшой комнаты были выбелены известью, а на небольших окнах висели простые ситцевые занавески. Вдоль стен стояла самая простая деревянная мебель. В комнате этой, которая должна была служить приемной, не было ни секретарей, ни докладчиков, ни сторожей, ни вестовых, ни ординарцев, которых в прежнюю пору по расписанной очереди посылали от полков и разных команд на дежурство к высшим сановникам, хотя бы они и со-

стояли в гражданских чинах. Только на дворе под березой, около привязанной лошади, можно было заметить растянувшегося на траве полицейского драгуна, назначенного, как это делалось каждый день, от полиции к министру для спешных посылок и для развоза бумаг по городу.

Жил Алексей Петрович так скромно, а относительно своего высокого положения даже так бедно, можно сказать, так по-нищенски, не по наклонности к простоте, но по очень тонким соображениям. Он не имел своих собственных доходов, и такой образ жизни давал ему право ссылаться на ту крайнюю нужду, какую он должен был испытывать, не владея значительным имением, а между тем обязанный по своему высокому служебному положению иметь блестящую обстановку. Убогий домашний быт Бестужева давал ему основательный повод сетовать перед Анной Ивановной, а потом в особенности перед Елизаветой на то, что он живет «в конурах» и не имеет возможности обзавестись той обстановкой, которая соответствовала бы званию министра. Такие сетования не оставались бесплод-

ными. Обе государыни надбавляли ему жалованье, приказывали производить значительные денежные выдачи и жаловали деревни. Ограниченные действительно в прежнее время денежные средства Бестужева возрастали постепенно и в особенности усилились в то время, когда он, сделавшись канцлером, начал получать от иностранных дворов подарки и пенсии. Тогда Бестужев развернулся на широкую ногу и на пожалованном ему под Петербургом, на Неве, Каменном острове выстроил великолепный каменный дом, обзавелся большим количеством серебряной посуды и для приема гостей у себя на даче устроил большую шелковую палатку, о которой говорили в Петербурге как о чуде, стоившем много денег. Вдобавок к этому он устроил обширный погреб, наполненный такими превосходными иностранными винами, каких ни за какие деньги нельзя было достать в Петербурге и о пересылке которых заботились русские, находившиеся в иностранных землях, дипломатические агенты, желая угодить своему начальнику.

Все это появилось у Алексея Петровича

только впоследствии как необходимость, по словам его, показать приезжавшим в Петербург иностранцам, что великий канцлер такой богатой и могущественной державы, как Россия, может, благодаря неизмеримым щедротам всемилостивейшей государыни, жить так же пышно, как живут владетельные князья в Западной Европе. Императрица Елизавета, сама любившая пышность, была довольна тою роскошью, какою обставил себя ее канцлер, живший прежде, когда этого от него так настоятельно не требовалось, не только скромно, но даже убого.

Варсонофий посетил Алексея Петровича в прежнем его жилище и очень удивился, что Бестужев, о котором он так много наслышался, живет не в палатах, уподобляющихся царским, а в таком доме, который, пожалуй, был не под стать и зажиточному заурядному человеку.

«Лицемер, должно быть, – подумал невольно Варсонофий, судя по себе, – ведь наверно у него есть на что жить иначе, а, должно быть, притворствует, чтобы убеждать всех в своем смирении и бескорыстии».

Войдя в приемную и став лицом к красному углу, Варсонофий занес ко лбу правую руку, чтобы перекреститься по привычке, но опустил ее, не видя перед собою иконы. Он осмотрелся по всем углам и, не найдя нигде образа, удивился, зная, что он пришел не к какому-нибудь иноверцу, а к православному, русскому боярину.

Через растворенные двери приемной и других следовавших за нею подряд комнат Варсонофий увидел в этих комнатах расставленные на простых белых столах склянки, банки, пузырьки и разные снаряды, об употреблении и применении которых он никак не мог догадаться, и это было очень естественно: они требовались Бестужеву для производства разных опытов по химии, о которой невежественный монах не имел никакого понятия.

Желая подать о себе весть, Варсонофий принялся ходить по комнате, возя по полу ноги в своих огромных сапожищах и по временам постукивая слегка палкой, припоминая палаш Бергера. Потом он стал откашливаться все громче и громче. Наконец он услышал

приближающиеся из соседней комнаты чьи-то легкие шаги, и вслед за тем вошел высокий, представительный, средних лет мужчина. Он отличался горделивой осанкой и умным, а также и приветливым выражением лица.

Варсонофий и Бестужев не знали друг друга в лицо, хотя министр и слышал многое о разных выходках монаха; но так как эти выходки были направлены под влиянием Дубянского и Разумовского против Лестока, то Алексей Петрович относился к Варсонофию не только без неприязни, но даже готов был ласково его встретить.

– Я старец Федоровско-Рождественна монастыря Варсонофий, – представился монах.

Так как вежливость в обращении с каждым и в ту уже пору считалась необходимым качеством людей благовоспитанных, к числу которых принадлежал и Бестужев-Рюмин, то он пригласил Варсонофия, как духовное лицо, сесть на канапе, а сам сел возле.

– Что вам от меня угодно? – спросил министр голосом, располагающим к доверию.

– Слыхал я, что тебе благочестивейшая са-

модержица наша передала мой извет на немецкого распопа, что неверию в своей молельне народ поучает и козни зловредные против царицы строит.

– Верно хочешь, преподобный отче, спросить о деле господина пастора Грофта? – мягко заметил Бестужев, заменив обращение на «вы» обращением на «ты», так как он увидел бесполезность такого приема, только что начавшего входить в употребление у русских в подражание Западной Европе.

– С чего же она тебе это дело предложила? Кажись, прежде такими делами Лешток занимался, – пытливо спросил Варсонофий, желая узнать об этом любимце императрицы что-нибудь новое от такого сведущего в придворной части человека, каким должен быть Бестужев. – Али Лешток в немилость пришел?

– Не потому, – отвечал осторожный министр, – а мудрая государыня изволила принять во внимание, что его сиятельство граф Лесток не нашего закона, что беспристрастно может рассмотреть это дело только русский человек, а потому и соизволила мне приказать заняться переданным ее величеству от

тебя изветом.

– Уж ты, батюшка, высокографское сиятельство, спуску этому распопу да и всей его богопротивной пастве не давай, а нажми их хорошенько. На что похоже, что в православном царстве «люторы» в таком же почете, как и мы, обретаются? Много они в себя злочестия и гордыни всяческой забрали. Уж покарает Господь царство всероссийское за то, что мы их у себя терпим. Слыхал, может, какие в разных местах чудеса и знамения являются?

– Слыхал, слыхал, отче, – проговорил уступчиво Бестужев, вынимая из кармана золотую табакерку, подаренную ему императрицей Анной Ивановной, – как не слыхать!

– Да вот и я сподобился нынешней ночью особого откровения. Знаешь, как я после моих молитвенных радений опочил, то предо мною предстал святый Николай Чудотворец да, словно как наяву, возглаголал мне: «Рабе Божий Варсонофий, чего ты зеваешь! Люторы нечестивые свою божницу на Невской першпективе построили и себе православную веру покорить хотят, так ты гряди к благочестивой самодержице и поведай ей, чтоб повеле-

ла она эту храмину нечестия с лица земли снести».

Легкая насмешливая улыбка скользнула по губам министра, но значение ее мог уловить только человек более чуткий к впечатлениям и более наблюдательный, нежели Варсонофий, отличавшийся только грубою смекалкой. Бестужев щелкнул по табакерке двумя пальцами, открыл ее крышку, усыпанную бриллиантами, и, взяв между двух пальцев щепотку табака, начал, по тогдашней моде, нюхать с расстановкой.

– Справедливо ты говоришь, преподобный отче, что мы живем во время чудес и знамений. Вот тебе поснился такой сон, который вызывает тебя на благочестивый подвиг; представь же, что и мне нынешнею ночью приснился тоже чудный сон. Наслышавшись много о тебе, я даже хотел повидаться с тобою, чтобы попросить твоего праведного совета, а вот ты сам, хоть ни разу не был у меня, вдруг, точно руководимый какою-то особою силой, пришел ко мне. Неверующие скажут, пожалуй, что это не чудо, а я так думаю совсем иначе.

– Конечно, чудо! – подхватил Варсонофий, обрадованный тем льстивым оборотом речи, какой принял Бестужев. – Чудо, чудо! – повторил он, покачивая головою.

– Снилось мне, что ко мне пришли оба верховных апостола Петр и Павел и сказали мне, что некие покушаются разрушить немецкий храм, построенный на Невской першпективе во имя их, и чтобы я воспрепятствовал тому, пошел бы к ее величеству и доложил, что допускать этого не следует. Вот теперь и сам я не знаю, как поступить: ты, преподобный отче, на свой сон ссылаться изволишь, а я не могу пренебречь и моим. Как же тут поступить? Вразуми меня.

Варсонофий сперва не догадался, в чем заключалась суть такого чудного совпадения снов, и только с удивлением продолжал покачивать головою.

– Знаешь что, отец Варсонофий, – сказал Алексей Петрович, дружески ударив по плечу монаха, – выходит тут какое-то недомыслие. Смотри, чтоб кому-нибудь из нас не попасть впросак. Подождем-ка лучше, авось и мне и тебе привидится одинаковый сон, и тогда мы

узнаем, что нам следует сделать.

Варсонофий в глубоком раздумье как бы нехотя кивнул в ответ утвердительно головою.

– А что касается господина пастора Грофта, то на это последовало уже высочайшее повеление, которое мною в точности исполнено будет, а тебя надлежит поблагодарить за твое усердие.

Сказав это, Бестужев встал с места; то же сделал и Варсонофий. Он стоял теперь, переминаясь с ноги на ногу в ожидании, что министр сообщит ему еще что-нибудь.

– Затем прощай, преподобный отче, не забывай меня в твоих молитвах.

Проговорив это, Бестужев слегка поклонился монаху и направился в ту комнату, из которой он к нему вышел.

По его уходе стоявший в раздумье Варсонофий сообразил, что министр точно так же выдумал свой предостерегательный сон, как выдумал свой сон сам Варсонофий, и что Бестужев ловко поддел его.

– Эка нечисть! – ворчал про себя монах. – Вот сейчас я и поверю, что ему станут являть-

ся во сне первоапостолы. Вон у него ни иконы нет, ни ко мне под благословение не подошел.

В назначенный день Бергер явился к Варсонофию.

– Говорил я о тебе царице, говорил. Будь готов, не сегодня, так завтра потребует она тебя к себе. Не робей только при ней. Вот я – так с ней разговариваю, словно как с тобой.

Еще раза два-три кирасир побывал у Варсонофия, который начал смущаться при его посещениях и заговаривать притчами – притчами, туманными даже и для русских и совершенно непонятными для Бергера, который, пробыв довольно долго в Петербурге, хотя и порядочно выучился по-русски, но все же не настолько, чтобы быть в состоянии разуметь темное простонародное пустословие вологжанина.

Кирасир сердился все более и более на проволочки со стороны Варсонофия, и когда однажды Бергер отправился к нему, чтобы расправиться по-военному, то не достучался в его двери ни кулаками, ни ногами, ни пала-

шом. Прибежавшие на этот страшный стук монахи и послушники рассказали Бергеру, что, как оказалось, Варсонофий вовсе не был человеком «ангельского чина», что за ним водились разные худые дела и что, проведав, что до него стали добираться и ему грозит беда, он неизвестно куда скрылся, о чем архимандрит и сделал сегодня утром надлежащую явку и духовному начальству и в полицию.

XIII

Не удовлетворенный Бестужевым, Варсонофий попытался толкнуться к отцу Дубянскому. Духовник принял его уже не так предупредительно и ласково, как принимал прежде. Отец Федор не только не угостил его икрой, семгой, наливками, настойками и вареньями, как это всегда водилось, но даже не пригласил его сесть, а, проговорив с ним стоя, сказал, что теперь ему некогда, так как он должен идти к ее величеству сейчас же по очень спешному делу.

Назойливый Варсонофий отважился было пробраться по-прежнему к самой государыне, но когда он задним ходом пришел к ее апар-

таментам, то заметил, что ни прислуга, ни приживалки не только не обращают на него никакого внимания, но даже не хотят и разговаривать с ним. Чуть он кого спросит – тот или та, не отвечая ничего, отворачиваются от него.

Объяснялось это тем, что Дубянский, раздраженный нахальством Варсонофия, устроил так, что государыня потеряла к Варсонофию всякое доверие. Отец Федор сумел убедить ее, что Варсонофий дерзал ее обманывать, рассказывая ей нелепости и небылицы, и что он не только не имеет никакого понятия об истинных догматах православия, но даже не знает как следует богослужебных обрядов. Духовник говорил, что нужно произвести о Варсонофии строгое дознание и что тогда наверное окажется, что он не кто иной, как бродяга.

Между тем Бестужев тотчас после ухода от него Варсонофия потребовал своего секретаря, который и написал к Грофту повестку, чтобы он, Грофт, немедленно прибыл к министру для необходимых объяснений, а спавший на траве под березой полицейский дра-

гун поскакал с этой бумагой на Невскую першпективу.

С партией Миниха у Алексея Петровича были свои личные счеты. Нельзя сказать, чтобы он при Анне Ивановне вел себя достойно человека. Угодливостью Бирону и заискиванием у него Бестужев, как бы забытый в Копенгагене на скромном посту резидента, обратил на себя внимание могущественного временщика и был выведен им в люди. При содействии герцога или, вернее сказать, по его воле Бестужев был произведен в тайные советники и получил александровскую ленту. Затем он был вызван в Петербург и назначен кабинет-министром на место Волынского. Когда же Бирон был низвергнут, то Бестужев, как близкий ему человек, был арестован и ему предстояла вместе с его патроном поездка в отдаленнейшие места Сибири. Он обвинялся в том, что первый предложил в регенты герцога Курляндского и для достижения этого при составлении акта о регентстве употреблял обманные способы. Обвиняли его в сочинении «позитивной декларации и листа, якобы вся нация бывшего герцога регентом

иметь желают». Далее в обвинении говорилось, что он «неслыханным образом нацию к подписанию сего листа принудил, призывая всех и приневоливая подписывать, впуская в министерскую только человека по два, по три». При допросе Бестужеву прямо говорили: «Известно, что ты бывшего регента весьма откровенным шпионом был». Как человек хитрый и бездушный, Алексей Петрович выпутался, однако, из беды. Вместо того, чтобы, в благодарность Бирону за его покровительство, защитить его, он явился одним из главных его обвинителей; но укоры Бирона пробудили в нем совесть, он упал на колена перед бывшим регентом и просил у него прощения в том, что своими показаниями отягчил его участь.

Так как Бестужев был сторонником Бирона, против которого Елизавета не имела ничего, и явился как бы страдальцем при правительнице, против которой действовала цесаревна, то невзгода, постигшая Алексея Петровича, обратилась – как это часто бывает в жизни человека – в его пользу. Императрица смотрела на него как на недруга власти Бра-

уншвейгской фамилии, а Лесток, с своей стороны, счел нелишним оказать свое покровительство Бестужеву, как очень умному и способному, а следовательно, и пригодному человеку. Стечение всех этих обстоятельств выдвинуло тотчас же по вступлении на престол Елизаветы Бестужева на видное место, и впоследствии он стал распоряжаться всеми делами.

Как человек тонкий, Алексей Петрович отложил в сторону всякие личные раздражения по вопросу о Грофте как представителе партии Миниха и решил поступить с пастором великодушно.

В сильном смущении предстал Грофт перед министром, который принял его с холодною вежливостью.

– Мне пришлось, – сказал ему по-немецки Бестужев, – пригласить вас к себе по делу очень неприятному как для вас, так равно и для меня, так как я должен вам, несмотря на ваше почтенное звание, сделать строгое замечание, а вы – выслушать его и принять его к руководству.

– Ваше сиятельство... – поторопился заме-

тить Грофт.

– Потрудитесь прежде выслушать меня, а потом я выслушаю вас. Есть у вас «концепт» [14] той проповеди, которую вы произнесли в прошлое воскресенье? Если вы мне можете доставить его сейчас же, то он послужит самым лучшим средством для вашего оправдания.

– К сожалению, господин граф, я не могу этого сделать, так как я всегда говорю мои проповеди устно, а не по тетради.

– Этот способ проповедничества указывает на ваше ораторское дарование и вместе с тем служит причиною ваших увлечений. Вы позволили себе отзываться с неуместным сочувствием к бывшему фельдмаршалу Миниху, зная очень хорошо, что он объявлен государственным преступником и что имя его должно быть в полном забвении.

– Но я говорил о графе Минихе, не упоминая даже его имени, только как о бывшем нашем первенствовавшем прихожанине.

– Положим, что и так, но все же очень жаль, что у такого почтенного человека недостало на этот раз необходимой в подобных

случаях сообразительности и что вы вашей неосмотрительностью дали повод к толкам, которые могут сильно повредить вам и вашей пастве.

– Мы, ваше сиятельство, и так поставлены теперь в крайне опасное положение. Городские слухи настойчиво утверждают, что храм наш хотят упразднить и вообще стеснить предоставленную нам в России свободу вероисповедания.

– Это возможно, – сурово и твердо начал министр, – если ваши проповедники и ваши прихожане станут вмешиваться в политические дела. Россия должна быть Россией, а не местом сборища иностранных политических партий, которые обыкновенно крайне ошибочно смотрят и на нашу государственность, и на наш народ. Впрочем, я должен сообщить вам, что в настоящее время ее императорское величество не думает прибегать ни к каким угнетательным мерам, и насчет этого я уполномочиваю вас успокоить вашу паству, разумеется, только не с проповеднической кафедры, а в частных разговорах. Затем вы можете считать дело ваше конченным, так как я

вполне уверен, что в будущем мне не придется иметь с вами такого неприятного свидания, каким было настоящее.

Сказав это, Бестужев слегка поклонился пастору, показав тем, что аудиенция кончена.

Не получая никакого не только приглашения, но даже и ответа на свой донос и узнав об исчезновении Варсонофия, Бергер убедился, что он попусту возился с пройдохой, что дело его не выгорело и что пастор Грофт был не такой личностью, чтобы донос на него мог, несмотря на всю обстановку доноса, выдвинуть доносчика вперед. Сообразив все это, Бергер стал измышлять новые средства для своего возвышения, утешая себя мыслью, что если где-нибудь встретит Варсонофия, то вздует его палашом без всякого милосердия.

«Правду говорил мне Лопухин, – думал Бергер, – что если уж ловить птицу, так ловить важную, и если уж падать, так падать с хорошего коня. Нужно будет последовать его, в этом случае разумному, совету».

XIV

В числе фамилий, выдвинувшихся вперед в области государственной деятельности после Петра Великого, была фамилия Бестужевых. Людьми «новыми» в полном значении этого слова их нельзя было назвать, так как родословие их восходило до начала XV века, когда некий англичанин Бестюр выехал из Англии в Москву, а переделанное на русский лад его родовое прозвище обратилось в Бестужева. Бестужевы не только не были в числе людей, ознаменовавших себя какими-либо доблестями или подвигами, но даже не достигали значительных служебных степеней. Из них не было ни бояр, ни окольничих, ни даже стольников. Они служили в войсках, занимая скромные должности, порой их отправляли гонцами к султану или к хану крымскому – и только, и за эти не слишком видные службы жаловали их соответствующими поместьями. Одному из Бестужевых, Петру Михайловичу, и его ближайшим сродникам, в отличие от прочих их однородцев, Петр I дозволил личное прозвание одного из их ближайших пред-

ков – «Рюмин» обратить в фамильное имя, и таким образом явились Бестужевы-Рюмины.

Первый из Бестужевых-Рюминых, Петр Михайлович, человек довольно способный и преимущественно хитрый, был известен Петру, и когда тот выдал племянницу свою Анну Ивановну за Вильгельма, герцога Курляндского, то для наблюдения в Курляндии за интересами России послал в Митаву Петра Бестужева в качестве русского резидента. Бестужев оправдал ожидания государя, так как он зорко следил за всем, что там происходило, держал себя перед тамошним дворянством с достоинством, а вместе с тем стал пользоваться среди него и личным влиянием. Сверх того он приобрел еще и дружественное расположение герцогини, с которой, однако, ему было немало хлопот, так как она постоянно билась из-за денег, ибо доходы, получаемые ею со вдовьих имений, находившихся в Курляндии, поступали очень туго, а доходы с ее вотчин в России взимались неисправно и с большими задержками. Разумеется, что такое печальное состояние финансов герцогини отзывалось весьма прискорбно и на кармане ее

гофмаршала, так как герцогиня не только не была в состоянии оказывать ему свои щедроты, но ему постоянно приходилось ждать уплаты даже следовавшего ему жалованья. Еще тяжелее для него было списываться с Петербургом насчет получения денег, объясняя при этом те стеснительные обстоятельства по денежной части, в которых находилась его августейшая повелительница, так что он в Петербурге оказывался не блестящим царедворцем, а каким-то надоедливым попрошайкою у всех, кто так или иначе мог помочь герцогине в получении ее рублевиков, талеров и ефимков.

У Петра Михайловича было два сына: Михайло и Алексей. Из них Алексей Петрович известен в истории как знаменитый государственный человек. Что же касается старшего его брата Михаила, то он в юности был «вояжером», то есть разъезжал по всем городам Европы, осматривая древности, замечательные здания, коллекции различных достопримечательностей, живописные виды, картинные галереи и посещая разные зрелища и увеселения. Потом он попал в число дворян

русского посольства, снаряженного в Данию, которая тогда имела для нас весьма важное политическое значение. Был он после того дворянином русского посольства в Константинополе при Шафирове и приехал от него с депешами на Прут в ту роковую пору, когда царь на берегах этой реки был окружен татарами и турками. Вскоре после того он был определен «в Курляндию при родителе для вспомоществования ему в немецком языке». Так как, вероятно, сам родитель поучился достаточно этому языку, то вспомоществовавшее ему чадо было назначено камер-юнкером при кронпринцессе – так называли тогда на немецкий лад супругу царевича Алексея Петровича. Он оставался при кронпринцессе в этом самом звании до ее кончины и с известием об этом событии был отправлен в Вену, а оттуда попал на свадьбу в Данциг, где Петр обвенчал свою племянницу Екатерину Ивановну с герцогом Мекленбургским. Из Данцига Бестужев был отправлен президентом в Англию, а оттуда Петр перевел его в Швецию «министром без характера», то есть приказал отправлять обязанности министра при ино-

странном дворе, а министерского звания официально ему не предоставил. Дал ему Петр хороший по тогдашнему времени «трактамент», или жалованье, а именно три тысячи «рублев», но так как Петр попусту денег тратить не любил, то за значительный трактамент взвалил на Бестужева нелегкую работу. Он поручил ему стараться: во-первых, о признании за русскими государями нового императорского титула, а во-вторых – о признании за покровительствуемым со стороны Петра герцогом Голштинским титула королевского высочества и, наконец, что было особенно важно, – о заключении оборонительного и наступательного союза между Россией и Швецией, которые еще так недавно вели между собою долголетнюю и ожесточенную войну. Бестужеву удалось исполнить все это, и тогда император дал ему «характер» посланника, сделав действительным статским советником и камергером. Не оставил он его и денежною дачею, так как вместо прежних трех тысяч трактамента ему стали отпускать по пяти. Екатерина I отправила его своим послом в Варшаву, а Анна Ивановна – в Берлин, потом

в Швецию, где он осилил французскую партию, враждебную России, за что получил чин тайного советника и повышение трактамента до десяти тысяч рублей. Вскоре к этому ему прибавили еще четыре тысячи, сделали действительным тайным советником, возложили на него александровскую ленту и отправили сперва в Гамбург, а потом в Англию, откуда и вызвала его императрица Елизавета, назначив его обер-гофмаршалом своего двора, – и, разумеется, человек этот, присмотревшийся при разных европейских дворах ко всевозможным придворным церемониальным и торжественным порядкам и обрядностям, был как нельзя более на своем месте.

Так как Михайла Бестужев был пятью годами старше своего брата и выдвигался гораздо заметнее, чем Алексей, засидевшийся в Копенгагене на месте резидента, то и полагали, что старший руководит младшим. Но это мнение было ошибочным. Алексей сам по себе был не только не промах, но во многих случаях даже гораздо хитрее, проворнее и изворотливее своего старшего брата. Вся семья Бестужевых-Рюминых, получившая в 1742 году

от Елизаветы графское достоинство, старалась господствовать при дворе, и в этом случае не отставала от братьев и сестра их Аграфена Петровна, бывшая замужем за князем Никитою Федоровичем Волконским. Она при Екатерине I неутомимо вела интриги, направленные против князя Меншикова, и добивалась должности гофмейстерины при великой княжне Наталье Алексеевне, рассчитывая через эту умную девушку властвовать над братом Натальи, императором Петром II, но надежды ее не сбылись.

В свою очередь, братья ее были готовы на все, чтобы выйти вперед. Хотя Бестужевы были люди европейски просвещенные, но из честолюбивых целей они примкнули к партии царевича Алексея, надеясь, что он рано или поздно будет царствовать и что тогда не забудет их своими милостями. Они заискивали и расположение Венского двора, понимая, что близкая родственная связь римско-немецкого императора по жене его с женою царевича Алексея, а вместе с тем и матерью Петра II – может в свое время очень пригодиться. Алексей же Бестужев для удовлетворения томив-

шего его честолюбия передался на сторону Бирона.

При Елизавете он был в большой силе, но поперек его дороги стоял Лесток, который первоначально содействовал возвышению Бестужева, но потом, к крайнему своему раздражению, увидел, что Бестужев не только не уступает ему, Лестоку, но даже, напротив, желает оттеснить его вовсе от государыни, чтобы исключительно только самому ему сделаться доверенным ее лицом. Разумеется, Лесток не захотел уступить Бестужеву своего значения без боя, и между соперниками завязалась упорная борьба. Бестужев при помощи санкт-петербургского почт-директора барона Аша перехватывал пересылаемые по почте депеши иностранных послов в Петербург и с академиком Таубертом разбирал шифр этих депеш, из которых хитрый министр извлекал все то, что могло служить ему в пользу и быть обращено во вред его противнику, Лестоку.

– Наимудрейший монарх в мире, король прусский Фридрих Второй, – оправдывал себя Бестужев, сознавая всю неприглядность та-

ких поступков, – перехватывает чужие письма и перечитывает их. Отчего же мне не делать этого, если «перлюстрация» дипломатических депеш может служить на пользу моего отечества, а самого меня ограждать от тех козней и происков, которые ведет против меня мой противник тоже нечестным образом.

Немало уже накопилось у Бестужева собранных таким способом сведений, которые он, в виде своих соображений и догадок, ловко передавал императрице, задевая, сколько возможно, Лестока. Бестужев теперь в глазах Елизаветы стал оказываться каким-то вещим мудрецом. Ему по делам внешней политики было заранее известно, на какую сторону будет Лесток склонять императрицу, и, разумеется, предсказывая такие попытки бывшего лейб-медика, он объяснял их его корыстными расчетами и сокрушался, что государыня так легко может быть введена в заблуждение людьми, недостойными ее высочайшего доверия и не желающими истинного блага отечеству.

С своей стороны, и Лесток, пользуясь своею чрезвычайною близостью к императри-

це, – как ее врач, как старый друг и, наконец, как едва ли не самый главный деятель при перевороте в ее пользу, – ежедневно имел случай оговорить Бестужева и никогда не упускал благоприятной минуты, чтобы воспользоваться таким случаем.

Бестужеву приходилось порою очень туго от злобных наветов Лестока, так как он не мог не заметить, что оказываемое ему императрицей доверие начинало вдруг слабеть и колебаться.

– Принужден я, – говорил в таких случаях Бестужев государыне, – терпеть по злобе или по ненависти мерзкие нарекания и разные Богу противные оклеветания: то я закуплен от Австрии, то от Англии, а иногда и от датчан; но враги мои должны признаться, что досель ни в европейских, ни в азиатских делах ничего не упущено. Приплетают меня и в богомерзкую конспирацию, но беру я дерзновение просить, чтоб исследовано было. Приводим и в робость превеликую: неужели все труды от моего чистого сердца и усердия отринуты и ни во что превращены будут?

Такие жалобные речи министра трогали

сердце Елизаветы. Она переменяла то равнодушное, то немилостивое даже обращение свое с Алексеем Петровичем в благосклонное. Он ободрялся и уходил от нее обнадеженный в расположении к себе государыни. Через несколько дней повторялось, однако, то же самое, и мнительный Бестужев никогда не был уверен в прочности своего положения.

– Сегодня милость, а завтра, может быть, гнев ожидает меня. Разумеется, что я никогда не могу быть спокоен. Быть может, завтра же государыня изъявит мне не только неудовольствие, но и опалу. Необходимо прежде всего сжить со света Лестока. Спасибо еще, что Воронцов и Шувалов поддерживают меня, а то меня сейчас бы проглотил лейб-медикус, как глотает государыня прописанные им ей пилюли.

Кроме соперничества в личном влиянии на государыню между Бестужевым и Лестоком была и политическая вражда. Лесток, как француз, хотя и родившийся в Ганновере, и друг маркиза де Шетарди, поддерживал в России интересы версальского кабинета, который в благодарность за это назначил ему

ежегодную пенсию в пятнадцать тысяч рублей. С своей стороны, Бестужев и по семейному расположению, и по личным своим чувствам был приверженцем Австрии, соперничавшей в это время с Францией. Шетарди пытался было подкупить Бестужева в пользу Франции, но он пребывал верен Австрии, которая, с своей стороны, не оставляла благосклонного к ней министра щедрыми благостынями.

– Уступки земель Швеции государынею, – говорил Бестужев маркизу Шетарди, – была бы противна славе ее отца, и Франция напрасно старается склонить к этому Россию. Начать переговоры с Швецией может Россия только на основаниях Ништадтского мира, и мне стоило бы отрубить голову, если бы я посоветовал ее величеству уступить Швеции хоть одну пядь земли. Если нужно воевать с Швецией, то мы будем воевать с нею в добрый час, но я думаю, что, и не прибегая к этой крайности, мы можем быть полезными Швеции. Разве у нее нет других потерь, которые ей гораздо выгоднее возвратить?

– Уж не говорите ли вы о Бремене и Верде-

не? – со смехом спросил маркиз. – Уже не думаете ли вы помочь ей в этом деле?

– Соглашение между нами и Швецией всегда возможно, – как-то таинственно отозвался Бестужев, – мы искренно желаем добра Швеции; пусть его величество король французский установит мир на севере, заключит союз с Россией и Швецией и... и... – заминаясь, добавил Бестужев, – довершит дело браком. Располагая Россией и Швецией, его наихристианнейшее величество может дать такое направление политики, какое он сам пожелает.

При упоминании о браке Шетарди насмешливо улыбнулся, понимая всю невозможность такого дипломатического сближения между Россией и Францией в настоящее время. Понимал это, конечно, и Бестужев, но упоминание о браке императрицы Елизаветы с одним из членов Бурбонского дома было тогда одним из обыкновенных припевов при дипломатических переговорах между Россией и Францией.

Еще Петр Великий, в бытность свою во Франции, держа на руках в Версале короля-ребенка Людовика XV, подумывал о браке

его с Елизаветою. Придворные льстецы из французов говорили, что Елизавета рождена быть украшением Версальского двора, и, по тогдашним понятиям, нельзя было сделать большей похвалы ни одной из принцесс. Предположение о свадьбе Людовика XV с испанскою инфантою сделало замышляемый Петром брак невозможным, но и после того в Петербурге намечали в женихи Елизавете то одного, то другого из французских принцев. Сама Елизавета, страстно любившая Францию, вероятно, под влиянием тех рассказов, которые она слышала от своих воспитательниц, француженок де Лоне и Каро, мечтала о таком браке.

В свою очередь и Лесток, не говоря уже о Шетарди, старался поддержать в императрице расположение к прекрасной Франции. Король Людовик XV был идеалом Елизаветы.

– Как вы смешно сегодня одеты, точно русская царица, – сказал однажды бывший не в духе Людовик XV своей подруге герцогине Мальи, заметив ее безвкусный наряд.

Это замечание изящного короля, знавшего толк в дамских нарядах не меньше первосте-

пенной французской модистки, подхватили версальские придворные как одну из метких острот своего владыки, и оно быстро распространилось по Парижу, а противники перевеса Франции над Россией не замедлили перенести королевскую остроту в Россию.

Насмешкой короля было нанесено глубокое оскорбление Елизавете, считавшей себя первой щеголихой в мире, имевшей в своем гардеробе четыре тысячи великолепных платьев.

Охлаждение к Франции со стороны Елизаветы должно было невыгодно отозваться на положении Лестока и в то же время облегчить для Бестужева борьбу с ним; но прежде чем произошло это, Алексею Петровичу пришлось изведать немало неприятностей.

XV

Прошло более четырех лет со смерти Ягужинского, когда воцарилась императрица Елизавета Петровна. Против семейства Ягужинского она не имела ничего на сердце, но не то следует сказать об отношении ее к семейству Головкиных, из которых самый видный представитель очутился сперва возле плахи, а потом, хотя и помилованный, но опозоренный, томился вместе со своею женой в Собачьем Остроге, в отдаленных местностях Сибири, около мало кому ведомого Якутска.

Ягужинская не могла переносить страданий своего любимого брата и изыскивала все способы, чтобы возвратить его из ужасного изгнания или, по крайней мере, хоть несколько облегчить его участь. Сделать что-нибудь такое могло только лицо, пользовавшееся особым доверием и чрезвычайным расположением государыни. Графиня Анна Гавриловна пыталась достигнуть этого через Воронцовых, Шуваловых и Разумовского, но легко понять, что участники переворота 25 ноября 1741 года не могли заговорить о помилова-

нии графа Михаила Гавриловича или о каком-нибудь к нему снисхождении.

«Если замолвить о Головкине доброе слово, – думали они, – то, в сущности, это будет значить, что мы умаляем свои личные заслуги. Не от слишком же важных врагов освободили мы цесаревну, если теперь сами начинаем просить за такого главного злодея, каким был Головкин. Не велика, значит, была его вина, если он вызывает теперь к себе сострадание в тех, которые обрекли его не на ссылку только, но и на жестокую смертную казнь. Довольно и того, что кроткая царица оказала ему неизреченное милосердие. Кто может также поручиться, что, получив свободу, он не начнет приискивать средств, чтобы сломить своих врагов и при случае отомстить им?»

По этим весьма основательным и вполне последовательным соображениям ни Шуваловы, ни Воронцовы, ни Разумовский не могли быть ходатаями за Головкина. Еще менее мог явиться в таком качестве Лесток. При своей подозрительности, опасаясь каких-либо предприятий со стороны бывших «адгерен-

тов» правительницы, он не только не думал о пощаде их, но «хотел погрузить их так, чтобы они не выплыли». Мало того, на возбуждаемых упомянутыми «адгерентами» опасениях он думал вернее упрочить свое положение при императрице, начавшее казаться ему шатким. Духовник государыни был не таким человеком, который, молясь во храме Божьем «о страждущих», был бы на деле готов помочь им своим представительством у земной царицы.

– Извини, брат Михайла, – говорил однажды в сильном раздражении Алексей Петрович, – хотя я и младший тебе брат, но в настоящем случае не могу удержаться, чтобы не дать тебе доброго совета. Дожил ты почти до пятидесяти лет холостяком, а теперь вдруг вздумал жениться. Уже это одно, по моему мнению, составляет большую ошибку. Поверь мне, что не по тебе будет супружеская жизнь, к ней нужно попривыкнуть смолоду, и в этом отношении я, как человек женатый, более сведущ, нежели ты.

Казалось, Михайла Петрович на внушения своего брата не обращал никакого внимания.

Он, задумавшись и заложив за спину руки, ходил по комнате мерными шагами, не отвечая ничего на замечания, делаемые ему Алексеем Петровичем.

– Неблагоразумие с твоей стороны заключается, впрочем, не в одном только этом. Ты занимаешь при дворе такую важную должность, пользуешься особым расположением государыни и вдруг берешь жену из опального семейства. Если, положим, нам и не нужно искать поддержки в родственных связях, потому что мы сами за себя постоять сумеем, то все же некстати родниться нам и с такими фамилиями, которые навлекли на себя немилость.

– Боишься ты, значит, Алексей Петрович, что брак мой может отозваться и на тебе? – усмехнулся гофмаршал.

– Да что ж ты думаешь, разве это невозможно? Разве не могут наши недоброжелатели припутать нас к разным факциям и конспирациям, ссылаясь на твое родство с Головкиными?

– Если это и так, то теперь поздно отсоветовать мне жениться на Анне Гавриловне, да и

я слишком ее полюбил, чтобы мог отказаться от ее руки.

Министр с неудовольствием пожал плечами:

– Делай как хочешь, но знай наперед, что я на твоей свадьбе не буду; я не хочу наживать себе неприятностей из-за твоей запоздалой любви.

– Твоя воля, – отозвался равнодушно граф Михайла. – Прощай, я ухожу.

– Будь счастлив, боюсь только, чтобы не пришлось тебе вскоре раскаяться в своем неосмотрительном союзе.

Братья расстались между собой более чем холодно, так как каждый из них положил мысленно не иметь друг с другом никаких сношений.

В словах обер-гофмаршала своему мнительному брату о своей сильной страсти к вдове графа Ягужинского не было ничего напускного. Он полюбил Анну Гавриловну с тем пылом, который казался уже несвойственным его годам, когда порывы и увлечения уступают место старческой холодности и себялюбивым расчетам. Ягужинская могла,

впрочем, понравиться ему. Она была теперь в полном расцвете своей если и не блистательной, но обольстительной красоты. В петербургском обществе она считалась самою скромной и вполне безупречной женщиной и составляла по своему поведению совершенную противоположность младшей сестре своей Анастасии, бывшей замужем за князем Никитою Юрьевичем Трубецким, за которого пошла она, не чувствуя к нему никакого расположения. В это время молодой ветреницы уже не было на свете. Трубецкой похоронил ее в 1735 году, но хорошо ее помнил. Помнил ее и историк князь Щербатов, который писал о ней следуюшее:

«Слюбился князь Иван Алексеевич Долгорукой с Трубецкою, рожденною Головкиною, жил с нею и пил с ея мужем, бивал и ругивал его, бывшего генерал-майором кавалергардского полка».

Подвыпивший крепко на какой-то пирушке Иван Долгорукий схватился с Трубецким и принялся колотить его и, наконец, в ярости своей дошел до того, что призвал прислугу и приказал ей вышвырнуть рогоносного кава-

лергарда за окно, и только заступничество Степана Васильевича Лопухина спасло его от предстоявшего ему полета.

Влюбившись по уши в молодую вдовушку, гофмаршал завел с нею почтительно-любовную переписку.

«Каково вы, мой друг Аннушка, сию ночь почивали, – писал ей Михайла Бестужев, – я худо спал для того, что болезнь моя вчера ввечеру немного прибавилась, нежели днем была, а теперь о них ничего не слышу, и никакого знака на ноге нет; я бы очень желал ко двору выехать должность мою исправить.

Понеже сего дни куртаку (куртага) не будет, пожалуй, приедь ко мне, друг мой; пробавим вечер вместе; мне грустно, когда вас не вижу, хотя вам и не так, то для меня учините».

Жених, начинавший уже чувствовать приступы подагры, старался нравиться Ягужинской и другими способами, без которых может обойтись молодой человек в отношении любимой им женщины. Он хлопотал по разным делам вдовой графини и, уведомляя ее о результатах своих хлопот, писал ей следую-

щие нежные строки:

«А что до меня касается, то я не премину, где надлежит и где полезность увижу, крайнее старание и попечение о том иметь, ибо вам уже видно и приметно о моей истинной вам преданности и особливой венерации, и ничего так на свете не желаю, яко и с вашей стороны таких же сантиментов к вашему верному слуге, в каких я к вашей дражайшей и любезнейшей персоне нахожусь; сии слова не суть комплименты, но от истинного сердца происходят».

«Третьего дни, – продолжал влюбленный обер-гофмаршал, – будучи у господина Лестока, вы изволили мне позволить к себе писать; я в той надежде к вам и пишу, не сумневаяся, что вы удостоите меня своим благосклонным и приятным изветом, еже много поспешит моему облегчению; весьма мне прискорбно, что я не сподоблюся на куртаге вас видеть; когда вы туда мимо моего двора поедете, хоть уж тогда спамятуйте обо мне, вашем верном слуге, который от сердца любит и почитает и дражайшие ваши ручки целует».

Императрица, узнав о предстоящей же-

нитьбе своего обер-гофмаршала на графине Ягужинской, не только не выразила своего неудовольствия против этого брачного союза, но, поздравив старого холостяка со вступлением в супружество, пожелала лично обменять их кольца при обряде обручения. Проведав об этом, Алексей Бестужев пожалел что он поторопился своим отказом приехать на свадьбу брата из пустого опасения, что своим там присутствием не угодит императрице. Теперь же он сам поехал к брату заявить, что он с большим удовольствием явится как на его обручение, так и на его венчание. Разумеется, что при таких условиях отказа в приглашении быть не могло. Но мнительный министр пал, однако, в новое сомнение: он знал переменчивость в благосклонности императрицы и полагал, что ею оказано было внимание брачущейся чете только потому, что государыне не хотелось казаться мстительной, хотя в душе она и не была расположена к Ягужинской, как к сестре человека, которого считала своим злейшим врагом, и, кроме того, ей было хорошо известно как о тесной дружбе сестры к брату, так и о том, что Ягужинская

постоянно оплакивала злополучную долю, постигшую бывшего вице-канцлера. Не забывала также Елизавета, что сама Ягужинская была другом правительства Анны.

Стоя под венцом с обер-гофмаршалом, Анна поздно уже стала обдумывать, что она поступила опрометчиво, сделав такой решительный шаг. Бестужев, пылавший к ней такою пламенною страстью, вовсе не нравился ей, а тут еще, как на беду, приходило ей на мысль сравнение первого ее мужа, статного и красивого молодца, с своим дряхлеющим новым супругом.

Графиня Анна мысленно укоряла себя в том, что связывала себя брачными узами с человеком, которого она не только не любила, но который ей даже вовсе не нравился. Согласие ее отдать свою руку и свое сердце такому человеку не примирялось с ее прямодушием, и она оправдывала себя только тем, что пожертвовала собою для облегчения тяжелой участи так горячо любимого ею брата. Ягужинская рассчитывала, что Алексей Бестужев, все сильнее и сильнее становившийся при императрице, вскоре, по всей вероятно-

сти, приобретет на нее непреодолимое влияние и что тогда он в качестве родственника графа Михайла Гавриловича Головкина явится усердным за него ходатаем. Она ничего не знала о происшедшей между братьями размолвке по поводу брака и упускала из виду, что Алексей Бестужев был настолько осторожен и себялюбив, что ни за что не стал бы хлопотать не только о совершенном помиловании, но даже хоть о некотором снисхождении к человеку, имя которого государыня не могла слышать равнодушно. Для Елизаветы, кипевшей жизнью, не представлялось ничего ужаснее, как вместо пышных и разноцветных нарядов надеть на себя черную рясу и клобук с таким же покрывалом и из обширных золоченых зал дворца перебраться в тесную простую келью. Между тем Головкин, стараясь сделать Анну Леопольдовну императрицею, готовил цесаревне Елизавете такой неприглядный наряд и такое неудобное и томительное помещение, и, разумеется, ей нелегко было забыть такую «конспирацию» вице-канцлера.

Последствия неохотного и плохо рассчи-

танного брака Ягужинской с Бестужевым не замедлили обнаружиться. Она с первых же дней после свадьбы стала тяготиться ласками своего пожилого супруга, который и с своей стороны, проведя всю свою жизнь на свободе, как холостяк, начал тяготиться своим положением и обязанностями мужа. Между молодыми возникли размолвки, которые, может быть, и окончились бы со временем благополучно, если бы Анна Гавриловна не убедилась, что все ее расчеты на спасение брата через Бестужевых были напрасными.

При первом заявлении Анны Гавриловны насчет этого она выслушала от своего супруга резкий отказ. Он объявил, что из-за свадьбы с нею он разошелся с своим братом. «Впрочем, – добавил супруг, – и помимо этого брат мой никогда не согласился бы своею просьбою за такого тяжкого преступника навлечь на себя неудовольствие государыни или – что для него было бы еще хуже – подозрение в сочувствии к образу действий бывшего вице-канцлера, которому уже и так ее величество явила знак своего милосердия, даровав ему жизнь, тогда как столь презренный зло-

дей, – заметил Бестужев, – не заслуживал бы такого милосердия за совершенные им факции».

Таким образом, прежняя графиня Ягужинская, а ныне графиня Бестужева-Рюмина вместо участия и утешения встретила не только полную холодность, но и резкое порицание любимого ею брата. Вскоре начавшиеся между супругами размолвки перешли во взаимную вражду, с той и с другой стороны начали слышаться укоры и упреки; но муж и жена, боясь сделаться предметом насмешек со стороны общества, таили происходившие между ними несогласия так искусно, что все считали их счастливою супружескою четою, жившею душа в душу.

Узнав о том, что императрица отнеслась благосклонно к браку Ягужинской с Бестужевым, Бергер нашел, что теперь наступила благоприятная пора, чтобы попросить руки ее падчерицы. С неудовольствием проведал об этом дерзком намерении граф Михайла Петрович. Он, не стесняясь нисколько, заявил своей жене, что, вступая с нею в брак – не как уже с Головкиною, которая была ему равная,

но как с Ягужинскою, вдовою какого-то проходимца, чуть ли не жидовской породы, – до некоторой степени унизил фамилию Бестужевых. Он стал хвалиться тем, что Бестужевы служили русским государям разные дворянские службы уже в десяти поколениях; что фамилия его происходит от знатного английского рода Бестюров, как в том удостоверяла присланная из Англии братьям Бестужевым-Рюминым королевская грамота. Граф Михайла полагал, что принять в свое, хотя и отдаленное, свойство сына какого-то безвестного лифляндского мызника он считает крайним позором как для самого себя, так и для всех своих фамилиантов.

Пронырливый кирасир проведал о таких рассуждениях нового вотчима Настеньки и понял, что всякие относительно ее искания при таких неблагоприятных условиях будут напрасны. Такому отзыву обер-гофмаршала вторил и его брат, Алексей.

«Хорошо же, – думал Бергер, злобясь на Бестужевых, – я когда-нибудь покажу таким зазнающимся господам, что Бергер может быть не хуже их по своему положению в их обще-

стве. Я выйду в люди во что бы то ни стало!»

XVI

Предания о красоте некоторых женщин, как и народные предания, бывают иногда очень живучи. Такие предания и даже письменные свидетельства сохранились и о красоте Натальи Федоровны Лопухиной. Хотя такого рода предания обыкновенно преувеличиваются и приукрашиваются, но в основании они бывают верны, и нельзя сомневаться, чтобы современники Лопухиной не восхищались ее прелестями, как молодой женщины. Годы, однако, брали свое, и как роскошно распустившийся цветок, просуществовав в своей красоте короткий срок, начинает увядать, так, конечно, стала увядать и Лопухина. Ей ко времени настоящего рассказа шел уже сороковой год. Она имела несколько человек детей, в числе которых был старший сын Иван Васильевич и старшая дочь Анастасия, очень миловидная, лет семнадцати, девушка, не обещавшая, однако, быть такой роскошной красавицей, какою была ее мать. Женственные свои прелести Наталья Лопухина,

рожденная Балк, получила в наследство от своей матери, происходившей из семейства Монс, известного своею красотой, а также и постигшими его бедствиями.

Хотя Наталья Федоровна и увядала, но время до известной степени щадило ее и не налагало на нее отпечатка ее возраста, так что она казалась, по отзывам современников, слишком моложавою для своих лет, и молва о том, что она первая красавица, поддерживалась по старой привычке. Так называет ее в своих записках леди Рондо, а, конечно, такому отзыву женщины о женщине можно поверить. Но замечательная красота Лопухиной в соединении со счастливою для женщины моложавостью и вдобавок заносчивость красавицы, привыкшей к поклонению обожателей, возбуждали в представительницах женского пола в Петербурге враждебное к ней чувство, и в числе таких женщин была цесаревна Елизавета Петровна.

Повод к вражде со стороны Елизаветы подавала отчасти и сама Лопухина, желая соперничать с нею в красоте, а Елизавета – в особенности с летами – стала очень щекотли-

ва в этом отношении. Соперничая с Елизаветой, как женщина с женщиной, Лопухина хотела уподобиться ей и по своим нарядам и, проведав, – что тогда в Петербурге было не трудно, – в каком платье цесаревна собирается быть на куртаге или на балу, заказывала себе такое же платье и являлась в нем в общество, раздражая тем цесаревну. При Анне Ивановне и в особенности при правительнице такие весьма чувствительные уколы, наносимые Елизавете Лопухиною, совершенно безнаказанно сходили с рук легкомысленной Наталье Федоровне. Мало того, такие проделки вызывали при дворе Анны Леопольдовны веселый говор и насмешки над Елизаветой, которая не пользовалась тогда не только никаким почетом, но даже и вниманием, и с затаенным раздражением должна была переносить те мелкие обиды, какие позволяли себе наносить ей лица, приближенные к Анне Леопольдовне.

У Лопухиной был неизменный друг и любовник – гофмаршал граф Рейнгольд Иванович Левенвольд. Она страстно его любила и была предана ему беспредельно.

В свою очередь и Левенвольд, желая угодить обожаемой им женщине, старался при каждом удобном случае чем-нибудь кольнуть и раздражить цесаревну Елизавету, а по его должности, как гофмаршала, таких случаев представлялось немало. Он то как будто забывал или опаздывал пригласить цесаревну на какое-нибудь придворное торжество или празднество или делал подобного рода приглашения не с той почтительностью, на какую имела право Елизавета по своему положению в императорском семействе. Елизавете внушали, да и сама она понимала, что в таком оказываемом ей неуважении со стороны гофмаршала, человека, отличавшегося вежливостью и даже изысканною утонченностью в обращении с женщинами, был виноват не столько он сам, сколько действовало на него постороннее влияние.

– Левенвольд настолько любезен и предупредителен с дамами вообще, что он никогда не позволил бы себе оказать мне какую-нибудь невежливость, – говорила в своем кружке Елизавета.

– В особенности с молодыми и прекрасны-

ми дамами, – добавлял кто-нибудь из присутствовавших, – и чрезвычайно странно, что он дает вашему высочеству повод жаловаться на него.

– Нисколько не странно, – перебивала с досадой Елизавета, – он в руках у Натальи, а она подбивает его против меня. Чтобы угодить ей, он все готов сделать.

Когда Елизавета вступила на престол, то Левенвольда, независимо от возведенных против него обвинений в зловредном политическом умысле, обвиняли еще и в том, что «в торжество дня рождения принца Ивана для ее императорского высочества цесаревны Елизаветы был поставлен стол с прочими дамами в ряд». Левенвольд на такое обвинение отвечал, что «сие учинено было по приказанию бывшей правительницы, а не по его рассуждению».

– Я, – объяснялся бывший гофмаршал перед своими судьями, – возражал, не будет ли то для ее высочества обидно. «Положи тарелку так, как я приказываю, – сказала мне правительница, – а как я войду, то сама сделаю, как надобно».

Такое оправдательное объяснение Левенвольда, как и объяснение его против обвинения в «злокачественной конспирации», уважены не были. Захваченный в каземат Петропавловской крепости в полной силе, статным и красивым мужчиной, Левенвольд вышел оттуда, чтобы идти на плаху, изможденным, дряхлым старцем, еле передвигавшим ноги, с седыми космами волос, беспорядочно спускавшимися на лицо и на плечи, худой, бледный, с отросшею растрепанною бородою, – и, конечно, никто бы не мог узнать в этом жалком колоднике блестящего гофмаршала, щеголявшего еще не так давно в великолепном модном парике, в бархате, шелку, кружевах, лентах и бантах.

Несмотря, однако, на ту перемену, которая произошла в Левенвольде в короткое время, чувство пылкой к нему страсти нисколько не изменилось у Натальи Федоровны. В день, назначенный для совершения казни над ее любовником, она сходила с ума и в припадках отчаяния хотела наложить на себя руки, но когда дошла до нее весть, что Рейнгольд избавлен от смерти, она пришла в какой-то ди-

кий восторг и дала обещание быть мстительницей за него, если ей не удастся быть его спасительницей. Эта последняя задача оказалась, однако, неосуществимою, и потому Наталья Федоровна решилась взяться за первую, но мщение это проявлялось уже слишком по-женски.

Живя с Рейнгольдом, как с мужем, Лопухина до его ссылки вполне довольствовалась домашнею жизнью и редко являлась в обществе. Теперь чувство мщения подсказывало ей иное... Ей казалось, что она должна как можно чаще показываться на глазах у государыни, представляясь веселой, и тем самым показывать Елизавете, что она равнодушно переносит изгнание своего любовника.

С своей стороны, Елизавета, по-видимому, совершенно равнодушно отнеслась к демонстрации, задуманной Лопухиною. Государыня делала вид, будто она вовсе не замечает свою статс-даму. Императрица не удостаивала ее своим разговором и только легким, почти пренебрежительным кивком отвечала на почтительные и обязательные для Лопухиной придворные реверансы.

Такое хладнокровие Елизаветы еще сильнее возбуждало чувство злобы в сердце Натальи Федоровны.

«Не постою я ни за чем, – думала она, – я выведу ее из терпения».

И недолго пришлось ей ждать.

Был назначен большой бал во дворце.

Балы эти были обыкновенно костюмированные и представляли не только пестрое и странное, но и забавное зрелище. Классическая мифология была тогда при всех дворах в большом ходу, но богов и богинь Древней Греции и Древнего Рима даже на Западе, кроме ученых и поэтов, все прочие знали очень плохо. Так, например, в Париже на театральных сценах вместо насколько возможно более обнаженной Венеры являлась актриса, затянутая в корсет, в огромных фижмах[15], с напудренной головой, с черными мушками на лице, в перчатках и с веером в руках. Ахиллес выходил на сцену в мундире тогдашних французских кирасиров, имея на латах лилии как знаки королевского герба дома Бурбонов. Понятно, что в подобных случаях Петербург вдавался в еще большие несообразности. Хотя

ученые классики, члены тогдашней Петербургской академии наук, и принимали деятельное участие в составлении рисунков для фейерверков и транспарантов для «илуминаций» и заготовляли все это в классическом вкусе, но почему-то не требовалось их мнений относительно богов, богинь, полубогов, полубогинь и героев, появлявшихся с того света на придворные костюмированные балы.

Балы эти при Елизавете отличались роскошною и разнообразною обстановкой. На них являлась в лицах вся греческая мифология. Кавалер, прибирая себе имя языческого божества или прославившегося в древности героя, прицеплял или пришпиливал какой-нибудь отличительный его признак и затем оставался во всех принадлежностях своего повседневного костюма. Общим же убранством для всех богов и богинь были обыкновенные белые тоги, из-под которых у мужчин были видны шелковые, плотно охватывающие икры чулки и громадных размеров парики; с левого бока у богов болтались шпаги, а распахнувшаяся тога обнаруживала иногда

андреевскую или александровскую звезду или ленту, а у некоторых дам знаки ордена великомученицы Екатерины. Носы у иных богов были оседланы очками, а богини употребляли лорнетки. Все русские дамы той поры сильно румянились, и обычай этот был не наносный с Запада, но коренной московский, перебравшийся и в Петербург.

Кроме представителей древнего языческого мира на придворные балы Елизаветы являлись также представители всех национальностей, преимущественно же были тут турки, персиане и венециане. От обязанности быть в каком-нибудь характерном костюме освобождались, по особому разрешению государыни, только высшие сановники, а также все без исключения иностранные дипломаты, которые, являясь на придворный маскарад, обязаны были накидывать только домино поверх обыкновенно носимой ими одежды.

Были также заведены при дворе Елизаветы так называмые «метаморфозы», то есть такие маскарады, на которые дамы являлись в мужском, а кавалеры в женском платье.

Тот бал, на который собиралась выехать

Лопухина и раздражать, сколь возможно более, императрицу, не был, однако, костюмированным балом.

Надобно сказать, что императрица Елизавета сделала запрет, чтобы ни одна из дам не смела являться на балы в таком платье, какое будет надето на государыне. Требовательность эта была гораздо обширнее, нежели те средства, какие представлялись для ее исполнения. Даже перед самым выходом на бал государыни трудно было, хотя бы и через камер-фрау, узнать, во что оденется императрица. Для нее бывало приготовлено в уборной несколько нарядов, так что только какая-нибудь случайность решала окончательный выбор одного из них. Очень часто случалось, что приехавшая на бал дама, увидев или узнав заранее, что наряд или головной убор императрицы близко подходит к ее наряду, спешила уехать поскорей с бала, чтобы переменить платье или изменить прическу.

Разумеется, что Лопухина, как статс-дама, более чем все другие придворные и так называемые городские дамы должна была соображаться с таким распоряжением императри-

цы. Но легкомыслие и задор брали у Лопухиной перевес над благоразумием, и она, узнав, что императрица собирается быть на предстоящем бале одетой очень просто, в шелковой робе светло-розового цвета, с приколотою в волосы только розою, сама оделась точно так же.

Собравшиеся в большой дворцовой бальной зале кавалеры и дамы стояли на местах, указанных им церемониймейстером, или «конфузионмейстером», как титуловался граф Санти, заведовавший порядком на придворных балах. Все ожидали выхода императрицы, которая, делая свой туалет медленно и заботливо, заставляла подолгу ждать своего выхода. Прошло уже более часа в напрасном ожидании; но вот по знаку, поданному «конфузионмейстером», в зале все смолкло: широко распахнулись двери из внутренних апартаментов императрицы, и она, предшествуемая обер-гофмаршалом графом Бестужевым-Рюминым и сопровождаемая дежурною статс-дамою, женою обер-гофмаршала, и фрейлинами, вступила торжественно в залу «при игрании на трубах и при битии в литав-

ры».

У Лопухиной, стоявшей между дамами на самом видном месте, радостно забилось сердце при появлении императрицы: на ослушнице статс-даме было надето платье такое, что его трудно было отличить и по цвету, и по качеству материала, и по покрою, и даже по разным мелким принадлежностям дополнительной отделки от того платья, какое было на императрице. Мало того, в волосах как той, так и другой было по одной только розе. Ничем нельзя было оказать более неуважения к государыне и выразить сильнее полного пренебрежения к ее запрету, как, заметив такое сходство нарядов, все-таки явиться перед нею. Лопухина же, напротив, постаралась попасть поскорее на глаза государыне, которая, опираясь на руку канцлера князя Черкасского, торжественно стала обходить залу.

Увидев наряд Лопухиной, императрица быстро выхватила свою руку из руки своего кавалера. Лицо ее приняло гневное выражение, и, тяжело дыша, она скорыми шагами вышла одна на середину залы. Все в изумлении обратили на нее свои взгляды, не пони-

мая, что такое случилось. Растерянный Черкасский остановился как вкопанный на том месте, где так неожиданно удалилась от него Елизавета, и с ужасом думал, не оказал ли он какой-нибудь невежливости или неловкости перед ее величеством.

– Настя! – сказала императрица, обращаясь к бывшей при ней в тот вечер дежурной фрейлине Ягужинской. – Подай мне ножницы.

Молодая девушка поспешно запустила руку в карман своей робы и вынула оттуда небольшой несессер, в котором были потребованные государыней ножницы, а также булавки, иголки и шелк. Такой несессер обязаны были иметь при себе дежурные фрейлины на случай, если бы пришлось привести в порядок туалет государыни.

– А ты, Наталья, поди сюда! – гневно крикнула Елизавета, подзывая к себе напроказившую статс-даму повелительным движением руки. – Становись здесь на колени! – грозно крикнула государыня, топнув ногой и указывая пальцем на пол.

Побледневшая, несмотря на румяна, Лопу-

хина исполнила это приказание, а Елизавета, взявши от фрейлины ножницы, срезала розу, бывшую на голове Лопухиной, и растрепала ее прическу. Из глаз Лопухиной выступили слезы.

С трудом в своем бальном наряде поднялась Лопухина на ноги. Никто из окружавших кавалеров не решился помочь ей, и она, шатаясь, вышла из залы и упала в обморок, разразившись громкими рыданиями.

– Это что такое? – спросила императрица окружавших ее.

– Лопухиной сделалось дурно, – отвечали ей.

– И поделом ей, другой раз не посмеет издеваться надо мной! – проговорила Елизавета.

XVII

Лопухина не была лишена звания статс-дамы и стала по-прежнему являться при дворе, имея на плече осыпанный бриллиантами медальон с портретом государыни. Прискорбное событие начало мало-помалу забываться.

Не могла, однако, она не сокрушаться, вспоминая недавнюю еще пору, когда правительница Анна постоянно встречала ее ласково и приветливо и когда Наталья Федоровна была желанною ее гостьей.

– Совсем теперь не та пора, – говаривала очень часто Лопухина, и в словах ее с близкими к ней людьми выражались сетования на настоящее и сожаление о минувшем.

Но если личное раздражение Лопухиной стало утихать мало-помалу, то мучительная тоска о сосланном в Соликамск Левенвольде не только не ослаблялась, но даже напротив усиливалась все более и более. С трудом и изредка доходили в Петербург вести о бывшем гофмаршале. Рассказывали, что бароны Строгановы, имевшие в Соликамске свои варни-

цы, заводы и по временам наезжавшие туда сами, оказали ему самое радушное участие, облегчая печальное положение бывшего знатного царедворца всеми средствами, которыми они могли располагать. Преувеличивая участие, оказываемое Строгановыми Левенвольду, досужие языки болтали, будто бы он жил в доме Строгановых, но на деле это было неверно. Первое время по приезде в Соликамск Левенвольда держали в простой избе под неотступным присмотром приставленных к нему офицера и нескольких солдат, доставивших его из Петербурга в место его ссылки. В это время для него, как это делалось и для других знатных ссыльных, строились около Соликамска хоромы, которые должны были быть огорожены острогом и тыном с высокими и крепкими палисадами из проигленных, то есть заостренных на конце, брусьев. Каждая стена острога должна была быть во сто сажен длины, с одними только воротами; по углам стены для караульных солдат должны быть устроены будки. Хоромы для заключенного строили посреди острога, а перед острогом у ворот надлежало выстроить

покои для офицера и светлицы для солдат. По смете такая постройка обходилась до 1300 рублей.

Достоверные известия о житье-бытье Левенвольда Лопухиной было очень трудно получить, так как даже граф Алексей Петрович Бестужев не имел никаких сведений о дальнейшей судьбе сосланных, и ими исключительно заведовал граф Андрей Иванович Ушаков, управлявший тогда Тайною канцелярией, но трудно было добиться чего-нибудь от него: по вверенным ему секретным делам он был всегда нем как рыба.

Правительство императрицы Елизаветы опасалось происков и даже явных действий правительницы Анны Леопольдовны. Маркиз Шетарди хвалился, что он легко может произвести новый переворот, если того потребуют интересы его двора. При русском дворе и в войске было немало сторонников Анны Леопольдовны, и они могли найти себе пособников между иностранными дипломатами. Как против правительницы задумал действовать французский посол маркиз Шетарди, так против Елизаветы начал строить козни австрий-

ский посланник маркиз Ботта д’Адорно. Если для Франции представлялось выгодным свергнуть с русского престола Брауншвейгскую династию, родственную Габсбургскому дому, то теперь интересы Австрии требовали восстановления этой династии, а такое восстановление могло быть только последствием низвержения Елизаветы. Между тем сторонником Франции в Петербурге был граф Арман, или по-русски Иван Иванович Лесток, а сторонником Австрии – граф Алексей Бестужев, и между ними шла решительная борьба не только по вопросу о том, кто из них окончательно и безраздельно утвердит свое личное влияние при дворе, но и по вопросу о том, чьей союзницей должна быть Россия – Австрии или Франции.

И тот и другой не упускали ни малейшего случая чтобы повредить один другому, а версальский и венский кабинеты, или, как сообщалось в депешах иностранных агентов, бывших в Петербурге, «вся Европа», с напряженным любопытством ожидала, чем кончатся взаимные препирательства и обоюдные козни Лестока и Бестужева – двух людей, считав-

шихся самыми близкими к русской государыне.

XVIII

В одном из апартаментов государыни были поставлены на мольбертах три больших ее портрета, написанных масляными красками. По окончании одного из министерских заседаний государыня вошла в этот апартамент с Лестоком, канцлером Черкасским, вице-канцлером Бестужевым, братом его – гофмаршалом, Воронцовым и Разумовским. Она желала услышать их отзывы о выставленных портретах, чтобы обсудить, в каком роде будет лучше всего заказать свой новый портрет приехавшему в Петербург из Италии художнику, вызывавшемуся написать персону императрицы с поразительным сходством. Сметливый итальянец, желавший получить такой заказ, говорил тем, через кого могли дойти его слова до императрицы, что писать портрет Елизаветы будет для него не работой, а наслаждением, что он, художник, не только бы ничего не желал получить за свой труд, но что сам отдал бы последнее, чтобы только

иметь возможность в продолжение некоторого времени любоваться такою чудною женщиною, как ее величество.

Хотя Елизавете и не были в диковинку самые восторженные похвалы насчет ее красоты и такие похвалы в прежние времена принимались ею равнодушно, как не подлежавшая сомнению истина, но теперь, когда первая молодость миновала, они ценились ею уже дороже. Художник насказал императрице столько любезностей, что расположил ее окончательно в свою пользу, и государыня составила особое совещание из близких ей людей, чтобы посоветоваться с ними о том, какие неверности и недостатки следует устранить из прежних портретов. Государыня думала, что ее сановники и царедворцы будут в этом случае отличными знатоками дела и укажут на то, в чем ошибались живописцы.

Из всех выставленных портретов государыни особым художественным пошибом и грациозною фантазией отличался ее портрет, написанный Караваком в то время, когда ей было шестнадцать лет. Портрет этот был, собственно, картина, на которой Елизавета и

старшая ее сестра Анна были представлены в виде гениев с крылышками бабочки за спиною и с развевающейся сзади драпировкою. Другой портрет, написанный также Караваком, относился к позднейшему времени, когда Елизавета, утратив в лице своем игривую миловидность девушки, обратилась в пышную красавицу. На третьем портрете, написанном русским художником Соколовым, императрица была изображена в коронационном наряде, с императорскою короною на голове. В правой руке она держала скипетр, а в левой – державу, и на ее полные белые плечи слегка была наброшена золотистая парчовая мантия, усеянная черными двуглавыми орлами и опушенная горностаем. Этот белый нежный мех, по сделанным на нем художником теням, далеко уступал по своей белизне ее плечам и шее.

Начались суждения об этом портрете, и говорун Лесток овладел всем разговором. Не будучи знатоком живописи, он умел, однако, быть очень бойким и остроумным судьею и по этой части, как и по всем другим предметам, не затрудняясь нисколько высказывать

все, что только приходило ему на ум и подходило к тому, что хотел он сказать приятного и любезного.

Великий канцлер, не понимавший ни слова по-французски, слушал толки Лестока, лишь моргая своими подслеповатыми глазами. В таком же положении находился и Алексей Разумовский. Желая быть любезным и с тем и с другим, Лесток заговаривал с ними по-русски.

– Посмотрите, ваше сиятельство, на эту руку. Не правда ли, она совсем не соответствует по своему размеру другой руке? – говорил Лесток, подводя князя Черкасского к одному из портретов.

– Плохо, граф Иван Иванович, я вижу, а очков с собою на этот раз не захватил, – уклонился великий канцлер от суждения о портрете императрицы.

С таким же замечанием обратился по-русски Лесток к Разумовскому.

– Что о том и толковать, – сказал своим хохлацким выговором Алексей Григорьевич, полусмотря на государыню. – Разве кто-нибудь намалюет нашу красавицу так, какова

она есть на деле, – отозвался Разумовский и с пренебрежением махнул рукой на все портреты.

Воронцов и Шувалов поддерживали разговор с Лестоком, отчасти соглашаясь с его замечаниями, отчасти опровергая их. Обер-гофмаршал только поддакивал и тем и другим, делая утвердительные знаки головой.

Совсем иначе держал себя вице-канцлер. Заметно было по выражению его лица, что ему не нравилось то первенство, какое и в настоящем случае успел взять болтливый и самоуверенный Лесток. Алексей Петрович молчал все то время, когда лейб-медикус рассуждал о достоинствах и недостатках портретов. Когда же наконец Лесток стал истощаться и Алексей Петрович заметил, что государыня начала уже скучать болтливостью Лестока, он обратился к императрице, сидевшей в креслах перед портретами, и в коротких словах высказал свое мнение о достоинствах и недостатках того или другого портрета, а из его объяснений даже и в этом случае можно было заметить делового человека, не любившего тратить время попусту.

Лесток несколько раз пытался вмешаться в разговор вице-канцлера с государыней, но Бестужев своим взглядом, уставленным в упор, высказывал графу, что императрице угодно говорить с ним, Бестужевым, а не с Лестоком. Государыня в свою очередь делала вид, что она внимательно слушает Бестужева, и Лесток с явным выражением досады на лице и в движениях отступил за спинку кресел, занятых императрицею.

Наконец, Бестужев почтительно поклонился государыне, желая показать своим поклоном, что он высказал все, что хотел сказать.

– Однако, – развязно и насмешливо заговорил теперь Лесток, – граф Алексей Петрович, как я вижу, такой же большой знаток в живописи, как и в медицине.

– А что ж ты думаешь, Иван Иванович, разве капли, приготовляемые Алексеем Петровичем, не помогают? – спросила императрица.

– Шарлатанство не медицина, – пробормотал сквозь зубы побледневший с досады Лесток, но пробормотал так неясно, что если бы кто-нибудь потребовал от него повторения

его слов, то он мог бы отпереться от них.

– Намедни как-то, – продолжала императрица, – у меня закружилась голова и подхватило под ложечкой, я приняла несколько его капель на кусочке сахара, и мне тотчас полегчало. Я и забыла сказать тебе об этом, Иван Иванович, – сказала императрица, обращаясь к Лестоку.

Лестока передернуло с досады.

– Позволю себе всепочтительнейше заметить вашему величеству, – начал Бестужев, – что, имея при своей высочайшей особе такого ученого и опытного врача, как его сиятельство граф Иван Иванович, вы напрасно благоволите употреблять сочиненные мною капли.

– Да если они мне помогают, так отчего же не употреблять их? Ведь вреда от них не может быть?

– Ни малейшего, ваше величество, но я никак не смел предполагать, чтобы... – говорил Бестужев.

– Унижение паче гордости, – вмешался Разумовский, дружески ударив по плечу Бестужева и желая досадить Лестоку, – и я, отец родной и добродей, твои капли по временам

хлебаю и низко тебе за них кланяюсь. Ведь как они освежают! Проглотишь их, а потом потянешь в себя воздух, так и чувствуешь, что в тебя вливается какая-то прохладительная струйка. Особенно легко от них делается, как их пропустишь в глотку после хорошей выпивки венгерского. Нешто я неправду говорю? – обратился Разумовский к Петру Ивановичу Шувалову, участвовавшему поневоле в попойках фаворита.

Все, кроме Лестока, засмеялись при этом отзыве казака о пригодности капель, которые очень долго пользовались громкою известностью под названием «бестужевских». Изобретатель их сообразил, что теперь самая удобная пора заговорить о своем врачебном средстве, тем более что возраставший успех его капель может подорвать у императрицы значение ненавистного ему Лестока как врача, к которому государыня имела с давних пор исключительное доверие и который прежде лечил ее от всех действительных и мнимых недугов.

– Мне удалось, – с уместною в данном случае хвастливостью начал вице-канцлер, –

изобрести этот поистине спасительный медикамент. В состав его входят самые простые ингредиенты, подвергнутые предварительной химической переделке. Приятны мне в особенности те похвальные отзывы, которых я все чаще и чаще удостаиваюсь от заграничных знаменитейших врачей. Из Германии, Франции и Англии мне делают самые выгодные предложения продать мой секрет. Пользительность моих капель не подлежит теперь никакому сомнению...

– Вы, чего доброго, – с нескрываемою злобою, нахально и едко перебил Лесток, – изобретете эликсир молодости, и тогда вы получите желаемое вами значение, тогда...

Лесток призамялся.

– Для получения мною желаемого значения, – с колкостью отвечал Бестужев, – я употребляю иные, а не врачебные средства.

Елизавета поняла смысл намека, сделанного Лестоком, беспрестанно раздражавшим императрицу своими дерзкими выходками. Елизавета могла переносить их, когда она была цесаревной и жила как частное лицо; но когда она стала самодержавной государыней,

такие нахалы и хвастуны, каким оставался Лесток, привыкший не стесняться с нею в обращении, не только как близкий человек, но и как домашний врач, не могли быть уже терпимы ею. Он делался ей все более и более в тягость, и очень часто она подумывала о том, как бы поскорее избавиться от него.

Алексей Петрович поспешил прекратить начавшийся разговор, который при запальчивости Лестока мог кончиться крайне неприятно.

– Какое же вашему величеству угодно сделать распоряжение относительно портретов? – почтительно спросил он государыню.

Елизавета встала с кресел, осмотрела чрезвычайно внимательно еще раз портреты и подозвала к себе обер-гофмаршала.

– Ты, Михайла Петрович, напиши кому следует, – сказала она, указывая веером на портрет, написанный Соколовым, – что я опробую этот портрет для «градирования» (то есть для гравирования). Пусть повелено будет от меня и прочим мастерам, чтобы они делали и писали наподобие вышенаписанного портрета, под опасением строжайшего нака-

зания за какое-либо отступление. Так и напиши; а то теперь мою персону изображают иногда в самом безобразном виде, в каком я никогда не бывала, да и надеюсь, что, по милости Божией, никогда и не буду.

Обер-гофмаршал низко поклонился в ответ на такое строгое распоряжение ее величества.

Затем государыня подошла к другому портрету, написанному Караваком. Она то приближалась к нему, то отступала и после тщательного осмотра подозвала к нему обер-гофмаршала.

– Объяви Караваку, – сказала она, проводя пальцем по полотну, – что правая рука написана здесь очень дебела, а особливо в запястье, и чтоб он вперед на прочих портретах, кои велено ему писать, в том имел осторожность, чтоб одна рука против другой препорцию имела.

И на это замечание ответом был почтительный поклон обер-гофмаршала, который в точности исполнил повеления государыни, сохранившиеся на бумаге до наших дней.

Затем императрица взглянула только на тот портрет Каравака, где она была изображе-

на в виде крылатого гения, и не сказала ни слова.

«Увы, – вздохнув, с грустью подумала она, – пора таких портретов для меня безвозвратно миновала...»

– Ты, Михайла Петрович, – сказала она гофмаршалу, – не вели пока убирать отсюда этих портретов. Я приду сюда еще с моими дамами посмотреть их. Желательно мне знать, что они наболтают. После того ты вели этому приезжему мастеру явиться ко мне в назначенный час, и уже я сама скажу ему, как следует писать мою персону, и прикажу ему, когда он должен будет приходить на работу.

Поклонившись слегка всем присутствовавшим и с выражением особой благосклонности вице-канцлеру, государыня вышла из апартаментов. Следом за нею стали выходить и другие, а во главе их и Лесток, но Бестужев слегка удержал его за руку.

– Мне нужно сказать вашему сиятельству несколько слов, – проговорил вице-канцлер взглянувшему на него свысока, через плечо лейб-медикусу.

Алексей Петрович рассчитывал на то, что

после особого внимания, оказанного ему императрицей, и преимущественно после похвалы его капель Лесток увидит в нем своего сильного соперника и сделается несколько уступчивее, но вице-канцлер чрезвычайно ошибся. Самомнивший француз-ганноверец был вовсе не такой человек, чтобы пойти на уступки перед своим противником.

– Я хотел доложить вашему сиятельству, – начал мягким голосом вице-канцлер, – по делу о Брауншвейгской фамилии. Венский двор убедительно, можно даже сказать – слезно просит об освобождении принцессы Анны Леопольдовны, но, к сожалению, ваше сиятельство изволите такой просьбе неодолимую помеху делать. Не соблаговолите ли вы принять по этому делу несколько иные рассуждения?

Лесток нагло смерил Бестужева с головы до пяток и только отрицательно покачал головой.

– Я несколько раз предлагал в совете, – продолжал Алексей Петрович, – отпустить Брауншвейгское семейство за границу на тех основаниях, что, во-первых, обещание, дан-

ное государыней в ее торжественном и всенародном манифесте, должно быть свято исполнено, иначе мы дискредитируем себя перед целым светом, и, во-вторых, потому, что для Российского государства будет гораздо безопаснее, если принц Иван Антонович будет жить вне его пределов, так как о нем в России все скоро забыли бы.

– Нет! Нет! – замахав рукою, вскричал Лесток. – Я только одно скажу на это в ответ вашему сиятельству: пока я жив и пока я что-нибудь значу при дворе, Брауншвейгской фамилии на свободе никогда не бывать. Россия может быть спокойна только до тех пор, пока Анна и ее семейство находятся в тюрьме, а если выпустить их на свободу, то тотчас же начнутся и факции и конспирации. Об этом я твержу императрице чуть ли не ежечасно, да и должен твердить это, охраняя ее спокойствие, а быть может, и самую жизнь. Теперь постоянно обнаруживаются замыслы восстановить Брауншвейгскую фамилию. Да, наконец, должен же я позаботиться и о себе: ведь мне было бы куда как неприятно прогуляться в Сибирь!

Бестужев хотел что-то возразить Лестоку, но лейб-медикус не дал сказать ему ни полслова.

– Каждый, кто только желает добра России, – горячился он, – не станет давать таких – скажу прямо – глупых советов государыне. Да и чего тебе, Алексей Петрович, хлопотать о принцессе, разве теперь тебе худо живется? Верно, тебя подбивает к этому венский кабинет через маркиза Ботта? – с дерзостью спросил лейб-медикус вице-канцлера.

– Точно так же, как тебя к противному подбивает Версальский двор через маркиза Шетарди, – резко отозвался, в свою очередь, Бестужев.

– Не забывай, что мне ты обязан тем, чем ты теперь сделался! – гневно крикнул Лесток, топнув об пол ногою. – Если бы я не предложил государыне оставить тебя на месте, ты теперь валялся бы в грязи.

Бестужев затрясся от злобы:

– Это правда, что ты просил обо мне у государыни, но сам я не просил тебя об этом. Я был вам нужен, и если остался на службе, то затем, чтобы служить моей всемилостивей-

шей государыне а не раболепствовать перед иноземным проходимцем.

Сказав это, Бестужев вышел из комнаты, сильно хлопнув за собой дверью.

Лесток рванулся было вслед за ним, схватившись за рукоятку своей шпаги, но вдруг остановился и громко расхохотался.

– Раболепствовать перед иноземным проходимцем! – повторил он, передразнивая Бестужева. – Скоро же ты, братец, забыл, как сам пресмыкался перед Бироном!.. Ха-ха-ха!..

XIX

В Западной Европе XVIII век, несмотря на все его стремления к просвещению, был веком заблуждений среди так называемого образованного общества. Едва ли когда-нибудь являлось наряду с философией и научными трудами столько шарлатанства, сколько являлось его в ту пору. Главными обманщиками, умевшими морочить и наводить туман даже на людей умных и образованных, могут считаться граф Сен-Жермен и граф Калиостро. И тот и другой, чуждые мистицизма Средних веков, не выдавали себя за людей,

имевших сношения с нечистой силой. Такая похвальба была для той поры, когда они жили, слишком наглою ложью, которой поверили бы только очень темные люди. Тем не менее они облекали таинственностью и свою жизнь, и свои действия и приводили в изумление обширными денежными средствами, какими они, по-видимому, могли располагать. Изобилие у них таких средств заставляло думать, что они владели «философским камнем», имевшим силу обращать медь в золото. Но если те богатства, которые можно было приобретать таким способом, служили сильною приманкою, то еще с большим уважением относились к тем шарлатанам, которые без малейшей застенчивости уверяли людей легковерных, что они изобрели «жизненный эликсир» – такое средство, при употреблении которого можно прожить несколько веков не только без упадка сил, но даже не утрачивая нискольких внешних принадлежностей среднего человеческого возраста.

Понятно, что всякому и всякой желательно было и пожить подольше, и не стариться, и в числе таких лиц была императрица Ели-

завета Петровна, жизнь которой была обставлена и роскошью, и пышностью, и всевозможными земными благами. В сказаниях о ней, дошедших до нас, не сохранилось никаких известий о том, что она имела сношения с какими-либо чудодеями по этой части, но на основании многих данных можно заключить об ее веровании, что Лесток, неусыпно заботясь об ее здоровье, мог поддержать ее красоту и молодость, а вместе с тем и прибавить ей жизни, хотя и в очень скромных размерах.

Ничтожною личностью явился в Россию Арман Лесток. Бог весть как прослушавший, по словам его, медицинский курс, кажется, в Страсбургском университете, славившемся тогда по всей Европе по заготовке ученых мужей вообще, и преимущественно эскулапов. Неважную должность занял он на первый раз в России: он пошел лекарем в какой-то пехотный полевой полк, и на обязанности всех его коллег лежало, между прочим, бритье штаб- и обер-офицеров, состоявших при полку.

Молодому, честолюбивому и сметливому человеку такая должность приходилась не по

душе, и он сумел из полка пробраться в Петербург и поступить на службу при дворе; но тут ему что-то не повезло, так как он «за неосторожное обращение» с дочерью какого-то придворного служителя был спроважен Петром Великим на житье в Казань. Неизвестно, к чему Лесток применил свое «неосторожное обращение» с молодой девушкой: при любовных ли своих похождениях, при какой ли хирургической операции или при прописке своей пациентке какого-нибудь сильнодействующего лекарства.

После побывки в Казани он вернулся в Петербург, попал в качестве хирурга ко двору цесаревны Елизаветы и здесь оказался как нельзя более на своем месте. Как разбитной малый, гуляка и весельчак, он составил себе обширное знакомство во всех петербургских кружках и потому хорошо знал все, что говорилось и делалось в Петербурге. Забирался он то в качестве врача, то в качестве гостя в дома иностранных дипломатов, приезжавших в Петербург, и в особенности сдружился с французским посланником маркизом Шетарди. Они видались друг с другом ежедневно, и Ле-

сток задумал сместить с престола малютку-императора, чтобы посадить на его место благоволившую к нему его пациентку.

Правительница с мужем и со всем своим семейством, Миних, Остерман, Головкин и Левенвольд оказались его политическими пациентами и были отправлены в места пользования по рецептам, прописанным им лейб-хирургом Лестоком, сделавшимся всемогущим лицом в первое время по воцарении Елизаветы. Теперь ему казалось, что он уже избавился от всех своих прежних недругов, из которых в особенности был страшен Миних, собиравшийся если не произвести операцию над головой хирурга, положив ее на плаху, то, по крайней мере, прописать ему хорошее прохладительное врачевание в отдаленнейших местах Сибири. Лесток, однако, увернулся от таких предприятий сурового фельдмаршала и даже сам имел удовольствие спровадить очаковского героя туда, куда Миних собирался препроводить его.

Но вдруг у него явился неожиданный соперник, и кто же – Алексей Бестужев, которому он оказал прежде свое покровительство,

да и какой еще соперник – не только по делам политическим, но и по медицинской части. Бывший полковой эскулап, сделавшийся теперь «архиатером», президентом медицинской коллегии, действительным тайным советником, графом и андреевским кавалером, никак не мог примириться с мыслью, что человек, не посвященный в таинства врачебной науки, стал брать над ним верх даже у императрицы только своими какими-то каплями. Между тем он, Лесток, мог предложить своей державной пациентке бесчисленное количество разных снадобий, о которых, как говорил он с досадою, Бестужев не имел ни малейшего понятия и был в сравнении с ним, Лестоком, круглым невеждою.

Забывая по временам вражду с вице-канцлером по политическим вопросам, Лесток с ожесточением против Бестужева вспомнил свою деятельность около Елизаветы в качестве врача, пользовавшегося ее полным доверием.

Его сильно огорчало, что в последнее время императрица не так уж часто обращалась к нему за советами и за его лекарственными

снадобьями.

– Это ничего, Иван Иванович, само по себе пройдет, – начинала говорить она все чаще и чаще в ответ на предложения Лестока воспользоваться его медицинскими познаниями.

Хотя такие отказы и были ему не по душе, но сильнее всего его раздражало то, что он, входя к государыне, чувствовал бивший ему в нос освежающий запах «бестужевских» капель.

«Она, значит, принимает их и верит в медицинские познания этого неуча. Ну, как эта каналья возьмется лечить ее? – тревожно думал Лесток. – Ведь в самом деле его капли могут в известном приеме возбуждать деятельность нервов, а с примесью других веществ, наоборот, успокаивать их. Между тем в том возрасте, к которому подходит теперь государыня, такое лечение может считаться лучшим пальятивным средством».

Лесток, зная, что медицинское шарлатанство было самою главною причиною его успехов как врача у Елизаветы, побаивался, что, чего доброго, Бестужев начнет предлагать ей

разные изобретаемые им средства, а она, убедившись уже в целебной силе его капель, поверит и в силу других предлагаемых им средств.

Он, однако, жестоко ошибался, думая так о вице-канцлере, который, чуждаясь всякого шарлатанства, был ученым химиком, превосходно знал физиологию – в тогдашнем ее, весьма ограниченном сравнительно с нынешнем, развитии – изучал медицину, как человек в высшей степени любознательный, не имея при этом в виду, как Лесток, никаких корыстных целей. Правда, он начал действовать против «архиатера» и как против врача, но только в совершенно ином направлении.

– Ваше величество, – говорил императрице иногда в своих беседах Бестужев, – медицина как наука – занятие, заслуживающее высокого уважения, но в руках шарлатанов она обращается в черную магию.

Бестужев без намерения, но чрезвычайно удачно вставил слова «черная магия». Такое название медицины привело в ужас императрицу и подействовало на нее гораздо сильнее, нежели все рассудительные и научные

доводы вице-канцлера.

– В настоящее время, – продолжал Бестужев, – медицина делает беспрестанно новые открытия или новые применения существующих уже у нее средств. Но может ли знакомиться со всем этим человек, который, когда-то подучившись кое-чему, не только не следит за тем, что теперь делается учеными, но даже забывает и то, что он знал прежде?

Другие приближенные к императрице лица уясняли смысл подобных речей Бестужева, и государыня мало-помалу убеждалась, что ей нельзя доверяться такому ветрогону, каким Лесток был в молодости, и что теперь он должен быть сущим невеждой по своей части.

Повел Бестужев свою «злокозненную интригу» против Лестока и другим путем. Через Мавру Ивановну Шувалову, рожденную Шепелеву, бывшую любимой камер-юнгферой императрицы, он стал внушать императрице, что она, пользуясь превосходным здоровьем, напрасно лечится, что лечение только попусту изнуряет ее силы. Через нее же довел он до государыни, что всякие притирания и ма-

зи бывают чрезвычайно вредны, что они обыкновенно, уничтожая какой-нибудь прыщик, порождают упорные накожные болезни, которые или излечиваются с трудом, или иногда вовсе не излечиваются. Все эти суждения о врачевании, передаваемые императрице, были направлены собственно на Лестока. Он вскоре потерял у императрицы всякий кредит как врач, а потеря такого кредита была первым шагом и к падению его как государственного человека, пользовавшегося особым доверием государыни.

XX

В десятых годах прошлого столетия в императорско-австрийских войсках находился молодой офицер маркиз Антоний Ботта д'Адорно, итальянец, родом из Павии. Он считался не только сведущим и храбрым офицером, но и чрезвычайно ловким и тонким человеком, почему венский кабинет стал употреблять его и по делам дипломатическим, и в 1737 году маркиз был назначен австрийским посланником в Петербург. В это время он уже был фельдмаршалом-лейтенантом,

гофкригсратом и камергером. В Петербурге он устроил, к большому удовольствию своего двора, брак принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны с принцем Брауншвейгским, родственником жены императора Карла VI. Хотя маркиз и пользовался на своем посту, как и все вообще австрийские и цесарские послы, особым почетом, но, чувствуя себя более воином, нежели дипломатом, он при открытии войны Австрии с Турцией просил венский кабинет отозвать его из Петербурга, так как очень желал участвовать в начавшейся войне. Воинственный азарт маркиза был удовлетворен, и он, повоевав с турками, возвратился в 1740 году в Петербург на прежнее свое место.

Хотя по расчету австрийской политики маркизу следовало поддерживать Брауншвейгскую династию на русском престоле, но он дал маху, допустив своего противника, французского посла маркиза Шетарди, самым деятельным образом участвовать в перевороте, произведенном в пользу цесаревны Елизаветы и клонившемся во вред Австрии. Новая русская государыня была отъявленной сто-

ронницей Франции, враждовавшей с Австрией. Надобно, впрочем, сказать, что Ботта снял с себя предварительно всякую ответственность, сообщая венскому кабинету о предстоящей в России перемене и испрашивая в гофбурге, что ему делать. Но на такой запрос ему никакого ответа дано не было, а когда воцарилась Елизавета, то он получил из Вены инструкцию: держать себя в стороне от всякого вмешательства во внутренние дела России.

– Так как я пользовался особым расположением бывшей правительницы, то я желал бы знать: будет ли приятно ее величеству императрице мое дальнейшее пребывание при ее дворе? – обратился Ботта с запросом к великому канцлеру князю Черкасскому, и на этот запрос императрица приказала объявить маркизу, что «он ей наиболее угодный министр».

По наружности Елизавета относилась к нему чрезвычайно благосклонно, приглашала его к себе на вечера и играла с ним постоянно в карты. Во время игры маркиз не раз сетовал, что петербургский климат для него вреден. Говорил он также, что хотя и считает за особенную честь быть представителем

римско-немецкого императора при дворе ее величества, но, прослужив так долго в военной службе, он до такой степени свыкся с нею, что желал бы снова вступить в нее. Разумеется, что императрица выражала свое сожаление, что ей придется расстаться с человеком, который приобрел и ее любовь и ее уважение. Маркиз настаивал, однако, на своем отзыве, который, наконец, и состоялся, и он в декабре 1742 года, в бытность государыни в Москве, имел у нее прощальную аудиенцию. На этой аудиенции государыня расталась с маркизом дружественным образом.

Думала, однако, Елизавета о хитром итальянце совершенно иначе. Она была уверена, что Ботта жил в России, надеясь улучить благоприятную пору, чтобы произвести новый переворот для восстановления павшей правительницы. Не забывала Елизавета и о тесной дружбе Ботта с Левенвольдом. Маркиз жил с ним в Петербурге по соседству и видался ежедневно. Она была почему-то уверена, что венский кабинет назначил в распоряжение маркиза 300 тысяч рублей для подкупа министров, и, подметив, что вице-канцлер мешал-

ся, бледнел и краснел, когда при нем говорили о маркизе, была уверена, что Ботта дал ему 20 тысяч рублей, о чем подшепнул ей ловко Лесток.

В особенности же раздражало государыню то, что Ботта, исполняя полученные им из Вены инструкции, настойчиво ходатайствовал о скорейшем отъезде бывшей правительницы из Риги за границу.

– Ботта, – говорила однажды Елизавета вице-канцлеру, – не имеет никаких причин, чтобы так много думать о себе, и если он будет важничать, то может отправиться куда ему угодно. Мне дороже дружба людей, которые не оставили меня в тяжелую пору, чем расположение нищей королевы венгерской.

Не нравилось также Елизавете, что Ботта вел дружбу с приверженцами прежнего правительства: с Лопухиным, с графиней Ягужинской (сестрою Головкина), Лилиенфельдами, которые хотя и не были привлечены к делу Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина, но считались так называвшимися в ту пору «намеченными» людьми, то есть такими, за которых следовало взяться при пер-

вом же на них указании или ввиду обстоятельств, наводящих на них какое-либо подозрение.

Часто собиравшийся небольшой кружок из этих лиц с грустью вспоминал о временах правительницы, когда было для них не то, что теперь, и высказывал желание, чтобы принцесса Анна, если уж нельзя восстановить ее во власти, по крайней мере, не томилась бы в тяжелом заточении.

Среди этих лиц, роптавших на правительство, Ботта, поборник интересов Брауншвейгского дома, был как нельзя более кстати. Он горевал вместе с ними, а порою с дипломатическою двусмысленностью делал намеки, что в скором времени все должно будет перемениться, давая тем разуметь, что царствование Елизаветы, при пособии ее недругам со стороны венского кабинета, должно будет прекратиться.

Такие намеки хотя и утешали Бестужеву и Лопухину, но им становилось страшно при мысли, что Ботта затевает в подражание маркизу Шетарди какое-нибудь отважное дело. Они предвидели, что при неудачном исходе

такой затеи должны будут жестоко поплатиться все не только близкие к нему лица, но и те, которые были с ним в хороших отношениях и только вели с ним обыкновенное знакомство.

– Нет, господин маркиз, «не заваривайте каши», – просили его испуганные дамы. – Бог знает, удастся ли вам сделать то, что сделал Шетарди. Сообразите только, что в случае неудачи кроме вновь захваченных ваших единомышленников будут в ответе и бывшая правительница, и все прежние ее доброжелатели.

– Снова возьмутся за Левенвольда, – с ужасом проговорила Лопухина.

– И за моего несчастного брата, – со слезами на глазах добавила Бестужева. – Начнутся страшные пытки, и их, теперь ничему уже не причастных, обвинят во что бы то ни стало. Я вся дрожу при одной только мысли о той ужаснейшей казни, какая неизбежно постигнет их.

– Нет, маркиз, бога ради, не затевайте ничего. Это будет бесполезно, – упрашивали обе дамы самодовольно улыбавшегося Ботта.

Опасения, внушаемые им австрийским посланником, были, однако, напрасны. Развязный с ними на словах, Ботта не думал предпринимать ничего решительного на деле, тем более что, ожидая отзывных грамот, готовился уехать из России, предоставляя заступившему его барону Нейгаузу действовать в пользу Брауншвейгской фамилии так, как сам барон найдет нужным.

Впрочем, не только Нейгаузу, но и маркизу Ботта д'Адорно трудно было тягаться с влиянием французской политики, бравшей при Елизавете заметный перевес над австрийскою, сторонником которой был вице-канцлер Бестужев. При неспособности канцлера князя Черкасского к ведению дел он имел в своих руках всю дипломатическую переписку. Кроме того, так как Черкасский не говорил ни на каком другом языке, кроме русского, то иностранные послы не могли вести с ним непосредственно словесных переговоров.

Французская дипломатия употребляла все усилия, чтобы уронить вице-канцлера во мнении государыни. Старательно работал

над этим Шетарди, но без успеха. Он, вследствие упорства Бестужева, не мог добиться тех уступок, какие требовала Франция от России в пользу своей союзницы Швеции, начавшей при правительнице Анне войну с Россией в угоду Франции. Видя, что Шетарди не мог ничего сделать в Петербурге, версальский кабинет отозвал его, поручив д'Альону «погубить» Бестужева; но и происки этого нового губителя не привели ни к чему, и французский государственный секретарь д'Амло, узнав о желании императрицы видеть при ее дворе опять Шетарди, снова отправил маркиза в Петербург.

Императрица любила Шетарди не только за оказанные им ей услуги, но еще и за любезность и остроумие.

– Никто не умеет так мило шутить, как мой дорогой маркиз, – говаривала Елизавета, вспоминая о том времени, которое она так приятно приводила в его всегда игривой и находчивой беседе.

Не дремали, однако, главный противник Франции и его «адгеренты». Они подготовили маркизу не ту встречу, какую он ожидал у им-

ператрицы. Он ехал к ней как деятельный дипломат, надеявшийся направлять политику русского кабинета, но когда весною 1742 года он явился в Москву, то там был встречен не более как только приятный гость. Попытался было он вмешаться в мирные переговоры России с Швецией, но вице-канцлер очень вежливо попросил его не утруждать себя этого рода хлопотами, заявив, что русский кабинет твердо решился помириться с Швецией без всякого постороннего вмешательства.

Еще больший удар, по внушению Бестужева, был нанесен самолюбию маркиза, когда он, испросив у государыни аудиенцию для объяснений по делам, получил на то разрешение. Но как сильно был раздражен он, когда, приехав во дворец в назначенный час, не тотчас же был принят государыней. Его попросили пообождать, и ждать ему пришлось несколько часов. Правда, что он в это время не скучал нисколько, так как в том апартаменте, где он ожидал, находились фрейлины, с которыми он шутил и балагурил. Но и в этой чрезвычайно приятной для него беседе он терзался мыслью, что государыня не ока-

зывает ему прежнего внимания, что теперь не та пора, когда она при докладе о нем во всякое время спешила к нему навстречу, говоря, что с нетерпением ожидала его.

Обиженный настоящим, далеко не ласковым приемом, маркиз тревожился вопросом о том, что заговорят придворные, узнав, что государыня, назначив ему определенный час и будучи дома, заставила его ждать так долго. И маркиз с худо скрываемым волнением вынимал беспрестанно часы из кармана своего камзола и, казалось, отсчитывал по ним каждую минуту.

– Верно, вам, господин маркиз, с нами очень скучно, что вы так смотрите на часы? Как жаль, что мы не умеем занять вас, – сказала шутливо одна из фрейлин.

– Может ли мне, простому смертному, – восторженно отвечал Шетарди, – быть скучно среди таких прелестных нимф? Но напрасно я стал бы скрывать перед вами мое нетерпение предстать поскорее пред вашей богиней; это не только мое желание, но и моя обязанность. О, не будь у меня этой обязанности, я никогда и ни за что не вышел бы из этого прекрасного

цветника, – любезничал маркиз, добавляя свои комплименты такими изящными поклонами, которым позавидовал бы балетмейстер Фузано, обучавший фрейлин танцам.

Вошедший в это время в приемную залу камердинер императрицы пригласил его превосходительство пожаловать к государыне.

Императрица встретила Шетарди очень приветливо, но без тех дружеских заявлений, на которые он рассчитывал, и не извинилась даже, что так долго заставила его ждать. Теперь, очевидно, было не то, что прежде, и Шетарди заметил, что после первого приветствия императрица в обращении с ним сделалась холодна и сдержанна.

Разбитной француз по старой привычке позволил себе спросить императрицу о причинах той перемены, какую он замечает со стороны ее величества в отношении к нему. В ответ на этот вопрос императрица произнесла несколько невнятных слов, которые никак не могли быть приняты за откровенное объяснение. При этом она, заговорив о своем нездоровье, сетовала на Лестока, не умевшего врачевать ее недуги.

Намек этот был вполне ясен для Шетарди, находившегося в самой тесной дружбе с лейб-хирургом. Маркиз, однако, нисколько не смутился и стал с горячностью защищать своего друга, который был так необходим ему для исполнения его политических планов.

– Я согласен с вашим величеством, что теперь граф Лесток не может уже врачевать с прежним успехом, так как он среди забот о государственных делах неизбежно должен был отстать от своей прежней специальности. Но соблаговолите, государыня, согласиться со мной, что если вы благодаря вашей превосходной натуре, вашему цветущему возрасту и можете обходиться без господина Лестока, то, во всяком случае, вы не захотите забыть те услуги, которые вам оказал он – не смею сказать – как ваш друг, но как безгранично преданный вам доброжелатель и один из вернейших ваших слуг...

Императрица сделала вид, что не обращает внимания на заступничество Шетарди, и подумала, что капли, изобретенные Бестужевым, помогают ей гораздо лучше, нежели все лекарственные снадобья, прописываемые ей

президентом медицинской коллегии.

– Впрочем, – продолжал маркиз, – статься может, и я утратил прежнее ваше милостивое ко мне внимание. Как мне тяжело, особенно если вспомню те счастливые дни, когда я имел счастие пользоваться такою близостью к особе вашей. Вспомните, государыня, сколько тревог, сколько опасностей пришлось тогда пережить преданным вам людям, а в число их ваше величество не откажетесь, конечно, включить и Шетарди. Могу смело сказать, что он готов был отдать свою жизнь за ваше благоденствие...

– О, я в этом никогда не сомневалась, да и теперь не сомневаюсь, любезный господин Шетарди, – ласково глядя на маркиза, проговорила Елизавета.

– Так неужели, ваше величество, в память всего прошедшего вы не соблаговолите удостоить меня прежнего вашего доверия и не позволите мне с полною откровенностью беседовать с вами о делах политических? Я вполне уверен, что такие беседы послужили бы в пользу и России и Франции...

– О господин маркиз, – торопливо прерва-

ла государыня, – что касается дипломатических вопросов, то я решительно отказалась от всякого участия в этой путанице, и если вам что-нибудь нужно сообщить относительно политических дел, то потрудитесь обратиться к моим министрам, и когда между вами и ими состоится какое-либо соглашение, мне останется только утвердить то, что постановите вы и они.

Шетарди пожал плечами:

– Но я надеялся, государыня, иметь счастье вести переговоры непосредственно с вашим величеством; так понял и версальский кабинет желание ваше видеть меня снова при вашем дворе.

– Для меня всегда приятно видеть вас в числе самых избранных моих гостей, но повторяю еще раз вашему превосходительству, что по всем делам вам, как и представителям всех других держав, аккредитованным при мне, следует обращаться к моим министрам, и я не считаю себя вправе делать какое-либо исключение из этого порядка.

Видя упорство императрицы, Шетарди, скрыв свою досаду, перевел разговор на дру-

гие предметы и рассыпался, как всегда, в блестках красноречия, остроумия и любезности.

XXI

Прямо из дворца Шетарди отправился к Лестоку, который, переехав с императрицей в Москву, успел уже и там обставиться превосходно. Он купил себе в Москве дом, отделал его великолепно и попросил государыню почтить его новоселье своим посещением. По этому случаю императрица, вместо хлеба-соли, подарила Лестоку драгоценный перстень в десять тысяч рублей и превосходный серебряный сервиз, стоивший, по крайней мере, двенадцать тысяч рублей, а жене его – золотой головной убор, осыпанный рубинами и бриллиантами. В ту пору у Лестока было много друзей и приятелей, и все они, воспользовавшись тем, что он праздновал свое московское новоселье, сделали ему множество разных дорогих подарков.

В этом доме Лесток и поджидал теперь приезда Шетарди из Головинского дворца. Так как и Лесток и Шетарди любили побесе-

довать за хорошим завтраком, обедом или ужином, то сообразно с тем временем, когда должен был приехать маркиз, в столовой у Лестока был приготовлен для дорогого гостя роскошный завтрак. Все, что только мог придумать и достать в Москве самый прихотливый вкус по съестной части, должно было быть предложено маркизу, который и сам любил и умел принимать своих гостей, восхищавшихся изысканностью его обедов и ужинов и тонкостью подаваемых у него вин.

Хозяин, подстрекаемый не только желанием поскорее побеседовать со своим приятелем, но вдобавок к тому и все более разыгрывавшимся аппетитом, нетерпеливо ожидал приезда маркиза и терялся в догадках насчет причин, которые могли бы задержать Шетарди.

«Вероятно, государыня задерживает его у себя», – думал Лесток в то время, когда маркиз беседовал с фрейлинами и волновался от досады, что императрица так долго не принимает его.

– Это хорошая примета, – проговорил Лесток, потирая от удовольствия руки. – Вдвоем

мы отлично сладим с Бестужевым.

В это время на дворе, на который выходил главный фасад дома Лестока, послышался грохот кареты, и Лесток, взглянув в окно, увидал подъезжавшего к крыльцу маркиза. Обрадованный лейб-хирург побежал на лестницу, чтобы встретить давно ожидаемого гостя.

– Ну, что? Как дела? – заторопился Лесток, почти столкнувшись с Шетарди на лестнице.

– Нельзя ничего предвидеть хорошего, мой дорогой друг! – проговорил печальным голосом гость.

– В таком случае мы сядем поскорее завтракать, и за бутылкой хорошего вина ты расскажешь мне свое горе. По крайней мере, тогда вино развеселит нас, – болтал по-французски Лесток.

– Прежде всего я должен сказать тебе, мой милый хозяин, что я ужасно проголодался. Государыня заставила меня ждать почти три часа, – сказал маркиз, бросая на стол свою треуголку с белым как снег плюмажем и радужно блестевшею на ней бриллиантовой петлицей.

При этом известии на лице лейб-медика

появилось выражение неприятного изумления.

Разговаривая между собою, гость и хозяин сели за завтрак, который по слишком позднему для тогдашнего распределению времени дня мог считаться уже обедом.

– Я не нашел в ней, – с раздражением продолжал Шетарди, – ни прежнего внимания, ни прежнего расположения ко мне. Она, кажется, стала совсем иная. В ней я не заметил ни малейших следов признательности, а кажется, ей не следовало бы забывать, что я для нее сделал.

– Да и я, – подхватил Лесток, – тоже поработал в ее пользу: голова едва уцелела на моих плечах. Между тем я ясно вижу, что и ко мне она относится совсем уже не так, как относилась в первые дни ее воцарения, когда слова благодарности не сходили с ее губ. Теперь же, скажу тебе откровенно, мой добрый и старый друг, что я, сам не знаю почему, начинаю побаиваться, на меня начинает веять от нее каким-то необъяснимым страхом, и это чувствую не я один, но и другие. Кто поверит, что я вхожу к ней с замиранием сердца, и точно

какой-то тайный голос подсказывает мне, что она будет если не виною, то причиною моей пагубы.

Лесток призадумался, а Шетарди расхохотался снова и, принявшись за закуску, запивал с большим удовольствием съедаемое превосходным бургонским.

– Что ж, однако, могло расстроить твою прежнюю к ней близость? – спросил маркиз, ставя на стол опорожненный им стакан.

– Смешно сказать, «бестужевские капли». – И Лесток принялся рассказывать, как ловко был подорван у императрицы его кредит как врача.

– Да ведь ты, мой друг, – засмеялся Шетарди, – уже не медик. Ты стал государственным человеком и, следовательно, мог и должен был поддерживать свой кредит не рецептами, а другими способами, соответствующими твоему высокому положению. Что же подорвало твой кредит в этом отношении?

– Бестужевская политика. Тебе известно, что он непримиримый враг Франции и сторонник Австрии, то есть составляет совершенную противоположность тому, чем был и

будет всегда ваш покорнейший слуга...

– А, теперь я понимаю, почему императрица так настоятельно предлагала мне обращаться к ее министрам или, собственно, к одному Бестужеву, потому что чучело князь Черкасский ничего не значит, а всем заправляет вице-канцлер. Следовательно, ее величество прямо наталкивала меня на неудачу.

– Да, с ним, мой друг, ты никак не сойдешься, и я сам не знаю, кто из нас кого одолеет, – вздохнув, добавил Лесток.

– Если ты, мой друг и любезный хозяин, – начал шутить маркиз, – потерял кредит как врач, то согласись, что этим воздано тебе должное. Ведь ты был преловким шарлатаном.

Лесток расхохотался. Начались дружеские воспоминания о былом. Оба француза развеселились от души и за бокалами шампанского провели весело время до вечера.

Шетарди начал собираться домой.

– Останься у меня. Скоро соберется ко мне кое-кто. Будет, между прочим, и генерал-прокурор князь Трубецкой. Правда, он вообще иностранцев не слишком жалует, но, по

непримиримой ненависти к немцам, он оказывает нам, французам, некоторое расположение, а главное – он ожесточенный враг вице-канцлера. Этого уже достаточно, чтобы мы сблизились с ним. Хотя он сам по себе человек вовсе ничтожный, но все-таки он может в иных случаях кое на что пригодиться. Да и, кроме того, мы заложим сегодня отличный банк...

Маркиз принял очень охотно приглашение радушного хозяина.

Продолжая разговор о том, в какие отношения к императрице было бы лучше всего поставить себя маркизу, Лесток и Шетарди полагали, что личной неприязни государыни к французскому послу быть не может, но что она, сочувствуя теперь по внушению Бестужева Австрии, не хочет отдавать Франции никакого предпочтения в лице ее представителя. Они решились выжидать перелома в такой неблагоприятной для них политике, а между тем как нельзя более усердно действовать для того, чтобы побороть ее виновника.

Действительно, после первой аудиенции, на которую так спешно напросился маркиз,

желая явиться ближайшим руководителем государыни по внешним делам, Елизавета стала оказывать Шетарди всевозможное внимание, приглашая его и на вечера, и в «комедию», то есть в придворный театр.

Несмотря на такое внимание, государыня устраняла каждый раз попытку маркиза заговорить с нею о делах, повторяя одни и те же слова: «Обратитесь по делам к моим министрам».

Оказывала она маркизу и другого рода любезности. Однажды Елизавета отправилась во главе огромной кавалькады, в сопровождении графа Морица Саксонского, явившегося в Москву в качестве запоздалого, а вместе с тем и неудачного жениха Елизаветы, а также в сопровождении Шетарди. На пути захватил императрицу дождь. Она предложила своим путникам укрыться в Кремле и воспользовалась этим, чтобы лично показать маркизу царские сокровища, хранившиеся в Оружейной палате, а после этого осмотра объявила послу о своем намерении отужинать у него сегодня же вечером. Богатый и тороватый маркиз предвидел возможность такого лест-

ного посещения, а потому у него все было наготове на такой случай: и иллюминационные транспаранты с бурбонскими лилиями и двуглавыми орлами, и два фонтана с винами около подъезда, а в столовой зале накрыты были три великолепно сервированных стола для самого роскошного ужина.

Императрица прежде всего осмотрела нанятое французским посольством на время пребывания в Москве великолепное помещение и, войдя в ту залу, где висел портрет короля Людовика XV, которого ей некогда прочили в женихи, остановилась перед портретом, поклонилась и долго смотрела на него. В конце ужина она провозгласила тост за здоровье короля и уехала из дома посольства чрезвычайно довольная оказанным ей там приемом, пробывши у Шетарди до шести часов утра. «И уехала от меня, затмив своей красотою восходившее солнце», – добавлял в своем донесении об этом Шетарди, не обходившийся никогда без комплиментов дамам, хотя бы говорил или писал о них заочно, даже своему начальству.

XXII

Несмотря на свое прежнее убожество, Лесток всегда умел жить в довольстве и среди обстановки, далеко превышавшей как его наличные денежные средства, так и те, на которые он мог так или иначе рассчитывать.

Бывший полковой эскулап жил теперь богатым барином. Кроме прекрасного городского дома в Петербурге он построил еще для себя, по плану знаменитого Растрелли, каменный загородный дом, приобрел еще дом в Москве и зажил там открыто. Раз в неделю собирались к нему на вечер все бывшие в Москве с государынею «знатные персоны», «придворные дамы» и «придворные кавалеры».

Ведя всегда веселую, а в молодости разгульную жизнь, Лесток любил повеселиться и угостить своих приятелей и знакомых, которые и собирались в большом числе к нему в тот вечер, на который он пригласил остаться маркиза. Угощение у него и в этот вечер – как это, впрочем, водилось и всегда – было на славу. Живя уже давно в тесной дружбе с Шетар-

ди, от которого Лесток позаимствовал много утонченностей по гастрономической части, Иван Иванович хотел теперь подражать такому пышному амфитриону[16], каким не только считался, но и был на самом деле маркиз. В Петербурге, как и в Москве, Шетарди, следуя русскому обычаю русских бар, держал открытый стол, но стол его слишком разнился от того, чем угощали своих столовников русские баре. У этих последних приходившим без зову гостям подавались самые простые, незатейливые, без всяких приправ кушанья, с постановкой на стол водки, домашних настоек и наливок, тогда как маркиз потчевал своих гостей самыми изысканными блюдами, художественно приготовленными его метрдотелем, который пользовался громкою известностью как в Париже, так и всюду, куда он сопровождал своего господина. Простые крепкие напитки, предлагаемые при русско-барском угощении, заменялись у Шетарди самыми лучшими винами иностранных марок.

Лесток подражал примеру, подаваемому ему относительно обстановки домашней жизни таким тонким ее знатоком, каким был Ше-

тарди, и устроил свой дом и свое как петербургское, так и московское хозяйство на широкую ногу.

В расшитом золотом кафтане – а такие кафтаны в ту пору были еще редки, – в превосходно зачесанном парике, в тончайшем кружевном жабо и с такими же пряжками на башмаках, Лесток, со свойственной французам любезностью, встречал своих гостей, благодаря одних за честь, а других за удовольствие, которые они доставили ему своим посещением.

В нескольких комнатах были расставлены ломберные столы для желавших играть в карты. Карточная игра сделалась самым обычным способом времяпровождения при дворе Анны Ивановны, не любившей танцев. В молодости Елизавета Петровна была страстная охотница до них и на вечерах – по словам французского посланника Юзон д'Альона – она «при первом ударе смычка бежала опрометью в большую залу, прерывая самый серьезный разговор». С годами она все более и более начинала любить карточную игру, и в последние годы ее жизни такая игра сдела-

лась главным и даже единственным ее развлечением. Хотя в ту пору, о которой говорится теперь, карты не занимали еще императрицу слишком сильно, но тем не менее она не отказывалась от них. Вообще же при дворе и в знатных домах велась огромная игра, и в этом отношении дом президента медицинской коллегии был не из последних.

Сам Лесток был бешеный игрок, и в прежнее время, при неимении собственных средств и при часто случавшихся весьма чувствительных проигрышах, вел громадную игру на деньги Шетарди, представляя ему, и небезосновательно, что большая игра поддерживает связи с обществом и что такие связи необходимы и ему, Лестоку, и ему, Шетарди, чтобы вести с успехом предприятие, задуманное ими обоими в пользу цесаревны.

Маркиз, знавший все условия общественной жизни, понимал, что карты служат одним из самых надежных средств для сближения между людьми, и, соглашаясь с доводами игрока-медика, отсыпал ему золото щедрою рукою, как один из снарядов, пригодных для достижения их общей цели; но мосье Арман

сплошь и рядом проигрывал получаемые им субсидии в такой среде, от которой никак нельзя было ожидать какой-либо поддержки его политических замыслов.

Увидев, что все гости или расселись за карты, или составили из себя особые кружки для беседы, или собрались в танцевальную залу, Лесток, полюбезничав с дамами, отправился в ту комнату, где происходила главная карточная баталия. Там на столе, покрытом зеленым сукном, лежали то столбиками, то вразброс ярко блиставшие червонцы, раздражавшие алчность игроков. Червонцы эти быстро переходили в карманы, а иногда, при громадности выигрыша, и в шляпы счастливых игроков.

Лесток принял участие в этой игре. Счастье везло ему чрезвычайно, когда бывший около стола маркиз стал сперва слегка, а потом все сильнее подергивать Лестока за рукав его кафтана и, наконец, воспользовавшись перерывом в игре, отозвал его в сторону.

– Ты, мой любезный Арман, ведешь себя не совсем так, как следует вполне добропорядочному хозяину, – полушутя и полунаставитель-

но сказал маркиз. – Ты жестоко обыгрываешь своих гостей. В чужом доме обыгрывание допускается, но у себя, когда идет непомерное счастье, нужно приостановиться. Забастуй и пойдем со мной к канцлеру; мне нужно кое-что сказать ему, а ты будешь моим переводчиком.

Не обижаясь нисколько замечанием Шетарди, Лесток подошел к игорному столу и свел счеты.

– Кому, господа, будет угодно отыграться, я буду во всякое время к услугам каждого, а сегодня, как вы видите, идет ко мне безумное счастье, и я не желал бы, пользуясь им, опорожнять у себя в доме кошельки и карманы моих милых гостей. Я предоставляю себе иметь удовольствие в другом месте, – добавил он с шутливою любезностью.

В одной из комнат маркиз и хозяин нашли канцлера князя Черкасского, разговаривавшего, или, вернее сказать, бурчавшего с каким-то старым генералом, который, видимо, старался отвязаться от докучного высокого сановника, придерживавшего его за борт мундира.

– Я позволю себе воспользоваться свиданием с вашим сиятельством и услугой любезного хозяина, чтобы сообщить вам, господин канцлер, данное мне версальским кабинетом поручение.

Лесток передал по-русски слова маркиза, и было заметно, что Черкасский остался очень доволен обращением к нему Шетарди. Князь поотвык уже от такого внимания, так как вице-канцлер был главным заправилою и с Черкасским никто из послов не находил даже нужным и объясняться; но искательный маркиз счел нелишним потешить старика почетом, принадлежавшим ему по его высокой должности.

– Версальскому кабинету было неприятно сделанное в России распоряжение о неупотреблении русскими дамами на платьях дорогих французских материй. Меня очень огорчают самые ничтожные пререкания нашего кабинета с мудрым правительством ее величества, но в настоящем случае я решаюсь возбудить их, так как являюсь защитником прекрасного пола, к которому принадлежит и ваша божественная государыня. Распоряжение

об ограничении роскоши в России направлено прямо против Франции. До сих пор произведения наших шелковых лионских фабрик имели в Петербурге, а отчасти и в Москве очень хороший сбыт, между тем ныне сбыт их значительно уменьшился.

– Против Франции никакой злокозненной факции тут не было и нет, – забормотал Черкасский, – тут была только воля всемилостивейшей нашей государыни, и закон издан для блага всей российской нации, так как ее величеству, по благополучном восприятии Российской державы, благоугодно было тотчас же пресечь ту неистовую роскошь, коя стала господствовать у нас при бывшей правительнице. Ее императорское величество находит, что пример воздержания от роскоши знатных персон воздействует благоприятно и на всю российскую нацию.

Лесток перевел речь князя, слегка подталкивая под локоть маркиза.

– Какой вздор мелет этот дурак, – добавил от себя Лесток. – Трудно передать хорошо по-французски его болтовню.

– Я как нельзя более удовлетворен объяс-

нениями вашего сиятельства, – сказал маркиз, отвешивая почтительный поклон Черкасскому. – Я передам нашему министерству все то, что вы изволили высказать так основательно и с прямодушием, столь редким при щекотливых дипломатических вопросах. Вероятно, наше министерство, безусловно, согласится с доводами вашего сиятельства и взглянет на это дело иными глазами, отстранив недоразумения, которые хотят вызвать наши общие недоброжелатели.

Маркиз и Лесток, насмешливо улыбаясь, отошли от канцлера и остановились от него поодаль, весело разговаривая между собою и беспощадно остря над Черкасским, когда до слуха их долетело имя Бестужева, упоминаемое в другой кучке тоже остановившихся в зале гостей. Для Лестока имя это сделалось ненавистно, и он благодарил судьбу, что вице-канцлер тотчас после коронации императрицы уехал в Петербург, выводя тем своего врага из крайне затруднительного положения, так как Лесток был бы обязан пригласить Бестужева к себе и сам ездить к нему. Теперь для того и другого была своего рода от-

радная передышка.

В той кучке гостей, где произносилось имя Бестужева, упоминалось и имя принца Гессен-Гомбургского, состоявшего генералом русской службы. Предметом разговора было донесение Бестужева о тех «продерзостях», которые позволял себе принц во время отсутствия государыни в Петербурге. Враждуя с принцем, Бестужев обвинял его, как главнокомандующего войсками, оставшимися в Петербурге, в том, что «5 сентября, во всерадостнейший день тезоименитства ее императорского величества, стрельбы беглым огнем не было»; что во французской комедии принц сидел со своей супругою один близ места императрицы, не пригласив ни обер-гофмейстерину, ни знатных персон; что «мелкое офицерство» пускалось в ложи, а иностранным министрам мест не было; что те из них, которые возвратились с коронации из Москвы в Петербург, должны были дожидаться своих колясок полчаса, как об этом сказывал Бестужеву обер-конфузионмейстер граф Сантий, – потому что, по распоряжению принца, «незнатные коляски караульные пропускали».

В другом своем донесении вице-канцлер сообщал из Петербурга государыне, что «портные подмастерья, будучи в здешней публичной комедии и злобясь, что одна о портных пиеса представлена, собравшись, комедиантов били» и что принц сперва велел забрать подмастерьев, а потом приказал выпустить их, «хотя ему, – добавлял Бестужев, – ни в какие статские и гражданские дела вмешиваться не велено».

Так как разговор об этом происходил в доме заклятого врага Алексея Петровича, то участвовавшие, в угоду хозяину, порицали Бестужева, оправдывая, как могли, распоряжения принца, хотя, без всякого сомнения, в другом месте принцу сильно доставалось за его «продерзость в всерадостнейший день», за его невнимание к знатным персонам и за его своевольные распоряжения с портными подмастерьями.

Заслышав упоминание о принце Гомбургском, к кружку разговаривавших подошел и князь Никита Юрьевич Трубецкой, которому принц был свой человек, так как он был женат на сестре его, княжне Анастасии Юрьев-

не. Трубецкой тоже вмешался в разговор и, как человек грубый и неблаговоспитанный, принялся отделывать Алексея Петровича на разные лады. Он теперь имел своего рода силу. Во время коронации императрицы он был верховным маршалом и старался угодить не только ей самой, но и приближенным к ней дамам, оказывая им разные мелочные услуги. Вследствие этого и Авдотья Ивановна Чернышева, рожденная Ржевская, некогда любимая Петром I, и Мавруша, или Маврутка Шувалова, жена Петра Ивановича, ровесница и первая наперсница Елизаветы, и Скавронская, и Анна Карловна Воронцова, двоюродная сестра императрицы, чрезвычайно благоволили к Трубецкому и поддерживали расположение к нему императрицы.

От кучки гостей Трубецкой перешел к хозяину.

– Вот сейчас слышал я толки об Алешке Бестужеве: дельно о нем, каналье, толкуют. Уж поймаю я его когда-нибудь, и от меня он не увернется, а если мне это удастся, то доведу я его до того, что он сложит голову на плахе, – сказал Трубецкой.

– В вашей справедливости и в вашей настойчивости нельзя, князь, и сомневаться. Вы настоящий генерал-прокурор: вы были так справедливы даже в отношении вашего зятя, графа Головкина, – отозвался Лесток, хотя и примирившийся наружно с князем, чтобы совокупными силами действовать против Бестужева, но в душе не терпевший его за его ненависть к иноземцам. Лесток хорошо знал, что Трубецкой был бы не прочь расправиться круто и с ним самим. Напоминанием же о Головкине ядовитый Лесток хотел кольнуть князя, судившего своего зятя.

– Да, братец, – резко сказал Трубецкой, – я расправился с ним, как ты со своей свояченицей, Юлькой Менгден. Оба мы молодцы! – И при этих словах генерал-прокурор обернулся спиной к Лестоку, кольнув его, в свою очередь, ссылкой баронессы Юлианы Менгден.

В откровенных своих беседах с Шетарди Лесток высказывал сожаление, что он возвысил Бестужева и Воронцова, надеясь найти в них поддержку своей политике, но что они, вместо благодарности, не оказали никакого содействия его видам и что поэтому он упо-

требит все средства, чтобы лишить их кредита, доброго имени и даже жизни.

Готовя пагубу вице-канцлеру, Лесток рассчитывал, что после падения Бестужева иностранные дела будут поручены Семену Нарышкину или князю Антиоху Дмитриевичу Кантемиру, или – что еще лучше – Румянцеву, при котором он и Шетарди надеялись действовать через его жену, чрезвычайно ловкую интриганку.

Вообще положение графа Алексея Петровича Бестужева казалось очень непрочным к тому времени, когда императрица, после своей побывки в Москве с марта 1742 года, возвратилась в опустевший на это время Петербург только 31 декабря того же года.

XXIII

Бергеру жилось в полку очень плохо. За свои недобрые качества он был нелюбим товарищами; как сварливый человек, он перессорился со всеми ими и, как сплетник и болтун, перессорил и их чуть ли не всех между собою. Заносчивость его и наглость не могли привлечь к нему его сослуживцев. Он считался вралем и пустомелей и прослыл человеком злым и нечестным. В первое время своей службы Бергер, по крайней мере, считался усердным и исправным офицером, но разгульная жизнь приучила его к лени, небрежности и распущенности. Ходила о нем молва, что он не прочь и понаушничать старшим на младших, но потерпел в этом неудачу, так как, желая подслужиться и выскочить вперед, он или выдумывал то, чего никогда не бывало, или пустой случай преувеличивал до такой степени, что он представлялся ужасным событием.

В денежном отношении ему также не везло. Он уже давно спустил дочиста то небольшое состояние, которое успел когда-то ско-

пить его отец трудовою жизнью. Между тем деньги для него требовались в значительном количестве и на карточную игру, и на веселые гулянки. Он занимал где только мог и был кругом в долгах, которых не только не думал платить, но еще с грубостью и злостью относился к своим заимодавцам. Начальство Бергера очень радо было бы сбыть от себя такого непригодного офицера, но Бергер умел или искусно вывернуться, или выпросить себе снисхождение. Да и трудно было решиться поступить с ним слишком строго. Все вообще офицерство было тогда крайне распущено как в гвардии, так и в полевых полках, и, удалив из службы Бергера, пришлось бы удалить и других, которые во многих отношениях были нисколько не лучше его. Поэтому все, с кем имел Бергер сношения по службе, очень желали бы сжить его под каким-нибудь благовидным предлогом и только ожидали подходящего к тому случая. Однако не решались поступить с Бергером круто и потому еще, что, зная его характер, боялись, что он примется мстить тем, кто наделал ему неприятностей, а при тогдашней легкости обвинений

он, по своей беззастенчивости и недобросовестности, мог наделать много зла тем, кому бы вздумал отплатить за себя. Несмотря на всю неблагоприятную обстановку, Бергер не терял все-таки надежды выйти в люди, если только повезет ему счастье, и по своим нравственным понятиям он под счастьем разумел каждый случай, который, несмотря на всю гнусность способов, можно было бы употребить в свою пользу.

Хотя все знавшие продувного кирасира не только не старались сближаться с ним, но, напротив, желали быть от него подальше. Тем не менее ему удалось заручиться приязнью двух лиц: армейского майора, находившегося по делам службы в Петербурге, Матвея Фалькенберга, своего земляка, и Ивана Лопухина, состоявшего камер-юнкером при дворе императрицы. Фалькенберг по своему нравственному складу и по своей неразборчивой искательности очень близко подходил к Бергеру, и они вдвоем нередко рассуждали о том, как бы им выйти из их ничтожества и проложить дорогу к богатству и почестям.

– Не везет нам с тобой, – говорил Бергер

Фалькенбергу. – Вот посмотришь, что за счастливцы эти лейб-кампанцы: были простые солдаты, неучи, из мужиков, а теперь у них капитаном – императрица, капитан-поручиком – полный генерал, оба поручика – генерал-лейтенанты, два подпоручика – генерал-майоры, прапорщик – полковник, сержант – подполковник, капралы – капитаны и даже простые рядовые – поручики. Да и всем им даны поместья. Оклады их вчетверо больше наших, и в полевые полки их выписывают простых солдат капитанами. Впрочем, что и говорить о лейб-кампанцах, – стоит только посмотреть на гвардию: из нее чуть не мальчишки выходят в другие полки бригадирами и генерал-майорами, а мы что с тобой? Неужели же так-таки мы и протомимся всю жизнь?

– Не представилось нам, любезный мой Фридрих, случая отличиться, – заметил Фалькенберг.

– Не представилось, так надобно поискать его. Ты, конечно, знаешь о деле камер-лакея Турчанинова, которого в прошлом году в Москве кнутом били. Ведь все в один голос го-

ворят, что никакого заговора не было, а только выдумали на Турчанинова и донесли Лестоку, а он и ухватился за этот донос, желая показать, что он охраняет государыню от злых людей.

– А что же получили те, которые донесли? – спросил Фалькенберг.

– Получили они награды не очень важные, потому что и обвиненный-то был не знатная персона, а вот если бы был сделан донос, как мне говорил однажды по-русски Лопухин, на «важную птицу», то вышло бы дело совсем иное.

– Да где достанешь важную птицу? Например, хоть бы Лопухин – он очень дурно отзывается об императрице, – если бы, положим, донести за него?

– Ну, тоже неважная птица. Нет, любезный Фалькенберг, тут нужно хватить кого-нибудь повыше, и, право, если бы к тому оказался случай, то уж я не дал бы маху.

– Да и я тоже.

– Если представится нам такой случай, то будем действовать заодно, по-товарищески, – проговорил Бергер, протягивая руку Фалькен-

бергу.

Совсем иные отношения были у Бергера к молодому Лопухину. Хотя Лопухин был недоволен падением ласкавшей его семью правительницы, которая оказывала внимание и ему самому, и его матери, и хотя он проговаривался иногда об этом в приятельской беседе с Бергером, особенно под пьяную руку, но он был далек от всяких политических затей и в сущности был только неустанным гулякой и бестолковым кутилой. Этого рода слабость единственно и сближала его с Бергером. Молодой Лопухин полагал, что во всем Петербурге нет более лихого собутыльника и лучшего товарища для всяких дневных и ночных похождений, а также нет более искусного игрока на бильярде, до которого Лопухин был страстный охотник. Он готов был не выпускать из рук кия с самого раннего утра и до поздней ночи. Щелканье бильярдных шаров приводило его в неизъяснимый восторг, а удачный карамболь и особенно выигрыш нескольких партий у Бергера, который по своим расчетам иногда нарочно поддавался Лопухину, делал его на некоторое время счаст-

ливейшим человеком в мире, так как после того он мог хвалиться тем, что по временам обыгрывает даже такого известного игрока, каким считался Бергер.

Бергер постоянно льнул к богатому и расточительному баричу, так что мог не только кутить с ним на даровщинку, но – что еще важнее – занимать у него деньги без отдачи. Иногда хитрый кирасир для поддержания своего мнимого кредита, когда бывал при деньгах, вытаскивал из кармана кошелек и изъявлял желание рассчитаться с добряком кредитором.

– Э, полно, Фридрих, толковать о таких пустяках, – с добродушной небрежностью говорил Лопухин, – сосчитаешься со мной, когда разбогатеешь, а мне денег не нужно.

И кирасир проворно прятал в карман свой кошелек, будучи заранее уверен, что такие дружеские слова будут повторяться при каждом его предложении о расчете.

Бергер, человек с наклонностью предателя и готовившийся так или иначе проложить себе дорогу, затрагивал по временам на всякий случай и политические мнения Лопухина, но

после неудачной своей попытки разговориться с Лопухиным о шуточном будто бы доносе на майора Шнопкопфа уже не решался вести с Лопухиным таких откровенных разговоров, какие вел с другим своим приятелем, Фалькенбергом.

– Ну их! – говорил обыкновенно Лопухин, когда Бергер начинал заводить с ним речи о приближенных к императрице лицах. – Как будто нельзя прожить без почестей и отличий. Сперва я было сердился на то, что меня «унизили чином», но как пораздумал, то и увидел, что горячусь напрасно. Вот хотя бы ты: немного постарше меня и в службе состоишь подолее, чем я, а между тем ты только поручик, а я, никогда не служив ни в гвардии, ни в полевых полках, уже подполковник. Будет с меня и этого... Да, впрочем, что о том толковать, выпьем-ка лучше. – И, говоря это, Лопухин наполнял вином стакан, стоявший перед кирасиром.

Бергер не терял, однако, надежды рано или поздно извлечь для себя пользу из близкого знакомства с откровенным и недалеким подполковником. Он соображал, что Лопухин,

вращаясь в таком обществе, в котором всего чаще говорят о государыне и «правителях» и где, наверное, ведутся порою разные «неистовые» речи, может проболтать что-нибудь пригодное для него, Бергера. Бергер тем вернее мог рассчитывать на такой случай, что приятель его был из опального семейства, роптавшего на переворот, происшедший в пользу царствующей государыни, и на заточение благоволившей к нему правительницы. Ему было известно из откровенных разговоров Лопухина, что матери его стоила много слез ссылка Левенвольда и что она бог знает на что решилась бы, лишь бы иметь от него какую-нибудь весточку. Кроме того, Бергер вообще чуял поживу в том кружке, к которому принадлежало семейство Лопухиных.

XXIV

– Ты, матушка, мне все твердила чтобы я не водил дружбы с Фридрихом; а теперь оказывается, что он может тебе пригодиться, – говорил матери Ванюша Лопухин, возвратившись домой после сильной гулянки. Хотя Наталье Федоровне было под сорок лет, но она, сохранив еще признаки своей замечательной красоты и будучи очень моложавой, казалась не матерью, а только старшею сестрой своего сына, которого, несмотря на его раннюю молодость, сильно помяли и состарили беспрерывные кутежи.

– Не нравится мне твой Бергер, оттого-то я и старалась принимать его как можно реже, – с выражением неудовольствия отозвалась Лопухина. – Мне все сдается, что ты познакомился с ним на свою пагубу.

– Он славный малый. Ты плохо его знаешь. Да, впрочем, что о том толковать! Во всяком случае, он теперь тебе человек пригодный. Едет вот в Соликамск на смену прежнего караульного офицера при Рейнгольде Ивановиче.

Лопухина вздрогнула и в смущении опустила вниз глаза.

Любовные отношения ее к Левенвольду были известны ее сыну. Об этом очень часто говорил ему его отец не только в пьяном, но и в трезвом виде, да и сама Лопухина не скрывала своей привязанности к Левенвольду, плача и горюя при всех об утрате любимого ею человека.

– Через него могла бы ты послать весточку Рейнгольду Ивановичу. Вот бы обрадовался он!

– Нет, Иванушка, не стать мне это делать. Теперь идут такие строгости: Лесток за всеми присматривает, как цепная собака; всюду у него шпионы. Да и на Фридриха разве можно положиться? Он все сейчас разболтает и без злого умысла. Писать я Рейнгольду Ивановичу ничего не буду, а пусть Бергер передаст только на словах, чтобы граф не унывал и что, быть может, скоро будет перемена в его судьбе. Хочу я просить отца Якова, пусть он перед исповеданием государыни доложит ей, что Рейнгольд Иванович претерпел за его пустые провинности более, нежели следует. Да

кстати, пусть скажет Бергер графу, что оставленные им у меня пожитки, уцелевшие от конфискации, сгорели в нашем московском доме.

– Хорошо, я попрошу его об этом, а еще было бы лучше, если бы ты ему написала обо всем хорошенько. Бергер нас никому и ни за что не выдаст, да и стыдно было бы ему это сделать при моей с ним дружбе.

Наталья Федоровна сомнительно покачала головой.

«Как бы хотелось мне быть на месте этого Бергера, – думалось ей. – Он увидит моего дорогого Рейнгольда». И все былое так живо, так отчетливо воскресло в ее памяти.

Иванушка не настаивал более на своем предложении и сказал матери, что он сегодня же увидится с Бергером и в точности передаст ему поручение матери и даже приведет его с собой к ней.

– Нет, не делай этого! – возразила она, предчувствуя, что свидание с отъезжающим в Соликамск Бергером будет ей слишком тяжело, и не уверенная, что при прощании с ним она не выскажет того, что могло бы на-

влечь пагубу и на нее, и на Левенвольда.

В то время, когда это происходило в доме Лопухиных, Бергер, будучи у своего приятеля Фалькенберга, горячился и выходил из себя до бешенства.

Ранним утром ему принесли повестку из полковой канцелярии с требованием, чтобы он немедленно явился туда. Такие повестки всегда были крайне для него неприятны, так как они посылались или по случаю особого наряда в караул, или для исполнения каких-нибудь чрезвычайных поручений по службе, или же для того, чтобы задать Бергеру головомойку за какую-нибудь проделку, и, наконец, для предъявления поступивших на него в полк жалоб от кого-либо из его многочисленных кредиторов. Как ни неприятны были Бергеру требования его явки в канцелярию во всех этих случаях, но все-таки он никак не ожидал того, что готовилось ему теперь. В полковой канцелярии объявили ему, что он без малейшего промедления должен с порученной ему командой отправиться в Соликамск и оставаться там три года, поступив на смену того караульного офицера, который

состоял при бывшем графе Левенвольде. Это неожиданное распоряжение сильно поразило кирасира. Оно расстраивало все честолюбивые виды его на будущее. Прожить несколько лет в таком отдаленном захолустье, как Соликамск, да еще состоя безотлучно при ссыльном, значило то же самое, что самому отправиться в ссылку. Выход в отставку из военной службы был тогда невозможен. Офицеров «абшидовали» или увольняли только за дряхлостью или по такой очевидной болезни, которая делала решительно невозможным исполнение ими каких бы то ни было служебных обязанностей не только в строю, но и в канцелярии, в вагенбурге, в госпитале, при провиантских магазинах или в запасных складах. Офицеров, заявлявших о своих болезнях, строго свидетельствовали и «до излечения от болезней» отправляли на службу в дальние гарнизоны, где всегда было или, по крайней мере, предполагалось найти для них какое-нибудь занятие до тех пор, пока даже действительно больной мог кое-как волочить ноги.

Правда, что Бергер мог взять по болезни

временный отпуск, но получение его в ту пору было чрезвычайно трудно, да и обходилось очень дорого. Кроме неполучения за время отпуска жалованья, проситель должен был отсчитать порядочную сумму и полковому командиру, и полковому адъютанту, и полковому лекарю или – что делалось чаще – подарить им известное число крепостных душ. В то время насчет этого существовала даже определенная такса. Но у Бергера не было ни денег, ни крепостных, а всего хуже было то, что получив отпуск, он должен был выехать из столицы в свои деревни или для хозяйства, или для поправления здоровья, чтобы в месте расположения гвардейских войск «не подавать зловредного примера своим праздношатательством».

Но этот выезд и был всего тяжелее для кирасира, так как ему наклевывалась теперь богатая невеста, вдова солидных лет после одного богатого немецкого негоцианта, и Бергер, достаточно разочаровавшийся насчет возможности составить себе блестящую партию, мирился с мыслью жениться на этой вдове или, иначе, поживиться на ее счет.

Как в прежнее время он добивался не только знакомства, но хотя встречи с блестящим гофмаршалом, так теперь с ужасом думал о том, что ему придется постоянно проводить с ним время, как с несчастным и ничтожным ссыльным. Отлынуть от поездки в Соликамск было невозможно, так как полковое начальство с радостью воспользовалось этим случаем, чтобы выжить из полка нелюбимого всеми офицера.

Получив такое неожиданное назначение, Бергер прямо из полковой канцелярии отправился к Фалькенбергу, чтобы сообщить ему о своем горе и посоветоваться с ним насчет того, что ему предпринять при таких обстоятельствах. Майор, со своей стороны, не только не утешил и не ободрил изгоняемого из Петербурга поручика, но даже, напротив, навел на него большее уныние.

– Слыхал я, любезнейший мой Фридрих, не раз, – говорил Фалькенберг, – что офицеров, отправляемых для надзора за ссыльными, вместо положенных трех лет держат там в продолжение целого десятка годов. Забудут да и не присылают смены: делай что хочешь,

а с места уехать нельзя. Достанется так, что только ой-ой! А ты, поверь мне, не выживешь и месяца в этой глуши – умрешь там с тоски. Не найдешь ты там ни женщин, ни карт. Наверное, там нет ни бильярда, ни хороших вин, к которым мы уже порядочно попривыкли благодаря этому дураку Ваньке Лопухину. Не встретишь ты там и подходящей тебе веселой компании, не найдешь там и порядочной невесты, а уж о каком-нибудь особом счастье и говорить нечего. Пропадешь ты в этом проклятом Соликамске ни за что. Нужно во что бы то ни стало отделаться от этой поездки. Станешь потом каяться, да уж поздно будет.

– Что же делать? – спросил растерянный Бергер.

– Ищи счастья. Знаешь, быть может, русскую пословицу: «На ловца и зверь бежит»?

В чрезвычайном раздражении Бергер вышел от своего приятеля и, идя по Красной улице, встретился с шедшим к нему Лопухиным.

– Ну, что, приятель, едешь в Соликамск? Нечего сказать, удружили тебе. Там ты свидишься с Левенвольдом и, быть может, отпи-

шешь нам, как он поживает, – почти кричал на всю улицу неосторожный на язык Лопухин.

– Болтай потише, а то, того и гляди, попадешь к Ушакову в тайную канцелярию, – строго сказал Бергер.

– А что ж? Там любопытно побывать разок, – отшутился подполковник. – Пойдем-ка лучше закусить к Беглеру; я возьму особый покоек, разопьем хорошенького винца, да кстати я передам тебе поручение от моей матери.

Поручик при этих словах вдруг повеселел, но потом сильно призадумался. В голове у него мелькнуло, что, чего доброго, при своем безысходном положении он может поймать «важную птицу». Однако, как ни был он нравственно распущен, но все-таки приостановился при мысли, что он для этого должен будет сделаться предателем своего доверчивого друга; но вслед за тем он твердо решился пожертвовать всем, чтобы не только отделаться от предстоящей поездки в Соликамск, но, статься может, и выйти в люди.

Кроме надежды выведать что-нибудь от

болтливого и простодушного подполковника Бергер, который всегда был не прочь поесть и попить на счет своего приятеля, очень охотно согласился принять его предложение, сделав вид, что его вовсе не занимает то поручение, какое мать Иванушки хочет дать ему к Левенвольду. Когда Лопухин порядком подвыпил, Бергер, который на попойках был гораздо покрепче головою, чем его товарищ, а на этот раз и пил осторожнее, чем всегда, желая сохранить полное присутствие памяти, завел речь с Лопухиным о поручении, даваемом Бергеру матерью почти совсем опьяневшего Лопухина. Но, как оказалось, этот пьянчуга совсем забыл о том, для чего он пригласил Фридриха в отдельную комнату.

– Скажи твоей матушке, что я очень охотно исполню ее поручение, хотя бы при этом были и большие опасности. Я так люблю ваше семейство, что готов для вас сделать все, – с притворным добродушием начал Бергер.

Эти слова окончательно расположили к Бергеру доверчивого подполковника, который только теперь вспомнил о поручении своей матери.

– Ведь вот подумаешь, – принялся болтать он, – что случается на белом свете. Был я при дворе принцессы Анны Леопольдовны камер-юнкером, состоял я, значит, в полковничьем ранге, а теперь определен подполковником, да и то не знаю куда. Каналья Лялин и Сиверс произведены в важные чины, один из матросов, а другой из кофешенков, за скверное дело. Да и что нынешняя государыня? Такая ли была наша голубушка правительница! Все любили ее, да и теперь рижский гарнизон склонен к принцу Ивану Антоновичу. Послали бы меня туда командиром, так показал бы я себя. Впрочем, и без меня легко быть перемене; будет же она непременно через несколько месяцев, – завирался все далее подполковник, в то время как собеседник его молчал и, навострив уши, только слушал, видя, что его товарищ отлично выбалтывается сам по себе, без всяких расспросов. – Да и мы, Лопухины, нынешней-то царице не очень угождаем. Отец мой написал к матери из деревни, чтобы она никакой милости у государыни не искала и ко двору не ездила бы. А сам я после того, как был в последнем маска-

раде, ко двору не хожу…

– Думаю я, что не одни вы, Лопухины, пошли бы против государыни? – спросил Бергер.

– Об этом что и говорить! – уверенным голосом отозвался Лопухин. – Почитай, все знатные персоны будут против нее. Нынешняя государыня больше простой народ любит, потому что сама просто живет, а знатных персон не жалует.

На лице Бергера при упоминании о знатных персонах выразилось заметное удовольствие. Он видел, что нападает теперь на след «важной птицы», а это куда как было прибыльно для доносчиков. Последствием каждого государственного, хотя бы и незначительного, преступления было в ту пору по порядку, заведенному еще при царях московских, «взятие на государя», всего движимого и недвижимого имения, принадлежавшего виновному, так что все его семейство подвергалось полному разорению. Такая отписка продолжалась и при Петре Великом, и после него, только под новым названием – под названием конфискации. Поэтому падение каждого знатного и богатого вельможи было

предметом радости и надежды всех близких ко двору лиц. На отобранное у него имение они налетали, как стая хищных птиц на лакомую добычу. Каждый выпрашивал себе кто дом, кто деревеньку, и по тогдашним понятиям раздача конфискованных имуществ была в нравственном смысле даже обязательною для верховной власти, чтобы устранить оскорбительную мысль, будто она умышленно отбирает имущество виновных, чтобы пользоваться им. Не говоря уже о том, что при Елизавете продолжалась еще раздача имений, конфискованных у Меншикова и у Долгоруковых, при ней шло раздаривание и движимой собственности. Она раздавалась тем, кто находился в особенной милости и умел выпросить что-нибудь. Так, например, правительница подарила своей любимице баронессе Юлиане Менгден конфискованные у Бирона два великолепно вышитых золотом кафтана; но так как Юлиана не успела еще их сбыть, то они были конфискованы у нее и оставались в придворном складе до тех пор, пока император Петр III не приказал их подарить какому-то немецкому актеру.

Бергер очень хорошо знал, что при таких раздачах не были забываемы и доносчики, а если бы как-нибудь случайно и забыли их, то стоило только напомнить об услуге, оказанной доносом, чтобы получить безобидное вознаграждение. Теперь в воображении его представлялись и те деревни, и тот дорогой скарб, который он может получить, если ему удастся подать донос не на какого-нибудь жалкого майора Шнопкопфа или бедного пастора Грофта, но на знатных персон, вотчины которых раскинулись на широкое пространство и у которых в сундуках и в подвалах хранилось немало денег и разной дорогой рухляди.

– Эй, брат Иван, – поддразнивающим голосом перебил Лопухина Бергер, – кажись, ты вздор несешь! Кто же, например, из знатных, кроме вашей семьи, может быть недоволен государыней? Ну, скажи-ка!

– Как кто? – словно обиженный недоверием своего собеседника, крикнул подполковник. – Да вот хоть бы оба брата Бестужевы. Послушал бы только, что говорят они о государыне! – приврал Лопухин, никогда не слы-

хавший ничего такого ни от них самих, ни от других.

Бергер как нельзя более обрадовался такому неожиданному сообщению, сделанному Лопухиным. Ему незачем было удостоверяться в справедливости сказанного ему. Было довольно сослаться на Лопухина, чтобы притянуть к делу братьев Бестужевых.

«Они действительно важные птицы, да, по всей вероятности, ничем так не угодишь Лестоку, как сделав на них навет», – думал Бергер, слышавший не раз об ожесточенной вражде между Алексеем Петровичем и Лестоком.

– Ты все, Иван Степанович, болтаешь попусту о том, что мне не нужно, да и не хочется вовсе знать, – равнодушно сказал предатель, – а о деле-то, кажется, совсем забыл. Что же хочет поручить мне твоя матушка в Соликамск?

Лопухин передал Бергеру просьбу своей матери.

– Отчего же не сделать такого одолжения, – проговорил Бергер. – Только вы смотрите не проболтайтесь чего-нибудь на мою пагубу.

Затем Бергер еще более подпоил своего то-

варища, который, почувствовав, что голова его слишком отяжелела, прилег на канапе и вскоре громко захрапел, отрезвляясь от сильного опьянения, а между тем Бергер, оставив его в трактике спящим, вышел потихоньку из заведения, в котором так радушно угощал его подполковник.

XXV

Было прекрасное июльское утро, когда граф Лесток, переехавший на лето в свой загородный дом, отправился на прогулку по прилегавшему к этому дому сосновому парку.

Дом Лестока, находившийся на Фонтанке, в конце нынешнего Лештукова переулка, представлял в ту пору прекрасное летнее местопребывание на реке, которая была гораздо глубже и быстрее, чем ныне. Она не была засорена ничем ни с берегов, ни с барок, которые только изредка проходили по ней, и доставляла окольным, весьма немногочисленным прибрежным жителям чистую и свежую воду. Стояло жаркое лето, и Лесток, желавший хорошенько отдохнуть в эту пору, не принимал никого по делам и сам оставался

на своей даче безвыездно. Он не ездил даже в Петергоф, где проводила лето государыня. Поездки туда сильно раздражали его, так как он при каждой из них ясно видел, что благосклонность к нему императрицы заметно уменьшалась. Государыня принимала его сухо, отклоняла то словами, то взглядами его любезности и шутки, которые она в прежнее время выслушивала так охотно. Редко, да и то лишь вскользь, говорила она с ним о неважных государственных делах; что же касается дел важных, то они и решались и исполнялись теперь очень часто без предварительного с ним совещания и даже большею частью без его ведома. Лесток знал, что он оттеснен от государыни своим противником, и оттеснен так ловко, что ему едва ли будет возможно восстановить свое прежнее значение. Влияние Бестужева возрастало с каждым днем, и вице-канцлер получил – как тогда говорили – «всерешающий голос», а мнение его стало господствовать в совете императрицы, так что Лестоку приходилось, собственно, подчиняться желанию Бестужева.

Лейб-хирург, так много думавший о себе, в

особенности после исполнения задуманного им переворота, не только не желал занимать приниженного положения, но не мог даже переносить ничьего соперничества. Теперь, прогуливаясь по тропинкам парка, он размышлял, каким бы способом избавиться ему от Бестужева, и ни свежий воздух раннего утра, ни господствовавшая кругом его тишина, ни живительный запах смолистых елей и сосен, пригреваемых все выше подымавшимся солнцем, нисколько не успокаивали его чрезвычайного раздражения.

Размышляя об этом, граф шел по узкой тропинке парка, когда услышал позади себя торопливые шаги бежавшего к нему человека. Две прекрасные английские собаки, сопровождавшие его, остановились, но не залаяли, и это было знаком, что к хозяину бежал кто-нибудь из домашних. Действительно, Лестока догонял один из прислуживавших ему лакеев.

– К вашему сиятельству пришел какой-то офицер и требует, чтобы вас видеть, – запыхавшись доложил он.

– Разве ты, олух, не знаешь, что я никого

теперь не принимаю? – сердито крикнул Лесток. – Гони его вон!

– Он приказал подать вашему сиятельству эту бумагу.

Лесток взял из рук лакея сложенную по-старинному и запечатанную наглухо бумагу, на обратной стороне которой был, по тогдашнему обычаю, прописан полный титул Лестока, потребовавший строчек десять убористого письма.

Лесток раскрыл бумагу и прочел в ней следующее:

«Осмелившийся предстать пред вашей высокографской персоною офицер имеет донести о злодейском умысле на превысочайшую особу ее императорского величества всемилостивейшей нашей государыни, вседражайшей матери отечества, а также и на персону вашего высокографского сиятельства».

– Ступай, – сказал Лесток лакею, – и проведи господина офицера в приемную, вели от меня ему там подождать и скажи ему, что его сиятельство сам изволит прийти к нему.

Если последняя часть сообщения о злом умысле против самого Лестока встревожила

его, зато первая часть сильно обрадовала. Лесток вспомнил, как удачно поддержал он свой пошатнувшийся у императрицы кредит сочиненными им двумя заговорами: сперва заговором камер-лакея Турчанинова, а потом заговором лейб-кампанцев; а теперь, думал он, представляется очень кстати третий подобный случай, которым следует умело и ловко воспользоваться. Он сообразил, что не станет же офицер так настойчиво домогаться из-за каких-нибудь пустяков личного свидания с таким грозным и могущественным вельможею, каким считал себя сам Лесток и каким считали его другие. Он чуял, что из ожидающего его доноса ему можно будет раздуть важное дело и убедить государыню в необходимости доверяться единственно ему, Лестоку, так как все другие лица, приближенные к ней, не знают, что делается около них.

Возвратясь домой, граф приказал позвать в кабинет пришедшего офицера, и туда явился незнакомый Лестоку рыжий кирасир.

«Ты кто такой?» – хотел было спросить Лесток.

Но прежде чем Лесток успел обратиться с

этим вопросом, вошедший сам заявил о себе.

– Имею счастье явиться к вашему сиятельству! Я поручик кирасирского полка Фридрих Бергер, – отрапортовал он зычным голосом, вытянув руки по швам и придерживая свой огромный палаш.

– Ты имеешь сообщить мне о злом умысле на превысочайшую особу ее императорского величества?

– Точно так, ваше сиятельство, а также и о злом умысле на высокографскую персону вашу.

– Об этом после. В чем заключается твой донос и можешь ли ты подтвердить его?

– Если бы не мог подтвердить его, никогда не осмелился бы явиться к особе вашего сиятельства, – бойко отозвался кирасир.

– Хорошо. Расскажи, в чем дело.

Бергер, подготовившись заранее, без запинки передал разговор свой с Лопухиным, придав этому разговору такие выражения, которые могли усилить важность доноса, и в заключение упомянул, что Лопухин проболтался и о вражде Бестужевых к государыне.

Лицо Лестока вспыхнуло от радости.

– Так он упоминал о Бестужевых? – торопливо спросил Лесток, как бы не веря в справедливость тех сообщений, которые он теперь слышал. – А свидетелей твоего разговора с Иваном Лопухиным ты имеешь?

– Не имею, ваше сиятельство, мы говорили пока один на один, да я и не предвидел, что у нас будет такой разговор.

– Ты должен вызвать еще раз Лопухина на такой разговор, но так, чтобы при этом был свидетель, и вообще заняться этим делом.

– Очень сожалею, ваше сиятельство, что не могу исполнить вашего приказания. Я получил по команде приказ немедленно отправиться в Соликамск, чтобы содержать караул при бывшем обер-гофмаршале Левенвольде.

– Это пустяки! Я сейчас же велю написать в военную коллегию, чтобы приостановили твою отправку, а если хорошо поведешь дело, то не только совсем останешься в Петербурге, но я тебя никогда не забуду, – покровительственным тоном сказал Лесток. – Да, кстати: тебе могут понадобиться деньги, а у тебя их, наверное, нет, – продолжал он, подойдя к бюро и вынимая оттуда горсть червонцев.

Лесток бросил на письменный стол червонцы, так приятно зазвучавшие в ушах жадного Бергера.

– Возьми их себе, – сказал он, указывая пальцем на стол. – Граф Лесток хорошо оплачивает оказываемые ему услуги. С своей стороны, ты должен главным образом доискиваться до Бестужевых; разведай также о маркизе Ботта д’Адорно, бывшем австрийском посланнике. Узнай, в каких отношениях был он с Бестужевыми и о чем они толковали...

Бергер не столько слушал даваемые ему инструкции, сколько думал о лежавших перед ним червонцах. Он подошел к столу, загреб их пальцами и по обычаю того времени униженно поцеловал щедрую на этот раз руку своего высокого патрона и милостивца.

Бергер ушел от Лестока чрезвычайно довольный свиданием. Он так легко добился своего главного желания остаться в Петербурге, да сверх того в кармане у него теперь побрякивало столько золота, сколько едва ли когда-нибудь там бывало. Гнусность поступка не только не смущала, но даже вовсе не щекотала его совести. Как человек бессердечный,

он только радовался тому, что наконец-то давно желаемое счастье повезло ему.

От Лестока Бергер отправился к Фалькенбергу и, вопреки состоявшемуся между ними соглашению, не сказал ни слова о свидании с Лестоком, но только пригласил его на прощальную пирушку, которую, как говорил Бергер, он хочет задать, получив от казны на дорогу столько денег, сколько он никогда не ожидал. При этом Бергер, выхватив из кармана горсть червонцев, данных ему Лестоком, показал Фалькенбергу, который очень охотно согласился прийти в заведение Бергера на напутственную пирушку своего приятеля.

От Фалькенберга Бергер пошел к Лопухину, который еще не совсем оправился от вчерашней попойки. Лопухин, помятый, заспанный, мутными глазами смотрел на кирасира, уверявшего, что ему ни с кем так не тяжело расставаться, как с таким добрым товарищем, каким был для него Иванушка. Лопухин от души расцеловал своего приятеля, и на глаза его набежали слезы при мысли, что ему скоро придется расставаться с дорогим Фридрихом. Он очень охотно согласился на приглашение

Бергера, и 17 июля они втроем сошлись в условленном месте.

Началась обычная попойка. Сперва Иванушка осовел, потом его, обыкновенно не крепкий, рассудок помутился, и он, растерянно смотря на своих собеседников, принялся болтать все, что приходило ему на ум и на что по временам наводил его Бергер.

– Нынешние государственные управители, – болтал Лопухин, – все негодны, вовсе не такие, как были прежние, Остерман и Левенвольд, и только один Лесток – проворная каналья. Да недолго ему хозяйничать. Король прусский станет помогать императору Ивану Антоновичу, а наши, я надеюсь, за ружье не возьмутся.

– А скоро это будет? – спросил Фалькенберг, наметивший, с своей стороны, Лопухина как орудие своего счастья и не зная, что Бергер уже предупредил его.

– Скоро, очень скоро будет, – пробурчал подполковник.

– Тогда уж ты, Иванушка, меня не забудь, – попросил Фалькенберг.

Лопухин ничего не отвечал и только по-

жал плечами.

– А нет ли кого побольше, к кому можно было бы забежать? – спросил в свою очередь Бергер.

– Есть: австрийский посол Антон Еронимыч Ботта д’Адорно, – сказал Лопухин, позабывший под влиянием выпивки, что маркиз уже восемь месяцев тому назад уехал в Берлин.

– Да ведь к нему прямо сунуться нельзя, – возразил Бергер, – а вот нельзя ли обратиться к нему через кого-нибудь из здешних знатных персон? – спросил Бергер.

– Да хотя бы через мою матушку; она с ним близко знакома.

– Э, да что через твою матушку! Напрасно! Я заметил, что она ко мне, по неведомой мне причине, с некоторого времени неблагосклонной оказывается, тогда как я ей истинный доброжелатель и исполню в Соликамске все, что она изволит приказать мне.

– Спасибо тебе, дружище! – пробурчал Лопухин, протягивая Бергеру свою ослабевшую руку. – Та-та! – вдруг забормотал он, усиливаясь ударить себя ладонью по лбу. – Что я та-

ким беспамятным стал? Да чего же лучше – через Анну Гавриловну Бестужеву. Вот кто истинная приятельница маркиза, ох, какая она закадычная его приятельница!

Указание Лопухина на графиню Анну Гавриловну пробудило в Бергере чувство мстительности за неудачную попытку к сватовству, а всего важнее для него было это указание потому, что он увидел, что выходит на тот путь, который наметил ему Лесток.

– Да ты, Иван Степанович, не городишь ли вздор? Будто Бестужева Анна Гавриловна, такая большая приятельница маркиза Ботта? – подзадоривал Бергер подполковника.

– Что ни на есть самая большая, – проговорил тот, опорожнив шкалик мадеры и ставя его на стол.

Всех этих сведений Бергеру было весьма достаточно, чтобы заявить Лестоку о ходе дела. Под предлогом, что ему надобно собираться в дорогу, Бергер вскоре оставил Лопухина и Фалькенберга и, несмотря на позднее время, нанял извозчичью тележку и поскакал к Лестоку. Не доезжая до его загородного дома, он из предосторожности отпустил извозчика и

пошел пешком.

Лесток собирался уже ложиться спать, когда ему доложили о приходе офицера, который был у него утром и которого он приказал допускать к себе во всякое время дня и ночи. Лесток внимательно и с удовольствием выслушал рассказ Бергера и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал с ловкостью беззастенчивого сыщика, желающего выслужиться как можно более перед тем, на кого ему приходится работать. Бергер в докладе своем упомянул о том, что на этот раз, согласно наставлению его сиятельства, свидетелем продерзостных речей Лопухина был майор Фалькенберг.

– Ты, брат, не пеняй на меня, если я завтра утром прикажу арестовать тебя. Не бойся, ничего тебе дурного не будет, но я должен так поступить. Понимаешь? – вразумительно сказал Лесток.

– Понимаю, ваше сиятельство.

– Теперь ступай домой. Вскоре увидимся. Смотри не пугайся, а я тогда, еще раз повторяю, тебя не забуду.

Лесток, имея в виду, что при начале дела,

которому он придавал такую важность, к нему многие могут являться с доносами, изветами и сообщениями, приказал, в отмену своего прежнего распоряжения, допускать всех приходящих к себе. Майор Фалькенберг первый воспользовался таким дозволением.

Оставшись с сильно подвыпившим Лопухиным, он уже без Бергера продолжал около подполковника свои разведки, надеясь, что собранными при этом сведениями он превзойдет своего отъезжавшего в Соликамск товарища. Фалькенберг с трудом, при помощи трактирного слуги, вывел Иванушку из трактира, усадил его на извозчичью тележку и повез его домой.

«Экой этот Бергер простофиля, – думал Фалькенберг, сидя рядом на тележке с поддерживаемым им тщедушным подполковником, который качался из стороны в сторону и сползал и садился вовнутрь тележки. – Упустил он счастливый случай и теперь попрет с своей дряхлой командой в Соликамск. Ну а я, брат, не таковский: коли счастье пришло, то сумею им воспользоваться».

Явившись на другой день к Лестоку, Фаль-

кенберг был допущен беспрепятственно к графу, который сделал вид, что он ничего еще не знает «о злодейском умысле против ее императорского величества и о продерзостном поношении особы его высокографского сиятельства». Лесток внимательно выслушал рассказ майора и убедился, что рассказ этот, с некоторою переиначкой слов, в сущности, сходен с тем, что доносил ему Бергер, то есть оказывалось, и это было всего важнее для Лестока, что жена гофмаршала графа Бестужева порицает государыню и была в дружеских отношениях с Боттою. Этого, как раскинул Лесток своим коварным рассудком, будет достаточно, чтобы примешать к делу ненавистного вице-канцлера и погубить его.

С большими смягчающими оговорками в похвалу лейб-медику Фалькенберг передал еще и то ему, что Лопухин дерзнул назвать и его высокую персону «проворной канальей». При этих словах Лесток не обнаружил ни малейшего гнева и только подумал: «Нашелся же человек, который хотя и слывет дураком, но отлично разгадал меня».

Граф, поблагодарив майора за его верно-

подданническую преданность государыне, а также и за сообщение о «неистовых словах» Лопухина против собственной его, Лестока, персоны, наградил и Фалькенберга червонцами, но, как доносчика уже второстепенного, не так щедро, как Бергера. Лесток обещал майору свое покровительство, сказав, что если Фалькенберг разведает еще что-нибудь по столь важному государственному делу, то может явиться к нему во всякую пору.

Майор ушел от Лестока чрезвычайно довольный, как и Бергер, своим свиданием и без малейшего угрызения совести, и в голове его роились мысли о той блестящей будущности, которая, быть может, ожидает его в скором времени.

XXVI

В ту пору въезд государыни в Петербург, хотя бы из таких ближайших подгородных местностей, как Петергоф и Царское Село, возвещался жителям столицы пушечною пальбою со стен Петропавловской крепости и с валов Адмиралтейства. Но 17 июля 1743 года, хотя государыня и приехала в город, такого обычного извещения не последовало, так как она почему-то желала пробыть в городе «инкогнито», и только те знатные персоны, которые имели к ней свободный доступ, были уведомлены через ездовых о ее прибытии, а в числе таких персон был и Лесток.

Приняв донос от Бергера, он немедленно отправился во дворец и доложил императрице, что ей от «богомерзких злоумышленников» угрожает новая опасность, что они хотят восстановить прежнее брауншвейгское правительство, но что ее величеству конспирации бояться не следует, так как он, Лесток, принял уже надлежащие меры и все нити заговора находятся в его руках, так что остается только, по указанию доноса, захватить винов-

ных, на что он и осмеливается испрашивать разрешения ее величества. Он заявил, что такое особое разрешение необходимо, потому что в числе заговорщиков могут оказаться некоторые знатные персоны обоего пола.

Императрица, так часто тревожимая слухами о мнимых заговорах, уполномочила Лестока действовать по его собственному усмотрению, а для разбора дела приказала учредить особую комиссию из самого Лестока, генерал-прокурора князя Трубецкого и начальника тайной канцелярии графа Андрея Ивановича Ушакова. На такой состав комиссии указал ей сам Лесток, зная, что Трубецкой и Ушаков никому не дадут спуска.

Императрицу чрезвычайно тронула преданность Лестока, к которому она начинала уже охладевать вследствие происков графа Алексея Бестужева и его сильных сторонников: Алексея Разумовского, Петра Шувалова и архиепископа Новгородского Амвросия Юшкевича, вертевшегося, впрочем, по словам одного из его современников, то в ту, то в другую сторону, как флюгер, смотря по тому, откуда дует ветер.

Лесток очень ловко, со знанием затаенных мыслей государыни, начал высказывать ей свое сожаление, что ее так плохо берегут окружающие ее лица; что он, независимо от того, что для ее воцарения был готов идти на пытки, плаху и виселицу, дважды после того предотвратил грозившую ей опасность. При этом он при каждом слове бросал камешки в чужие огороды, но преимущественно швырял их в огород вице-канцлера, убеждая императрицу, что она с полным спокойствием может положиться только на одного его, Лестока, который неусыпно бодрствует над нею и днем и ночью.

От императрицы Лесток, в качестве ее уполномоченного, поскакал к генерал-прокурору, которого противная ему партия силилась «отлучить» от его важной должности, что и самому Трубецкому было известно.

– Ты, князь Никита Юрьевич, – сказал весело, насмешливым тоном Лесток, входя в его кабинет, – ты как-то, будучи у меня в Москве, говорил однажды, что если тебе попадется Алешка Бестужев, то ты уже его не выпустишь, а доведешь до плахи.

– Да ведь он еще ни в чем не попался, – с досадой промычал князь.

– В том-то и дело, что он теперь в наших руках, – самоуверенно проговорил Лесток и затем передал князю сведения, полученные от Бергера и Фалькенберга, а также сообщил о распоряжениях императрицы.

– Если окажется, – начал после того Лесток, – что Бестужевы были в соучастии с Боттой касательно восстановления или хоть освобождения Брауншвейгской фамилии, то этого будет достаточно, чтобы припутать Алешку, да и дело надобно вести так, чтобы виновные оговорили его сколь возможно более. Думаю, что если мы пороемся хорошенько в бумагах его брата, так, может быть, на наше счастье, и отыщется что-нибудь, к чему можно будет прицепиться. Во всяком случае, нужно сделать так, чтобы маркиз оказался виновным, а с ним, как все знают, Алексей Бестужев был в самых добрых отношениях. Ботта постоянно приставал к государыне с просьбою о брауншвейгцах, и не может быть, чтобы он делал это без совещания с Бестужевым, который тоже мирволил бывшей правитель-

нице, – следовательно, здесь была «конспирация», в коей участвовал и младший Бестужев.

– А коль скоро она была, то и говорить нечего; как ни вертись, а уж ответа не убежишь, – отозвался Трубецкой.

Продолжая разговаривать об этом, они положили учинить «пагубу» вице-канцлеру во что бы то ни стало и руководить вопросами и ответами всех прикосновенных так, чтобы они всю главную вину сваливали на Ботту, а затем его вину связать с «факциями» вице-канцлера.

От Трубецкого Лесток поехал к Ушакову. Если внешность генерал-прокурора, по выражению тупости и бездушия, не могла внушить к нему ни расположения, ни доверия, то внешность начальника Тайной канцелярии поражала каждого чувством страха и отвращения. На лице его выражалась не только непреклонная суровость, но и дьявольская злоба. Из-под его нависших густых бровей сверкали каким-то зловещим огнем небольшие серые глаза, которые он настойчиво и злобно упирал на допрашиваемого, при обыкновенном же разговоре он никогда никому не

смотрел в глаза.

Лесток, зная вражду Ушакова к Алексею Бестужеву, передал ему то же самое, что говорил прежде Трубецкому, добавив, что ему, Андрею Ивановичу, как начальнику Тайной канцелярии, придется по настоящему делу повозиться не только с кавалерами, но и с дамами.

Услышав это, Андрей Иванович, проработавший в застенке уже около тридцати лет, с наслаждением облизался.

– Уж будь спокоен, Иван Иванович, – говорил находившийся теперь в хорошем расположении духа начальник Тайной канцелярии, – будь спокоен: сумею я по нитке добраться до клубка.

Хотя сыск по доносу Бергера проводился под строжайшею тайною, но в городе прошел слух, что открыт весьма важный заговор. Это подтвердили и принятые меры: караулы были усилены и во дворце, и во всех кордегардиях; по улицам расхаживали пешие и разъезжали конные патрули; производились обыски: и забирали под стражу то того, то другого. Императрица не поехала обратно в Петергоф,

хотя ее карета и была готова. Распространился общий ужас: кто ожидал дерзких предприятий со стороны мнимых заговорщиков, а кто – и таких людей было громадное число – перебирал в своем уме тех, с кем он виделся и говорил в последние дни, и старался припомнить, не промолвил ли он какого-нибудь неосторожного или опрометчивого слова.

В особенности встревожились в Петербурге, когда разнеслась весть об арестовании таких знатных персон, как Наталья Федоровна Лопухина и графиня Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина. Обе они были статс-дамами, а Бестужева вдобавок к тому была еще невесткою вице-канцлера, пользовавшегося особым доверием императрицы.

Иностранные послы, бывшие в Петербурге, спешили уведомить свои дворы о чрезвычайно важном заговоре, и так как молва примешивала к этому делу имя Бестужева, то все предсказывали вице-канцлеру конечную пагубу, а французский посланник д’Юзон д’Альон, сообщая в Версаль о ненависти Лестока и Трубецкого к Алексею Бестужеву, предвещал его гибель, добавляя, что нужно

воспользоваться настоящими обстоятельствами, чтобы погубить Бестужева, как заклятого врага Франции.

По доносу Бергера и Фалькенберга представился законный повод взяться за Бестужевых, хотя императрица при первом докладе и говорила, что она верит преданности Бестужевых и что с ними следует поступать сколь возможно осторожнее. Но такое заступничество сильнее всего раздражало Лестока, и он старался во что бы то ни стало доказать заблуждение государыни.

Михаил Петрович Бестужев не ожидал никакой беды. Он жил с женою в своем загородном доме. Между тем ночью явилась туда посланная по приказу Тайной канцелярии военная команда. Без всяких объяснений она повезла в Петербург графиню Анну Гавриловну, а мужу приказано было, впредь до дальнейших распоряжений, не отлучаться никуда из этого дома и не иметь ни с кем сношений, а для точного исполнения этого приказа в загородном доме Бестужевых был поставлен военный караул. Все найденные у гофмаршала бумаги были опечатаны и представлены Ле-

стоку. Бестужеву по приезде в Петербург перевели под караулом в цесаревнин дворец.

В это время Иванушка Лопухин очень сокрушался, что не было видно Бергера, привычного собутыльника, и что товарищ Фридриха, Фалькенберг, тоже куда-то исчез. Вскоре он, однако, нашел себе новых товарищей и после одного сильного кутежа с ними крепко спал и громко храпел, когда вбежавший в его спальню лакей принялся сильно тормошить его.

– Пришла военная команда взять вашу милость под караул, – докладывал испуганный слуга.

Не скоро, однако, добудился он подполковника, который, никогда не состояв в военной службе, не привык вовсе к ночным тревогам. Проснувшийся Иванушка только протирал глаза и что-то бормотал, сердясь, что его разбудили не в пору. Недоспавшему Лопухину начальствовавший над командою капитан гвардии Протасов приказал поживее одеваться. Затем его вывели, усадили в наглухо закрытую бричку и отвезли в тайную канцелярию.

Внезапный арест настиг и отца молодого Лопухина, генерал-поручика и александровского кавалера Степана Васильевича. Живя с женою в доме, где, собственно, хозяином был Левенвольд, он тяготился своим положением и потому только изредка приезжал в Петербург, проводя иногда по целому году в своей подмосковной деревне, откуда он, наконец, совсем перестал выезжать после воцарения Елизаветы. Он, как и сын его, болтал под пьяную руку разные «предерзостные» слова насчет императрицы. Но делал он это в кругу таких близких ему людей, которые не выносили сору из избы, и он был слишком далек от мысли, чтобы его привлекли когда-нибудь к ответу по какому-нибудь политическому делу Но теперь к нему в подмосковную внезапно нагрянула военная команда, отряженная по указу Тайной канцелярии. Его взяли под караул, заковали в железа и в темной кибитке помчали в Петербург.

На первом допросе, произведенном Степану Лопухину в тот же самый день, когда его взяли под стражу, он повинился в том, что называл царствование Елизаветы Петровны

«бабьим правлением» и говорил, что теперь жить хуже, чем прежде, что никому веселье на ум нейдет, а веселится одна только государыня. Он сознался, что действительно учинил продерзость, думая, что вскоре должна быть перемена правления и что тогда семейству его будет лучше, чем в настоящее время.

Хотя все это и было на руку Лестоку, чтобы выставить перед императрицей открытый им замысел в ужасающем виде, но все такого рода показания не вели к главной цели – к пагубе вице-канцлера. Нужно было так или иначе приплести его к «конспирации», и предлогом к обвинению Бестужевых должны были послужить их отношения к маркизу Ботта.

На допросе Иван Лопухин показал, что никакого разговора о маркизе, с одной стороны, с Бергером, а с другой – с Фалькенбергом, не было. Вследствие такого отпирательства Лопухина порывалась та нить, по которой следователи рассчитывали добраться до клубка, то есть до вице-канцлера.

– Да что ты так вздумал упорствовать насчет Ботты? Ведь тебе же легче будет, если он окажется виновным. Все поймут, что он был

главным зачинщиком, а ты только следом за ним, по своей глупости, пошел, – убеждал Лопухина Лесток и затем приказал дать подполковнику очную ставку с Фалькенбергом.

Лопухин, уже настроенный на известный лад Лестоком, на этой ставке рассказывал:

– Дело было так. Говорит мне Фалькенберг: «Должно быть, Ботта-то денег не хотел терять, а то бы он принцессу Анну и сына ее выручил», а я против того вымолвил: «Статься может». К матери моей, когда она была в Москве, приезжал Ботта, и после его отъезда мать моя пересказала мне неистовые слова маркиза и передавала, что он и жене обер-гофмаршала графине Анне Гавриловне говорил, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе, и что ей и король прусский помогать хочет. А пересказывала это моей матери Бестужева в ту пору, когда она была у нас в гостях со своей падчерицей графиней Настасьей Ягужинской.

Фалькенберг подтвердил такое показание Лопухина, и этот оговор показался Лестоку достаточным, чтобы приняться за Бестужевых. Вице-канцлер был, однако, пока еще ни при

чем, но Лесток и его единомышленники рассчитывали, что если им не удастся, как намеревался генерал-прокурор, довести его до плахи, то, во всяком случае, они, наведя хоть какое-нибудь подозрение на Бестужевых, уронят их кредит и что после этого Алексей Петрович не останется на своем месте. Поэтому-то им и хотелось выставить его брата «колесом всей машины», тем более что, как все полагали, младший брат действовал не столько самостоятельно, сколько под влиянием старшего брата своего Михайлы.

К начинавшемуся делу о заговоре против императрицы был отчасти примешан и король прусский Фридрих II. Находившийся в Берлине французский посол Валори сообщил своему петербургскому коллеге д'Альону, что приехавший из Петербурга в Берлин маркиз Ботта позволяет себе самые неприличные отзывы насчет России и государыни, а его прусское величество с большим удовольствием выслушивает рассказы австрийского посла.

Такие наговоры на короля Фридриха казались, по тогдашним понятиям дипломатов, весьма пригодными, чтобы поссорить Россию

с Пруссией и «разлучить» их, что представлялось весьма выгодным для исполнения политических планов, имевшихся в виду у версальского кабинета.

XXVII

Выкинутому, по тогдашнему выражению, из воинской российской службы майору Ульриху Шнопкопфу не удалось поступить вновь на службу в Швеции. Несмотря на полученные им под шведскими знаменами раны и на не бесчестивший его нисколько плен под Полтавою, в Стокгольме взглянули на чистосердечного служаку весьма подозрительно, полагая, что он может быть соглядатаем из России. Неудовольствие, высказываемое им против незаслуженного им «абшида», еще более усилило подозрение в шведских властях, которые полагали, что это сделано умышленно, дабы доставить Шнопкопфу более доверия среди шведов. Оскорбленный таким незаслуженным подозрением, майор перебрался в Пруссию, надеясь там найти счастье на закате своей грустной жизни. В Пруссии встретили его радушно, и король по хода-

тайству одного из своих любимых генералов, фон Бюлова, даже назначил старому воину особую аудиенцию в своем, тогда еше пригородном, замке Монбижу.

Перед этой аудиенцией его прусское величество занимался вопросами по внешней политике со своим министром иностранных дел, причем читались чрезвычайно любопытные депеши прусского посланника в Петербурге Марденфельда, в которых сообщались сведения о заговоре, открытом Лестоком. В заключение своего донесения Марденфельд счел нужным заметить, что вследствие этого заговора – действительного или мнимого – стали очень подозрительно относиться к берлинскому кабинету, чему очень много способствуют и доходящие из Берлина к Петербургскому двору насмешливые и враждебные отзывы маркиза Ботта д'Адорно насчет государыни, будто бы принимаемые с большим удовольствием его величеством.

В продолжение этого доклада и последовавшей затем беседы с министром король рассыпал блестки своего не тяжелого немецкого, но игривого французского остроумия.

Одним из главных предметов его острот была Елизавета. Казалось, что насмешки над нею составляли для короля цель его государственной деятельности.

– Наступил в Европе «le regime des cottillons», – говорил Фридрих. – Во Франции правят королевские любовницы, на престолах австро-венгерском и русском сидят дамы, и поверьте, мой друг, – пророчески добавил король, – что нам придется сильно отбиваться от всех этих прекрасных и кротких созданий.

Пророчество это, как известно, сбылось.

Когда деловая работа с министром была окончена, то в королевский кабинет стали входить лица, ожидавшие в приемной приглашения к королю.

Первым вошел туда долговязый и сухопарый итальянец Капелли, подучавший короля играть на флейте. После него вошел толстый генерал фон Бюлов, долженствовавший представить королю покровительствуемого им, Бюловом, майора Шнопкопфа, а следом за генералом выступал знакомый уже нам майор, совершенно одряхлевший. Приехавши в

Пруссию, он позволил себе носить военный мундир, присвоенный ему прежде в России, и прицепил сбоку свой огромный палаш.

Король сидел в это время в креслах, закинув по своей привычке правую ногу на левую и придерживая колено закинутой ноги обеими руками. При виде смешной, а вместе с тем и воинственной фигуры майора он чуть не прыснул от смеха.

«Вот обрадовался бы мой покойный батюшка, если бы ему удалось подцепить такого майора», – подумал король.

– Надеюсь, что мы услышим много интересного о России от этого почтенного старца, – подшепнул королю по-французски стоявший за его креслами министр.

Майор, войдя в королевский кабинет, тотчас же убедился, что он опоздал приехать в Берлин не более и не менее как на целое царствование. Вместо табачного запаха, которым при предшественнике Фридриха несло во всех дворцах, как в казармах и в кордегардии, длинный нос майора защекотало тонкое благовоние французских духов, до которых король был большой охотник. Изумился старик

майор, увидев короля не в военном мундире, как он ожидал, и не в форменной прическе. На Фридрихе был надет гродетуровый светло-сиреневого цвета французский кафтан изящного покроя; ноги его, вместо лосины и кожи, обхватывали узкие панталоны из такой же материи, как и кафтан, и шелковые чулки. Вместо ботфорт со шпорами были надеты легонькие башмачки с блестящими пряжками, а на голову надет высокий, зачесанный по-модному парик, посыпанный душистою пудрою. Вместо черного, в виде ошейника, туго затянутого по горлу галстука, на шее у короля было небрежно завязано батистовое с кружевами жабо. Из-под кружевных манжет виднелись небольшие, белые, точно дамские, руки, и нежность их – к крайнему прискорбию майора – как будто обличала, что его величество никогда не изволил заниматься тогдашнею сложною проделкою ружейных приемов. Умная и привлекательная наружность с едко-насмешливою улыбкою на тонких губах отнимала всякую мысль об его воинственном задоре. Короче сказать, перед майором не явился не только какой-нибудь

военачальник, но даже хоть хорошо вышколенный фендрих, то есть прапорщик, а просто-напросто щеголь, способный только вертеться в гостиных, но никак не выступать на вахтпарадах.

«Неужели же мне, старому служаке, придется стать под знамена такого вертопраха?» – с огорчением думал майор, смотря на короля и на всю его обстановку и видя, что в кабинете Фридриха нет ни форменных тростей, ни эспантонов, ни шпаг, ни палашей, ни касок, ни шишаков, а везде разбросаны только книги, рукописи, листы нотной бумаги, а несколько флейт было разложено на столах и на пюпитрах.

Прежде чем майор успел прийти в себя от нашедшего на него столбняка и отрапортовать о себе его величеству, король заговорил с ним.

– Мне очень приятно, господин майор Шнопкопф, – сказал он и, не окончив начатой фразы, вскочил с кресел.

– Pardon, cher maior, – скороговоркой проговорил король, ласково дотронувшись до руки майора, – un seul moment? – Король по-

спешно взял с пюпитра флейту.

– Представьте, господа, – обратился он к бывшим в его кабинете лицам на французском языке, на котором он говорил обыкновенно, а в забывчивости начинал разговор и с теми, которые не знали этого языка. – Представьте себе, я промучился целое утро, все хотел схватить мотив, который у меня отзывался в ушах, но которого я никак не мог уловить. Теперь он мне попался, и уж я его не выпущу. – И король начал насвистывать на флейте.

Затем он подбежал к столу и начал быстро чертить ноты на разграфленной бумаге. Все, кроме Шнопкопфа, подошли к королю и, наклонившись над столом, стали смотреть, как его величество пестрил бумагу нотными знаками.

– Теперь, синьор Капелли, я попрошу вас разыграть этот мотив, – сказал Фридрих, кладя ноты на пюпитр и подзывая к нему своего коллегу по музыкальным упражнениям.

Сам король тоже взял флейту и, глядя на ноты из-за плеча итальянца, принялся слегка аккомпанировать ему, выбивая ногою такт.

Оказалось, что дело пошло на лад.

Фридрих самодовольно посмотрел на присутствовавших и положил на стол флейту, а итальянец объявил, что мотив этот превосходит все, когда-либо им слышанные, и что если его величество позволит, то он на этот мотив напишет прелестнейшие вариации.

«Да какой же это король? – думал майор, глядя на спешные музыкальные упражнения его величества. – Это какой-то флейтист! Ему, если уж хочет быть музикусом, следовало бы, как человеку военному, играть военные сигналы на рожке или упражняться на барабане, а он взялся за флейту! Чудак!.. И какие у него странные порядки, – продолжал мысленно удивляться майор, – не дал даже мне отрапортовать о себе, как должно по военному уставу, а потом вдруг вздумал извиняться передо мной. Пусть бы он так делал, как король, – на то его добрая воля, – но ведь на нем есть еще и генеральский чин, так разве можно так дружески обходиться с майором, когда тот является к старшему в чине? Просто ни на что не похоже! Такому молодцу, как он, нельзя отдать в команду даже одного плутонга; он все

там сейчас напутает, расстроит и приведет в полнейший беспорядок».

В то время, когда так рассуждал сам с собою старый служака, король сел снова в кресла.

– Я сказал вам, господин майор, что мне приятно вас видеть и еще приятнее будет зачислить вас в мою королевскую службу. Генерал фон Бюлов сделал мне о вас самые лестные отзывы. Скажите мне, отчего вы оставили русскую службу?

– Не я оставил ее, ваше величество, а она оставила меня, – сказал с горестью майор.

– По каким же причинам?

– Насколько я догадываюсь, вследствие доносов. Я с откровенностью солдата говорил, что способ воцарения нынешней государыни был исполнен в противность военному уставу. Я не говорил ничего, когда солдаты пошли против герцога Курляндского, – на нем не было никакого военного чина, и они должны были арестовать его, так как распоряжение об этом шло от их высшего начальника, фельдмаршала графа Миниха. Но когда солдаты осмелились пойти против генералиссиму-

са, то это уже было невероятным нарушением всякой дисциплины.

– Вы рассуждаете, любезный майор, весьма основательно, но, к сожалению, рассуждениям майора, – сказал король, обращаясь к присутствовавшим, – недостает житейской, а отчасти даже и отвлеченной философии. Вы, господин майор, получите соответствующее вашему чину, вашим боевым подвигам и вашим способностям. Вы можете считать себя обеспеченным до тех пор, пока я живу. Но если на поле сражения меня заденет ядро или пуля, то не пеняйте на меня, – добавил, усмехнувшись, король, – я никак не могу ручаться перед вами за моего преемника.

Майор порывался было благодарить его величество, но, видя во Фридрихе не только государя, но и высший военный чин, он не смел нарушить строгость воинских порядков и потому, выслушав, держась навытяжку, милостивое заявление короля, повернулся молча налево кругом и вышел из его кабинета тем же мирным военным шагом, каким вошел туда.

Выходя из Монбижу, майор проходил ту

длинную, узкую, с низким потолком залу, в которой при отце и предшественнике Фридриха II заседала так называемая «Tabak-Collegium». Здесь – как это можно видеть и ныне – кругом продолговатого стола расставлены были простые с твердыми, обтянутыми кожею подушками, крашеные кресла, а на столе перед каждым креслом стояла большая пивная кружка и разложено было несколько трубок. И какое разнообразие представляли эти курительные снаряды! Здесь были и глубокие глиняные и фарфоровые, с коротенькими чубуками трубки, и большие пенковые, с костяными и янтарными мундштуками, а также чубуками из черешни, яблони и т. п. В этой прокопченной табаком зале во время Фридриха-Вильгельма собирались его сподвижники и труженики вахт-парадов, смотров и разных строевых упражнений и выправок. Здесь они пили вино и сосали трубки, набитые голландским кнастером, от которого в комнате дым стоял коромыслом и выедал глаза непривычным людям. Здесь под председательством короля велась чрезвычайно занимательная и назидательная беседа. Говори-

ли, например, о том, что нигде так отлично не вытягивают носки, как в полку графа Бранденбурга; что хуже всего делают полуоборот в полку Шлейница; что нигде нельзя лучше увидеть «равнение по косам», как в полку Шмицдорфа, то есть что если заглянуть сбоку в зад выстроенного фронта, то окажется, что у всех солдат концы кос лежат на одинаковом уровне, чего можно было достигнуть только после чрезвычайных хлопот, усилий и самого напряженного внимания. Здесь старые генералы придумывали новую пригонку амуниции не для удобства и облегчения солдата, а для придания лучшего вида фронту, напяливали на самих себя ранцы, примеряли тесаки и патронные сумки, натягивали себе на ноги краги, а их товарищи отмечали мелком, что казалось мешковатым и сидело не так плотно и красиво, как бы следовало.

Проходя по зале, в которой проходили заседания табак-коллегиума, майор скорбел душою о том, что он в молодости не поступил в прусскую службу.

«Кто знает, может быть, и я был бы членом этого почтенного учреждения, где так пра-

вильно смотрели на солдата, – думалось майору, – а то теперь бог весть что со мною будет; я что-то не очень надеюсь на этого флейтиста». – И майор в печальном настроении вышел из ворот летней королевской резиденции.

– Мне очень понравился этот чудак майор, – сказал Фридрих Бюлову по выходе Шнопкопфа из королевского кабинета. – Пожалуйста, генерал, устройте его хорошенько. Распорядитесь об определении его в мою службу с чином майора и дайте ему в команду какой-нибудь взвод потсдамских инвалидов, а чтоб не обижать старика, назовите этот взвод батальоном. Пусть он потешается им. Не правда ли, господа, – обратился Фридрих к оставшимся еще после майора Канелли, министру и генералу, – что если я поощряю моих иностранных коллег по перу, то на мне лежит обязанность поощрять и моих коллег по оружию, какой бы национальности они ни были?

– Я постараюсь в точности исполнить волю вашего величества, – сказал Бюлов, откланиваясь королю.

– Мы сначала заболтались с вами, любезнейший министр, а потом занялись другими делами, и теперь нам приходится еще раз обратиться к вашему докладу. Я очень рад, что меня начинают заподозривать в сочувствии к Брауншвейгской фамилии и даже в намерении восстановить ее на русском престоле. При этом не соображают, что так как Брауншвейгскую династию поддерживает Австрия, то уже по одному этому не в моих видах хлопотать и заботиться о принцессе Анне и об ее сыне. Но противников не худо вводить в заблуждение, и вы сообщите Марденфельду, чтобы он поддерживал, как будто проговариваясь невольно, что я действительно на стороне Брауншвейгского дома. Мы посмотрим, какие к нам станут доходить по этому поводу ноты из Петербурга. Да, кстати: мне хотелось бы подшутить. Поэтому сделайте вот что: отправьте в «Гамбургскую газету» – конечно, частным образом – статью о том, что его величество, то есть я, Божиею милостью Фридрих Второй, давал особую аудиенцию исключенному из русской службы майору Шнопкопфу, который сообщил чрезвычайно важные сек-

ретные известия о положении дел в России. Майор этот, как говорят, деятельно участвовал в последнем, открытом в Петербурге заговоре. Посмотрим, какой переполох произведет этот старик, который, как говорил мне Бюлов, был глуповат от природы, а от старости и вовсе выжил из ума, да и никогда в политику не мешался. Я, признаюсь, в этих видах и оказал ему особое внимание и полагаю, что выдуманное от начала до конца известие покажется вполне правдоподобным. С своей стороны, пусть Марденфельд постарается распространить под рукою эту выдумку в Петербурге как можно шире. Когда же от него потребуют по поводу этого объяснений, то пусть он отписывается как можно глупее, так, чтобы оправдания его имели такой оттенок, как будто мы действительно попали с майором впросак и теперь не знаем, как вывернуться.

Приказание короля было исполнено. В Петербурге действительно произошел переполох. Стали наводить в делах военной коллегии справки об «абшидованном» сперва, а потом и «выкинутом» из службы майоре Ульрихе Шнопкопфе, и по справкам оказалось, что

на него, еще в бытность его в России, поступали доносы как о человеке опасном и недовольном царствующею государыней.

Между тем сам Шнопкопф, не причастный никаким политическим замыслам, и не подозревал, какое политическое употребление сделал из него столь милостиво отнесшийся к нему король. Он с чрезвычайным рвением принялся за вверенную ему команду и не давал ей покоя, выводя ее ежедневно на плац для обучения и экзерциций. Оказалось, однако, что такая забота майора была вовсе неуместна. У выводимых им на плац инвалидов, вследствие преклонных лет, еле двигались ноги и подкашивались колена; ружья в их руках, дрожавших от старости, как в лихорадке, торчали то в ту, то в другую сторону, как колья полуразорванного плетня. При команде «скуси патрон» они, как беззубые, только жевали бумагу, а если иным и удавалось после многих усилий отгрызть ее, то они по слепоте всыпали порох мимо дула и затем по той же причине стреляли вовсе не туда, куда следовало.

Так как команда майора состояла из вете-

ранов, привыкших к службе, то они не только не тяготились ею, но, напротив, радовались, что их, стариков, наконец, вспомнили и что, быть может, им еще придется когда-нибудь выступить в поле под начальством их лихого командира. Но этот командир и сам стал куда как плох. Он уже не мог твердо стоять на ногах, и когда его команде удавалось кое-как построиться, то ему казалось, что равнение ее весьма неисправно, и наоборот – когда она заваливала назад и извивалась чуть ли не в кольцо, майор приходил в восторг от той выправки, до которой она достигла под его начальством.

До короля доходили порою вести о потехе майора с его командою, и Фридрих от души смеялся над стариком, приказывая, однако, объявлять ему высочайшую благодарность за его усердие и сказать, что при первом же удобном случае он сделает его команде парад и надеется найти «батальон» майора в таком порядке, какой можно будет поставить в образец всей королевско-прусской армии.

Старик утешался этим и мало-помалу сживался с мыслью, что он служит под знамена-

ми короля-флейтиста. Недолго, однако, удалось пожить ему в таком благодатном уголке, каким был тогда Потсдам, где все еще веяло солдатчиной, введенной Фридрихом-Вильгельмом, и где при нем на каждом шагу встречались казармы, плац-парады, гауптвахты, шлагбаумы, кордегардии, караулки, отдельные посты с дежурными и часовыми, неупустительно исполнявшими все тонкости гарнизонного устава. Прошло несколько месяцев – и майор скончался, надорвавшись и простудившись на одном из деланных им ежедневных учений. Тело его было опущено в могилу с воинскими почестями, с наигрыванием на рожках похоронного марша, с барабанным боем и троекратной стрельбою беглым огнем. Над могилой был, по завещанию майора, поставлен скромный памятник с прописанием, однако, всех его военных подвигов, а небольшой, честно скопленный им капиталец поступил, по его желанию, в пользу престарелых раненых и увечных воинов того благотворительного учреждения, в котором он нашел для себя последнее пристанище.

XXVIII

Шутка Фридриха с майором Шнопкопфом не только произвела в высших правительственных кружках Петербурга сильное впечатление, возбудила вражду и крайнее недоверие к берлинскому кабинету, но и вредно, можно даже сказать – пагубно отозвалась на обвиненных в заговоре. Участие Ботты, который был очень ласково принят в Берлине и ловкости которого приписывали поворот прусской политики в пользу Брауншвейгского дома, казалось несомненным, точно так же, как и участие в кознях коварного майора.

– Нет, господа, – горячился генерал-прокурор перед открытием одного из заседаний следственной комиссии, – как вам угодно, а это была непростительная ошибка, что выпустили благополучно майора Шнопкопфа из пределов Российского государства, так как он был уже в числе «намеченных» людей. Мало ли какого вреда он может наделать нам? Теперь нам известно, что он разъезжал по Лифляндии и Курляндии, будто бы для собирания цен и справок по провианту и фуражу, так те-

перь он может сообщить эти сведения и берлинскому кабинету, если бы король прусский, в случае войны с нами, двинул свои войска на Ригу. Да и, кроме того, разъезжая по Лифляндии, он мог высмотреть пригодные военные позиции и хорошие места для кантонир и рефрешир-квартир; мог узнать проселочные дороги, удобные для перевозки артиллерии, да и познакомиться с теми, которые разными способами в состоянии помогать пруссакам.

– Он был наилучшим лазутчиком. Никто не подозревал его гнусного ремесла, и он мог безопасно разведывать обо всем, что должно будет пригодиться для неприятельской армии, – заметил Ушаков.

– Переход майора Шнопкопфа на сторону Пруссии указывает нам на важность «конспирации», а также и на то, что мы самым наитщательнейшим образом должны произвести порученное нам следствие, а потому и подвергнуть обвиняемых пыткам, установленным законом, – заключил Лесток.

Первым ввели в застенок, где присутствовали теперь «знатнейшие персоны», Ивана

Лопухина. Он трясся при мысли о тех страданиях, какие ожидали его, пожелавшего когда-то шутки ради побывать из любопытства в застенке. Тщедушный молодой человек бросился на пол и с воплем просил пощадить его. Он ссылался на то, что если бы он знал еще что-нибудь, то не стал бы укрывать при допросе посторонних после того, как выдал даже свою родную мать. Его потащили палачи на виску, он провисел десять минут и оказал неожиданную для следователей твердость: Лопухин не оговорил вновь никого и не прибавил ничего к своим прежним показаниям, и его спустили с виски.

Теперь очередь была за Натальей Федоровной Лопухиной и графиней Анной Гавриловной Бестужевой-Рюминой, молодой женщиной, которой только что минуло тридцать три года. Им еще при аресте было объявлено, что они лишены звания статс-дам, и Ушаков по приказанию императрицы отобрал у них знаки их почетного звания – портреты государыни. Портреты эти, вставленные в золотые рамки, осыпанные бриллиантами, они носили на левом плече на банте из ленты Екате-

рининского ордена.

Еще на предварительном допросе графиня Бестужева говорила в комиссии:

– Не привлекайте к ответу моего мужа. Я его не люблю, и он меня не любит; между нами нет ни дружбы, ни взаимного доверия. Он не только не причастен к тому, в чем виновата я, но даже ничего не знал об этом. Я о моих делах ничего ему не говорила. Я боялась даже доверить что-нибудь моему мужу. Я пошла за него замуж только потому, что надеялась при посредстве вице-канцлера облегчить судьбу моего брата, но никогда я не любила его. Пощадите его. Клянусь вам Богом, что он не виноват ни в чем. Пусть страдаю одна я!

Такие полные истины и чувства слова не подействовали на следователей, которые во что бы то ни стало хотели добраться до Бестужевых, и потому они направили теперь свои допросы на Ботту.

– Маркиз Ботта, – отвечала Анна Гавриловна, – не только не был расположен к Бестужевым, но даже с насмешками отзывался о них, и между ними и им не могло быть близких сношений.

В свою очередь, Лопухина показала, а сын ее подтвердил:

– Мы зачастую в своей семье говаривали, что если бы на вице-канцлера не было продувного канальи Лестока, то оба Бестужевы и их сторонники были бы самые нерешительные и слабые правители.

Что хотела сказать этими словами Лопухина, догадаться трудно, но они были внесены буквально в протокол допроса.

При входе в страшный застенок Лопухина и Бестужева задрожали, а Лесток равнодушно объявил им, что они сейчас же будут приведены к пытке.

Лопухина взвизгнула от ужаса.

– А что, разве не правду я говорил, что бабы станут визжать, – с улыбкою и подталкивая локтем Лестока, проговорил тихонько Ушаков своему соседу.

Лопухина каким-то диким взглядом осматривалась кругом, где все как будто говорило ей о тех муках, которые ожидают ее.

Если на простых людей, не привыкших и даже вовсе не знавших той роскошной обстановки, в которой жили знатные и богатые ба-

рыни, вид застенка производил потрясающее впечатление, то что же должны были почувствовать Лопухина и Бестужева, очутившиеся, вместо своих уборных, там, где их, вместо осторожных и предусмотрительных прислужниц, должны были раздеть грубые заплечные мастера, посматривавшие на красивых женщин с какою-то омерзительною жадностью?

В то время, когда бедная графиня стояла молча и неподвижно, закрыв глаза рукою и избегая видеть, что около нее делалось, один из палачей подошел к Лопухиной, ухватил жилистыми руками верхнюю часть корсажа ее платья, сильно рванул его книзу и, разорвав весь его перед, быстро стянул рукава, а затем, сдернув сорочку, обнажил плечи, грудь, руки и спину несчастной.

Бестужева, услышав треск разрываемой шелковой ткани, быстро отняла руку от глаз и сильным невольным движением руки, схватившись за голову, распустила свои густые и длинные белокурые волосы, закрывшие ей лицо и плечи. Она бросилась к стене, прислонилась к ней головою и закрыла уши руками.

– Мне нечего больше говорить, – чуть слышно прошептала Лопухина в то время, когда палач подтаскивал ее к веревке, шедшей по желобу большого блока, приделанного к потолку.

Следователи заставили ее провисеть десять минут, потом ее сняли с виски, положили на пол на рогожу, и находившийся тут костоправ принялся осматривать вывихи и вправлять сдвинутые с места суставы. Лопухина то болезненно стонала, то резко вскрикивала, а между тем Лесток, Ушаков и Трубецкой принялись допрашивать ее. Но она говорила так отрывисто и так невнятно, что следователи нашли нужным дать ей время оправиться и постановили отложить допрос ее до другого раза.

Как ни закрывала руками и как ни затыкала пальцами уши Бестужева, но она все-таки слышала вопли и стоны Лопухиной, и, открыв невольно глаза, она увидела вздернутую на блоке страдалицу. Бестужева поняла, что ей предстоят такие же мучения, и стала отстегивать крючки платья, которые по тогдашнему фасону застегивались сзади. Графи-

ня, привыкшая к услугам горничной, не могла этого сделать сама, тем более что руки ее сильно дрожали, и тогда один из старых служителей, состоявших при тайной канцелярии, принялся неумелыми и грубыми руками расстегивать ей платье. Бестужева кое-как сняла его и бросила на пол; то же сделала она с бывшим на ней корсетом, так как, не предполагая, что ей придется подвергнуться пытке, она, как щеголиха, явилась в комиссию в обыкновенном своем наряде.

Когда кончился допрос Лопухиной, она, поддерживая руками спадавшую с ее плеч сорочку, твердою поступью пошла к месту пытки.

– Делайте со мной, что хотите, – обратилась она к судьям, – рвите меня хоть на части, но я не стану лгать и признаваться в том, в чем не виновата, чего я не делала и даже не знала. Повторю вам еще раз, что если бы я и оказалась в чем-нибудь виновной, то муж мой нисколько тому не причастен.

Подошедший к ней палач сдернул с нее сорочку, а затем он, его товарищи, а после них костоправ и судьи проделали с графиней то

же самое, что перед этим проделали с Лопухиной, которую, как потом и Бестужеву, положили на деревянные носилки и отнесли в те казематы, в которых они содержались.

XXIX

Дело, начавшееся по доносу Бергера, принимало все более широкие размеры. При европейских дворах и в заграничных газетах говорили о мнимом заговоре как о чрезвычайном событии, угрожавшем опасностью и императрице Елизавете, и всему государству. Иностранные дипломатические агенты, находившиеся в Петербурге, следили зорко – насколько это им было возможно – за его ходом и сообщали все доходившие до них сведения, разговоры, толки и даже сплетни своим дворам. Король прусский радовался такому положению дел и продолжал глумиться над императрицею и ее министрами, зная их неприязнь к Пруссии.

Между тем Лесток не упускал в этом деле двух главных целей: важности обнаруженного им злодейства и пагубы Бестужевых. К этому присоединялось еще и особое желание –

удружить Франции, которой он не только сочувствовал, как француз по происхождению, но от которой он за свои хлопоты получал еще ежегодно значительную пенсию. Он понимал, что, сблизив версальский кабинет с петербургским, он расстроит добрые отношения России к Австрии, сторонником которой был Алексей Бестужев, его заклятый враг. С этой целью ему нужно было выставить маркиза Ботту как главного руководителя «конспирации», и выставить так, чтобы в этом случае не оставался безучастным и венский кабинет. Поэтому он, как прежде, навел Ивана Лопухина на мысль поворотить на маркиза, так точно и всем прикосновенным к делу внушал, чтобы они, сваливая все на Ботту, тем самым ослабляли бы и уменьшали свою собственную вину.

Во всем этом деле считались главными виновниками Лопухина, ее сын, ее муж и графиня Бестужева.

Несмотря на ту относительную твердость, с какой обе эти избалованные в жизни, в обществе и при дворе дамы выдержали виску, мысль о дальнейших истязаниях ужасала их,

и они, согласно тому, на что наводил их Лесток и его сотрудники, стали говорить, что маркиз хлопотал об освобождении ссыльных: Остермана, Миниха, Головкина и Левенвольда – и обещал содействовать деньгами и всякими способами восстановлению прежнего правительства.

– Маркиз Ботта, – признавалась Лопухина, – ко мне в дом езжал и говаривал, что отъезжает в Берлин. «Зачем же ты едешь туда, Антон Еронимович, – спрашивала я. – Верно, ты что-нибудь худое задумал». – «Да хоть бы и вправду что-нибудь задумал, с вами, русскими, толковать об этом не стану», – говорил он мне. Слов, что он не успокоится до тех пор, пока не восстановит принцессу Анну, я от него не слыхивала. Просила я его, чтоб он не заваривал каши и в России никаких беспокойств не делал, а старался бы только о том, чтобы освободили принцессу с ее сыном и отпустили бы к ее деверю, а говорила я о том, помня прежнюю милость ко мне бывшей правительницы, а не из желания какого-либо зла ныне царствующей государыне. Ботта же повторял, что он будет стараться возвести на

престол Анну Леопольдовну, а я только отмалчивалась. Говорила мне Анна Гавриловна: «Ох, Натальюшка, Ботта и страшен, а иногда и увеселит».

Что касается непристойных и дерзостных отзывов самой Лопухиной об императрице, то, по показанию ее, все такие отзывы ограничивались только словами: «Бог ее суди», да и эти слова, как объяснила Лопухина, вырвались у нее невольно при воспоминании об огорчениях, вынесенных ею от Елизаветы. С Бестужевой разговор о Ботте точно что имела. Муж же ничего не знал, так как она всегда разговаривала с Боттой на немецком языке, которого Степан Лопухин не понимает.

Показание Натальи Федоровны было для Лестока чрезвычайно важной заручкой, и вследствие упоминания ее о Бестужевой следователи принялись с особенным усердием за эту последнюю.

– Не скрываю я, – в свою очередь сознавалась графиня, – что я не тайно, а при многих людях говаривала: «Дай бог, чтобы Брауншвейгскую фамилию домой отпустили»; и в таком моем желании ничего дурного не виде-

ла. С Натальей Лопухиной точно что разговор про Ботту имела и слышала от нее об его намерении возвести на престол бывшую правительницу. Маркиз «из приятства» езжал в мой дом, но в нем о принцессе Анне ничего не говорил. Сказывал только, что едет в Берлин, но что ехать ему туда не хочется, а должен, потому что при тамошнем дворе посланником назначен, а что король будто бы станет помогать принцессе – о том он мне не сказывал. В Москве у Лопухиной неоднократно бывала, а здесь, в Петербурге, была у нее один только раз. Никакого старания о принцессе Анне не имею, да и не знаю никого, кто бы старался о ней.

И показания Бестужевой были на руку Лестоку.

– Теперь ясно оказывается, что Ботта принадлежал к злокозненной конспирации и при поддержке своего двора думал произвести в России великую пертурбацию, – говорил Лесток, рассказывая в обществе о так называвшемся тогда Лопухинском деле.

Муж Лопухиной, после жестокой пытки, уничтожил своими показаниями те способы

оправдания, которые предоставляла ему жена ссылкою на незнание им немецкого языка.

– Антон Еронимович, – рассказывал простодушный моряк-кутила, – частенько бывал у меня и говаривал мне, что было бы лучше, если бы все оставалось по-прежнему, то есть если бы в правительстве была принцесса. Оно, по правде сказать, жилось тогда как-то веселее, и пирушки у разных персон бывали почаще, нежели в нынешнее время. Больно уж всем теперь стало скучно. Маркиз, – продолжал генерал-поручик после этого отступления от прямых своих показаний, – говорил мне также, что теперь пошли у нас беспорядки, что государыня сгоряча отправила в ссылку прежних министров, но что потом о них вспомнит, пожалеет и возьмет их опять к себе. Я же, собственно, насчет министров говорил, что и прежде тут было нехорошо, так как всем они овладели. О том, что я недоволен ее величеством, не раз я говорил. Да и посудите сами, ваши сиятельства, как не быть мне недовольным? – начал жаловаться Лопухин. – При вступлении ее величества на престол был я неповинно арестован, и без всяких при-

чин отняли у меня пожалованную мне деревню и уволили меня от службы без повышения рангом, а сами вы, господа, должны знать, что «кураж» в службе нужен. Когда со мною все это сделали, то я говорил, что лучше бы оставалась правительницею принцесса. Она, моя голубушка, к семье нашей была милостива, и мне было бы при ней хорошо, а что я в этом случае презрел принесенную мной нашей благочестивейшей самодержице присягу – в том рабски приношу повинность и сокрушаюсь сердцем.

Такое простодушное раскаяние генерал-поручика не смягчило следователей, и он через несколько дней был снова поднят на дыбу и провисел десять минут Он не изменил своих прежних показаний и только, надумавшись, как бы удовлетворить хоть сколько-нибудь жестоких следователей каким-нибудь новым на себя наговором, добавил:

– Вспомнил я еще одну за собою вину: говорил я и про господ сенаторов, что ныне между ними путных мало, а почитай что они почти все дураки: дела не делают и только попусту народ в озлобление приводят.

Показания Лопухина имели для Лестока ту важность, что они, по его объяснению, указывали на вмешательство чужестранного министра во внутренние дела Российского государства.

– Да какое же право имел Ботта рассуждать о достоинствах и качествах российских министров и в оскорблении нынешних говорить, что ее величество возьмет к себе прежних? – горячился бывший лейб-хирург и сильно настаивал на виновности Антона Ероним-овича, как главного «заводчика» всего «пакостного» дела.

Следователи принялись снова за Ванюшку Лопухина, уже изломанного, искалеченного виской и встряской и со спиной, страшно исполосованной девятнадцатью ударами кнута, так как комиссия, приступив к рассмотрению его тяжких вин, постановила «поступать» с ним как с сущим злодеем, – «жестоким розыском».

Причиною тому было то, что первый допрос был произведен Лопухину еще в то время, когда он был с головою, отуманенною с похмелья, да и при заборе в комиссию хватил

еще для куражу, и многое наговорил сам на себя.

Раскуражившийся Лопухин болтал, что он усердно желал, чтобы Анне и ее сыну быть по-прежнему на российском престоле, что он не донес о злостном умысле маркиза, хотя и знал о том. Но что считалось всего более преступным, так это то, что он и в самой комиссии называл принца Ивана императором.

– Почему ты о рижском карауле знаешь, что он на сторону принца Ивана склоняется, – спрашивали Лопухина в комиссии.

– Сколько помнится: писал мне о том из Риги Колычев.

– Имел ли ты намерение о свержении с престола благочестивейшей нашей самодержицы и не знал ли за кем такого намерения?

– И сам не имел, и таких людей, которые подобное намерение имели бы, я не знал и не знаю.

– А с чего же ты, злодей, господ министров, придворных кавалеров и знатных персон поносил?

– Говорил я только спроста, что нынешние министры не такие, как были прежде, а кото-

рые из них лучше или хуже – я и сам того не ведаю.

– С кем отец твой в Москве компанию ведет?

– С князем Иваном Путятиным и Михайлом Аргамаковым, да ведет он, – поспешил добавить Иванушка, – только для забавы: пьют они вместе без просыпа.

– А в гости кто к твоей матери ездит?

– Граф Михаил Петрович Бестужев с женою да Софья Васильевна Лилиенфельд.

– Если, как ты показываешь, Бергер в разговорах с тобою подбивал тебя, порицая сам правительство, то почему же ты о неистовых его словах не доносил по команде?

– На то никакого оправдания не имею, – смиренно покаялся подполковник.

Так как в настоящих ответах Лопухина были упомянуты князь Путятин и Аргамаков, то в Москву немедленно поскакал Александр Шувалов, чтобы привезти их оттуда в тайную канцелярию, как лиц, оговоренных Лопухиным.

Вместе с тем, так как в показаниях своих Иван Лопухин упомянул Софью Лилиен-

фельд, жену вице-ротмистра Карла Лилиенфельда, рожденную княжну Одоевскую, то сочли нужным и ее привлечь к допросу.

В то же время шли допросы и всех близких к обвиняемым лиц.

Испуганная явкою перед комиссией, восемнадцатилетняя Настенька Ягужинская, падчерица Бестужевой-Рюминой, под угрозою, что в случае запирательства ее, Ягужинскую, спросят под пыткою, невольно оговорила мачеху, которую она любила, как родную мать.

– Ботта говорил моей матушке, – так Ягужинская постоянно называла свою мачеху, – о своем старательстве, чтобы быть по-прежнему на престоле принцу Ивану. Молодой Лопухин был при этом разговоре и сам много и с горячностью говорил, отчего и мать его, и моя матушка его унимали, чтобы говорить перестал.

Допросили также и другую падчерицу Бестужевой, Прасковью, жену камергера князя Сергея Васильевича Гагарина, но ничего особенного от нее не узнали, так как она решительно и настойчиво утверждала, что ничего

не знает, и против нее не только никаких доказательств, но и оговоров не было.

Софью Лилиенфельд, молоденькую и хорошенькую женщину, привлекли в комиссию не только как свидетельницу, но и как обвиняемую. Эта болтушка ни с того ни с сего наговорила много и на других, и на себя самое.

– Встречалась я, – развязно рассказывала она в комиссии, как будто в кругу добрых знакомых, – встречалась я у Наташи с Аннушкой. Обе они с сожалением вспоминали о принцессе, которая действительно была очень милой и доброй персоной, и все мы сожалели, что она потеряла правление оттого, что слушала Юленьку Менгден. Вы сами знаете, что за сорвиголова была эта девушка, хотя в душе и очень добренькая. Я же на это говорила: «Правда, что нас всех принцесса погубила и к нынешней государыне привела». Каюсь также и в том, что я говорила с Лопухиной и Бестужевой, что лучше было бы, если бы оставалась принцесса, и очень я желала, чтобы ее отпустили на волю. При таких наших разговорах, – добавила она, – бывали княгиня Прасковья Павловна Гагарина и муж ее князь Сер-

гей Васильевич.

Ввиду важных показаний и наговоров на себя самое следователи нашли нужным подвергнуть болтушку пытке, чтобы разведать от нее еще что-нибудь, более важное.

При том направлении, какое следователи, имевшие в виду прежде всего свои личные цели, придали всему делу, они производили не основательный розыск, но вели порученное им дело так, что каждое показание могло только усиливать обвинение или оговор или придать тому и другому более яркую окраску, но никак не служить в пользу тех, которые были в ответе. Лестоку в особенности хотелось добиться указания на то, будто Ботта не жалел золота для приведения в исполнение замышляемого им переворота. Бывший лейб-хирург в особенности дорожил таким указанием, потому что оно напомнило бы Елизавете те средства, какие употреблял Шетарди, чтобы свергнуть власть правительницы, и она вполне убедилась бы в важности этого умысла, обнаруженного Лестоком. Это было тем нужнее Лестоку, что враги его уже начали внушать императрице, что Арман

Иванович нарочно так сильно раздувает дело, начатое по доносу Бергера, желая показать этим свою расторопность и свою бдительность над спокойствием государыни.

Иванушка Лопухин, вывертываясь из беды, в которую попал по милости своего приятеля, начал оговаривать ни с того ни с сего и других.

– Поручик лейб-гвардии Измайловского полка Иван Мошков и дворянин Николай Юрьевич Ржевский, – заявил в комиссии молодой Лопухин, – высказывали мне о своем неудовольствии против правительства. Мошков жаловался на то, что принц Гомбургский обошел его несколько раз чином, и желал, чтобы все было по-прежнему.

– А мне, – отвечал на это поручик лейб-гвардии Мошков, спасая себя от пытки, – отец и мать Ивана Лопухина и графиня Анна Гавриловна Бестужева говорили, будто государыней все недовольны, а это будет поважнее, нежели только неудовольствие против его светлости. Мать Лопухина называла при мне маркиза умным, и она или – теперь не помню хорошенько – Бестужева рассказывали, будто

маркиз не пожалел бы денег, чтобы освободить из ссылки прежних министров.

Мошков и Ржевский показали также, будто Иван Лопухин говорил, что вскоре опять будет принцесса Анна, и что когда они спросили его, от кого он это слышал, то он сказал им, что слышал это от обер-штер-кригс-комиссара Александра Ефимовича Зыбина, а тот в свою очередь слышал это от камер-юнкера Алексея Хитрово. К этому Мошков добавил, что он от Ивана Лопухина слышал такие продерзостные слова, что и повторить их не смеет.

– Да он же, Иван Лопухин, – продолжал обозлившийся на него Мошков, – сказывал мне: говорил-де моей матери Александр Зыбин, что скоро принцессу в отечество ее, в Мекленбург, отпустят, а с нею и ее придворный штат, а в том числе и молодого Миниха, потому-то я, – добавлял Лопухин, – и от службы теперь отбываю, а коль скоро то сделается, то буду я опять из подполковников камер-юнкером. Не бойся, брат Мошков, принцесса попрежнему будет, и мы свое счастие получим, а если наступит война, то я за императрицу

драться не буду, а уйду в прусские войска.

Таким образом, Иван Лопухин оговорил Мошкова на свою, конечно, пагубу, так как теперь, вдобавок к прежним против него обвинениям, объявилось еще новое тяжкое обвинение в измене государству.

Потребовали к допросу и обер-штер-кригс-комиссара, и тот объявил, что о восстановлении принцессы Анны слышал он вовсе не от Алексея Хитрово, а от матери Лопухина.

– Она уж слишком крепко сожалела о бывшей правительнице и желала ее восстановления, – объяснил комиссар. – Я унимал ее от таких слов, говоря, что от таких слов и я могу пропасть, а она мне на то и говорит: «Разве тебе хочется первого кнута?», разумея под тем, что я донесу на нее.

– А зачем же ты, негодник, – крикнул Ушаков на обер-штер-кригс-комиссара, – по своей рабской присяге не донес?.. А?

В ответ на этот вопрос грозного начальника тайной канцелярии Зыбин, задрожав, как в лихорадке, что-то невнятно пробормотал, и неудачное его объяснение не осталось без последствий: его включили в число обвиняе-

мых за недонесение по команде об известном ему зловредном умысле.

С своей стороны, Лесток во всеуслышание говорил:

– Я просмотрел все бумаги гофмаршала Бестужева и секретаря его Функе и уверяю вас, что те, которые говорят о настоящем деле, как о бабьих сплетнях, поступают крайне необдуманно. Я лучше, чем кто-нибудь другой, знаю это важное дело.

Придавая важность сущности самого дела, Лесток сетовал на трудность его производства. В свободное время от занятий в застенке он разъезжал по домам, разнося благоприятные для него вести.

– Как же не быть строгим, если, кроме пустых сплетен да вздорной болтовни, ничего нельзя добиться от этих упрямых баб, – говорил он с досадою, – а между тем дело это первостепенной важности.

Как нарочно, на пагубу обвиняемых, произошел в это время в Москве особый случай, сильно смутивший императрицу и подавший Лестоку очень хороший повод твердить государыне, что всюду около нее гнездится изме-

на.

На торжественном обеде у московского генерал-губернатора Бутурлина генерал Апраксин «в сильном подпитии» начал, в виде застольного спича, произносить похвалы бывшему фельдмаршалу Миниху, а потом, подбежав к окну, дал знак артиллерии, расположенной перед генерал-губернаторским домом для салюта при тосте за здравие императрицы, – и артиллеристы в честь сосланного Миниха отжарили столько выстрелов, сколько положено было учинить их в честь пресветлейшей государыни.

Только известный гвардии, армии и даже флоту, или, как тогда говорилось, «всему свету», сильный запой и неудержимая притом «шумность» его превосходительства, в соединении с воззванием о нем со стороны Бутурлина к монаршему милосердию, спасли его от той жестокой кары, какой бы он подлежал, если бы был трезвым и не шумным генералом.

– Вот видите, ваше величество, – твердил Лесток, – до каких неистовств доходит теперь дело. Можно ли хоть с малейшим снисхожде-

нием относиться к тем, что дерзает умышленно тревожить ваше дражайшее спокойствие конспирациями, столь пагубно влияющими на ваше здоровье?

Решено было не давать виновным ни малейшей пощады и в петропавловский застенок были кроме знатных персон и лиц средних рангов притянуты еще и «подлые люди», а в числе их и домашняя прислуга обвиняемых. Казалось, что следователи в непомерном своем усердии не хотели оставить без внимания ни малейшей мелочи.

Показания привезенных из Москвы Шуваловым собутыльников генерал-поручика – Аргамакова и князя Путятина – были очень различны. Содержимый в каземате и не имея уже возможности распивать венгерское, Аргамаков, что называется, пришел в себя и давал в комиссии очень дельные показания, так что, выгораживая себя, он не делался обвинителем других, и грозившая ему беда миновала благополучно.

Совсем иного свойства были показания Путятина. Отчасти от страха, наводимого на него мыслью о застенке, а отчасти желая вос-

пользоваться случаем, чтобы выслужиться, он повел свою защиту самым коварным образом.

– Я, – объяснялся Путятин перед комиссиею, – дальнейшей дружбы с его превосходительством господином генерал-поручиком и кавалером Степаном Васильевичем Лопухиным не имею; но не забыл я прежних его благодеяний, и как ни тяжко мне делать против него показания, но, по рабской должности и по верноподданнической присяге, свято исполню мой долг перед светлейшей и благочестивейшей государыней. Помоги мне в этом, Господи! – с умилением воскликнул князь, положив три земных поклона перед висевшею в углу застенка иконою. – Расскажу без малейшей утайки все как было. Когда его превосходительство господин генерал-поручик Лопухин был уже камергером, я был только пажом и находился в его благосклонности. Помоги мне, Господи, сказать по моей присяге тяжкую для меня правду о моем отце-благодетеле, – крестясь и смотря на образ, продолжал Путятин. – Я могу сказать, что я был самый близкий человек в доме господ Лопу-

хиных и знал очень хорошо, что там делалось.

Затем он стал оговаривать их в тесной дружбе с маркизом, в разговоре с Боттою о помощи, которую хотел оказать Брауншвейгской фамилии король прусский; упомянул о сетованиях Лопухина-отца на то, что государыня жалует людей непотребных, что при дворе – танцы, веселье и пьянство, и молодой Лопухин смеялся, поддакивая речам отца. Рассказал князь и о том, что Наталья Федоровна Лопухина утаила от конфискации некоторые пожитки Левенвольда в своем доме. Короче, все его показания вели Наталью Федоровну к неизбежной гибели.

XXX

В Вене, в одной из комнат древней городской резиденции Габсбургов, так называемого Гофбурга, сидела молодая дама. Она писала что-то и потом то с досадою, то с веселой улыбкой прочитывала написанное ею, затем перечеркивала, снова прочитывала и рвала исписанный кругом листок бумаги в клочки, бросая их в топившийся в той комнате камин.

Недалеко от этой дамы за рабочим столиком сидела другая, тоже молоденькая дама. Она, казалось, была занята каким-то рукоделием, но занималась им, как можно было догадаться, только для вида, потому что постоянно посматривала украдкой на даму, сидевшую за письменным столом, и добродушно улыбалась, видя, как неудачно шла ее письменная работа.

– Ах, дорогая моя Амалия, если бы ты знала, как тяжело мне бывает иногда заниматься государственными делами, – сказала писавшая дама, оттолкнув от себя лист бумаги и с раздражением воткнув перо в чернильни-

цу. – Посмотри, как я запачкала себе чернилами руки, а между тем из моего писания не вышло ровно ничего. – И она показала своей подруге тоненький и белый пальчик, на конце которого было маленькое чернильное пятнышко. – Ах, как я завидую мужчинам, которые так скоро и так складно умеют сочинять деловые письма. Хотелось бы мне обходиться без них, но, к сожалению, это оказывается невозможным.

– Я предвидела, мой друг, твою неудачу, и подсматривая тайком за тобой, всякий раз подсмеивалась, когда ты сперва перечеркивала, а потом и рвала написанное. Что же ты, однако, написала?

– Я сумела написать только: «Всемилостивейшая государыня, возлюбленная моя сестра и друг».

– А дальше?

– Дальше пошел такой вздор, что я, к крайнему моему прискорбию, должна была убедиться, что вся моя дипломатическая переписка никуда не годится. – И обе молоденькие женщины расхохотались от души.

– Неужели так всегда будет? – вдруг с груст-

ным и озабоченным выражением на лице начала Мария-Терезия. – Неужели же королева Венгерская, Богемская, Иерусалимская, обеих Сицилий, эрц-герцогиня Австрийская, герцогиня Каринтийская, Штирийская, владетельница Тироля, графиня Фландрская, окняженная графиня Габсбургская и прочая, и прочая, – шутливо высчитывала свой длинный титул хорошенькая дамочка, – неужели она никогда не в состоянии будет управлять подвластными ей королевствами, герцогствами, княжествами, графствами, областями – и уж не знаю чем еще? Неужели она должна будет передавать все дела в чужие руки? Это ужасно!

– Нам с тобой, мой дружок, всего двадцать с небольшим лет; ведь в эти годы и мужчины бывают еще и неопытны и глупы…

– И остаются такими навсегда, – хочется тебе добавить, – рассмеявшись, перебила свою подругу королева.

– Я знаю, на кого ты намекнула, – подхватила графиня Фукс. – Разве тебе это не стыдно? – шутливо спросила она.

– Тебе известно, что между нами нет ника-

ких тайн, так зачем же я буду перед тобою, моим лучшим другом, лицемерить и лукавить? Я люблю моего дорогого, моего ненаглядного Франца... но... но я каждой девушке дала бы совет не выходить замуж за человека, которому нечего делать, или, сказать вернее, который не умеет ничего делать. Он докучает мне своим бездельем: целый день ходит из угла в угол, насвистывает, напевает что-то или смотрит в окно на проходящих и проезжающих из одних ворот Гофбурга в другие. Он, как мне кажется, страшно скучает от ничегонеделания, и мне иногда бывает очень жаль его. Ну, что бы ему теперь прийти сюда и помочь мне сочинить очень щекотливое письмо к русской царице.

– По моему мнению, он отлично делает, что не приходит. Пусть поработаешь ты сама и, попривыкнув к делам внутренней и внешней политики, ты будешь со временем великой и славной государыней.

– А мой милый, мой дорогой Франц? – перебила с живостью Мария-Терезия.

– Извини за прямоту, но мне думается, что он всегда останется таким, как теперь.

Графиня Фукс могла говорить с королевой, ставшей потом императрицею, с полною искренностью. Редко представляются примеры такой тесной и горячей дружбы, какая существовала между государыней и Амалией. Это подтверждается тем, что графине после ее смерти был оказан со стороны Марии-Терезии небывалый ни прежде, ни после почет: ее погребли в Вене, подле императрицы, в императорской усыпальнице, где покоятся исключительно только члены Габсбургского дома. Мария-Терезия не захотела разлучаться с своей подругой даже и в могиле.

Слова графини оказались пророческими. Ее королева прославилась впоследствии как женщина большого ума, как образец супружеской жизни и как разумная государственная хозяйка. Она отлично вела и внешнюю и внутреннюю политику, любила без памяти своего Франца, прекрасно воспитывала своих детей и жила просто, не мотая денег на пышность и роскошь и на разные свои прихоти. Она сумела царствовать без шумих, без трескотни и без блеска, ослепляющего современников. Научилась она ловко писать и дипло-

матические письма и ловкою вставкою в одно из них, посланное маркизе Помпадур, только двух слов «ma cousine» – повернула вверх дном политику версальского кабинета так, что Франция оказалась на стороне Австрии. Но все это было потом, когда годы обратили ее в довольно сумрачную старуху, а в 1743 году она была молоденькая, очень миленькая и чрезвычайно стройная женщина, веселая и находчивая.

Сбылись также слова графини и относительно милого и дорогого Франца. Он, как говорится, проваландался попусту всю жизнь. В 1746 году, когда римско-немецкий император Карл VII, по словам тогдашних русских газет, «представился внутреннею подагрою», Франц, герцог Лотарингский, супруг Марии-Терезии, был избран в немецкие кесари и, таким образом, сделался родоначальником ныне царствующего в Австрийской империи Габсбурго-Лотарингского дома. Самый высокий в ту пору сан римско-немецкого императора был как нельзя более по плечу ленивому и беззаботному Францу, так как, нося этот сан, ему ровно ничего не приходилось делать.

Употреблял он свое беспечно-досужее время на волокитство, за что и был отдан Марией-Терезией под секретный надзор венской полиции, главный начальник которой и сообщал на ушко императрице о всех любовных шашнях ее супруга. С своей же стороны, он только удивлялся, каким образом могла знать об его проделках его августейшая супруга, за что и получал от нее заслуженные им головомойки.

Франц, разумеется, не пришел помогать своей супруге в ее дипломатических сношениях, которые касались маркиза Ботты. Так как имя его мелькало беспрестанно в деле о «конспирации» и притом с положительным указанием на ее «вредительные» намерения, то в Петербурге решили добраться по мере возможности и до Антона Еронимовича. Это было тем удобнее, что такому намерению канцлера Черкасского и Лестока не мог противостоять расположенный к Австрии русский вице-канцлер. Брат его, как и Ботта, был замешан в деле, и следовательно, всякое слово, сказанное не только в защиту, но хоть в пользу маркиза, могло навести подозрение на

самого вице-канцлера. Поэтому он отстранился от всякого участия в переписке насчет бывшего в Петербурге австрийского посланника, и в коллегии иностранных дел была составлена и потом отправлена венскому кабинету обширная и резкая нота. В этой ноте выставлялись на вид все «богомерзские факции» маркиза и добавлялось, что российский двор, находясь в самых дружественных отношениях с австрийским двором, никак не может допустить мысли, чтобы господин маркиз при своих действиях мог сообразоваться с данными ему инструкциями, и потому он только лично должен отвечать за свои поступки. Сообщали также в Вену из Петербурга, что и в настоящее время Ботта, находясь австрийским посланником в Берлине, восстанавливает короля прусского против государства Российского и тщится возвратить, с помощью его величества, на всероссийский престол отлученную от оного Брауншвейгскую фамилию; что он позволяет себе дерзостные отзывы об ее величестве, ее правительстве и ее министрах. По всему этому в упомянутой ноте требовалось как унять злобно болтливого маркиза, так и

наказать его «перед целым светом».

Это-то требование и ставило в затруднение еще неопытную в державных трудах и в дипломатическо-увертливой переписке Марию-Терезию. В ней прежде всего говорило в эту пору не очерствелое еще женское чувство, а врожденный ее рассудок, хотя еще и очень слабо, все-таки противоречил этому чувству.

– Как мне жаль бедную принцессу Анну, – нередко говорила королева, – в такие молодые годы испытать такой страшный переворот в жизни и быть обреченной на вечное заточение! Это ужасно! Я была бы очень рада, если бы она была не только восстановлена, но если бы ее хоть выпустили на свободу. Если маркиз Ботта старался о том, то, признаюсь, я вполне ему сочувствую и должна считаться его тайной соучастницей в этом добром деле. Как жаль мне и тех, которые теперь должны страдать за нее.

Под влиянием этих чувств она и пыталась написать Елизавете прямо от себя. Но, перечитывая написанное, она убеждалась, что это вовсе не деловое письмо, а какой-то трагический монолог, написанный в пользу стражду-

щей и угнетенной женщины. Она понимала, что составленное в таком смысле письмо не только не может принести пользы принцессе, но еще более раздражит против нее императрицу и убедит ее в той пагубной мысли, что маркиз, ввиду сочувствия своей государыни к несчастной Анне, мог действительно всеми способами стараться не только об ее освобождении, но и о восстановлении ее правительства.

На выручку королеве явился ее министр иностранных дел Улефельдт. Он доложил ее величеству, что русский посланник в Вене настоятельно просит дать ответ по делу о маркизе, что он, Улефельдт, переписывался уже с послом, ссылаясь на то, что у него, министра, были в руках все реляции, шедшие из Петербурга. При этом граф Улефельдт передал ее величеству содержание полученного им ответа, который, написанный в подлиннике по-русски, гласил так: «Жалобы идут не на реляции, а на богомерзские поступки Ботты, на разговоры его в конфиденциальных обхождениях, продерзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения», и очень долго ра-

ботала венская канцелярия для перевода на немецкий язык этих страшных обвинений.

Королева сообщила министру о своем намерении списаться непосредственно с императрицею, но министр чрезвычайно осторожно отклонил такой способ сношений, предвидя очень хорошо, что из переписки двух дам может возникнуть еще большая путаница. Улефельдт объяснил Марии-Терезии, что оставлять дело о маркизе Ботта без ответа нельзя, так как это будет принято не только за доказательство его виновности, но и за сочувствие венского кабинета образу его действий; что от маркиза, как от обвиняемого, следует потребовать объяснений и что во всяком случае следует поступать с Россией крайне осмотрительно.

Королева вполне согласилась с доводами своего министра, рассудительно и хладнокровно взвешивавшего все могущие быть «конъюнктуры», и поручила ему вести дело непосредственно от себя, и тогда началась обширная дипломатическая переписка.

«Неприятели наши, – писал Улефельдт русскому послу в Вене Ланчинскому, – затеяли

на маркиза Ботту тяжкие обвинения; он человек рассудительный, как мог он таким постыдным образом вмешиваться в дела чужого государства». На это оправдание Ланчинский отвечал, что виновность маркиза несомненна, так как на это имеются ясные, несомненные доказательства в показаниях виновных.

«Но преступники могли оговорить маркиза, чтобы ослабить свою вину», – возражал Улефельдт.

В Вене отписались в том смысле, что преступления маркиза не подтверждаются никакими письменными доказательствами.

«Точно, что нет письменных доказательств, потому что и переписываться не было надобности при частых свиданиях заговорщиков между собою», – отозвались на это из Петербурга.

После того из Вены попытались было намекнуть в Петербург, что все дело Ботты не что иное, как только коварная проделка французской политики, что «в Париже радуются делу Ботты не менее, чем победе над Австрией, и хвалятся, что могут разрушить союз России с Австрией».

Между тем маркиз представил затребованное от него объяснение, в котором он писал, что с вдовою графа Ягужинского, которая, как он полагает, в его уже отсутствие из Петербурга вышла замуж за гофмаршала графа Бестужева, он виделся раз в неделю, а у госпожи Лопухиной бывал в Москве; что действительно он высказывал свое сожаление о Брауншвейгской фамилии не только перед ними, но и перед самой императрицей; что он хвалил бывшую правительницу, но хвалил также и царствующую государыню; что с госпожою Лилиенфельд он виделся лишь один раз и при этом свидании вел с нею только веселый, шуточный разговор. Он утверждал, что никогда не отзывался дурно ни об императрице, ни об ее правительстве и что молодая графиня Анастасия Ягужинская может подтвердить, что когда ее мачеха оплакивала своего брата графа Головкина, то он, маркиз, утешал ее упованием на Бога и на милость государыни. В заключение маркиз добавляет, что позволяет себе думать, что он, в его годы, не может быть так легкомыслен, чтобы замышлять государственный переворот, имея

своими сообщниками – как это обнаружено следствием – только двух дам.

Объяснение Ботты было препровождено в подлиннике в Петербург с заключением австрийского министерства, что оно вовсе не признает маркиза виновным, как считает его петербургский кабинет. И ответ и заключение произвели в Петербурге сильное раздражение, вследствие чего Ланчинскому приказано было выехать из Вены, «не откланиваясь королеве».

Едва ли кто-нибудь во всей Европе так искренне радовался, как Фридрих II, тому обороту, какой принимало дело маркиза Ботты, расстроившее дружественные отношения между Россией и Австрией. Король ласкал маркиза, который был в это время его постоянным собеседником и от которого он запасся всевозможными сведениями об императрице и ее приближенных. Но теперь Фридрих, в отчаянии поживиться чем-нибудь, неожиданно и круто повернул свою политику. Он видел, что императрица и королева достаточно уже разошлись между собою и что при этом условии будет всего выгоднее примкнуть реши-

тельным образом к одной из двух поссорившихся сторон, и, по хорошо рассчитанным соображениям, он перешел на сторону петербургского кабинета.

Не получая еще от него никаких сообщений по делу Ботты, Фридрих отказал маркизу в приеме при дворе, и оскорбленный Ботта должен был немедленно оставить Берлин. Фридрих приказал также уведомить петербургский кабинет, что он таким образом распорядился с австрийским послом, осведомившись о неблаговидных поступках маркиза и из глубокого неизменного уважения к императрице Всероссийской и, как будто на смех, уверял при этом, что прямоту и честность он считает главным условием международных отношений. В Петербурге были чрезвычайно довольны распоряжением короля, который, желая угодить Елизавете, пошел еще далее в своем нерасположении к Брауншвейгской фамилии. При свидании с русским послом в Берлине графом Чернышевым этот лицемер, философ, флейтист, полководец и кропатель французских виршей начал наигрывать на словах, как наигрывал на флейте, самые чув-

ствительные мотивы. Он сказал графу, что скорбит всею душою о тех тревогах и о тех огорчениях, какие причиняют императрице принцесса Анна и ее сторонники.

– Я нисколько не сомневаюсь, – говорил король Чернышеву, – что Ботта имел твердое намерение возвести на престол принца Ивана и низвергнуть настоящее правительство, а также и в том, что он в этом случае действовал по особому секретному предписанию своего двора. Итак, – продолжал король самым доброжелательным голосом, – чтобы потушить последние искры, тлеющие под пеплом, я, как истинный и преданный друг вашей государыни, посоветовал бы ей, нимало не медля, отправить Брауншвейгскую фамилию в такое отдаленное и глухое место, чтобы о ней никто уже не знал и не слышал.

Такое внушение Фридриха решило бесповоротно участь злосчастной правительницы и ее семейства.

При неожиданном повороте прусской политики и ввиду начинавшегося сближения России с Пруссией пришлось и венскому кабинету иначе, чем прежде, отнестись к делу

маркиза Ботты.

В Петербург по этому поводу была отправлена депеша, в которой от имени Марии-Терезии было написано: «Предоставляем самому российскому правительству назначить какой угодно ему срок для заточения Ботты в крепости Грец, куда мы его и отправили, не ожидая окончания следствия и удовлетворяя желанию русского кабинета. Мы готовы продержать его там полгода и более».

Казалось бы, такой исход дела Ботты должен был опечалить вице-канцлера, но, напротив, он радовался и торжествовал, так как рассчитывал, что, вследствие такой уступки со стороны венского кабинета, он сумеет мало-помалу восстановить прежние дружественные отношения России к Австрии и повести свою политику во вред интересам Франции и к крайней досаде ненавистного ему Лестока, о падении которого он принялся хлопотать теперь еще деятельнее, чем прежде.

По его внушению императрица отвечала Марии-Терезии следующими великодушными строками «Я предаю все дело забвению, а

насчет де Ботты, по царской милости, не желаю более ни наказания, ни возмездия ему, а освобождение его предоставляю ее величеству королеве венгерской».

Маркиз Ботта, выпущенный из Грецкой крепости, поступил снова в военную австрийскую службу и умер в 1774 году в глубокой старости, на восемьдесят втором году своей жизни.

XXXI

Переписка с Веною насчет Ботты нисколько не замедлила хода следствия над обвиняемыми в злом умысле против императрицы.

По окончании следствия было составлено «генеральное собрание» в Сенате. В состав его кроме высших сановников и сенаторов вошли еще и духовные лица, а именно: епископ Суздальский Симеон, Псковский епископ Стефан и архимандрит Троице-Сергиева монастыря Кирилл.

В этом собрании только один сенатор, имя которого осталось неизвестным, полагал, что будет достаточно предать виновных обыкновенной смертной казни, так как, говорил он,

осужденные еще никакого насилия не учинили, да и русские законы не содержат в себе точного постановления на такого рода случаи относительно женщин, которые в настоящем деле составляют большинство.

Но мнение этого сенатора было отвергнуто прочими членами собрания. Особенно горячился в настоящем случае принц Гессен-Гомбургский, обыкновенно уклонявшийся, по незнанию им русского языка, от участия в обсуждении государственных дел. Но на этот раз у него нашлось умение говорить по-русски, хотя и очень плохо.

– Неимение письменного закона не избавляет виновных от наказания, – крикнул он, вскочив с места, – да и в настоящем случае кнут и колесование должны считаться самыми легкими казнями.

Принцу, подавшему такое мнение из приязни к Лестоку, начали вторить и другие сановники и сенаторы и предлагали, как и он, посадить виновных на кол. Трубецкой настоятельно требовал колесования Бестужевой, хотя лишь несколько лет тому назад похоронил ее родную сестру, а свою жену – Анаста-

сию Гавриловну рожденную Головкину После довольно продолжительных суждений собрание приговорило Бестужеву, а также Лопухиных – отца, мать и сына – к урезанию языков и колесованию, Мошкова и князя Путятина – к четвертованию, а Зыбина и Софию Лилиенфельд – к обезглавлению.

По постановлении приговора Лесток, как первоприсутствующий, обратился к собранию с вопросом: не пожелает ли кто возразить против этого приговора?

Но все безусловным молчанием выразили на него согласие.

Приговор был подписан девятнадцатью членами «генерального собрания», и положено было привести его в исполнение перед «коллежскими апартаментами», то есть на том месте на Васильевском острове, где ныне находится биржевой сквер перед зданием университета, занятым в то время двенадцатью коллегиями.

29 августа 1743 года Петербург пришел в сильное движение, так как накануне по городу было объявлено с барабанным боем что на следующий день будет произведена казнь

над обвиненными в злом умысле против персоны ее величества. Все кинулись на Васильевский остров. Но многие, к своему сожалению, ошиблись в своих ожиданиях. Хотя на площади перед «коллежскими апартаментами» высился сколоченный из старых грязных досок эшафот, но на нем не видно было ни колеса, ни плахи, ни спиц, на которые втыкали отрубленные головы. Догадывались, что, должно быть, государыня смягчила приговор, постановленный «генеральным собранием».

На эшафоте, около столба, сделанного наверху в виде буквы «глаголь», висел под деревянным навесом сигнальный, довольно большой колокольчик, в который звонил один из экзекуторов, извещая о начале казни, а по площадке эшафота расхаживали палачи, развешивая через перила длинные ременные кнуты. Не только вся площадь и галереи бывшего тогда там гостиного двора, но и крыши окружавших домов были наполнены народом. Из окон коллежских апартаментов смотрели представители и представительницы высшего общества, между которыми находились и все члены «генерального собрания».

Полицейские драгуны расставляли экипажи знатных персон на особом, как бы почетном месте, с которого лучше можно было видеть все происходящее на эшафоте.

Все это, конечно, мог заметить только посторонний человек, но осужденные, которых вывели на площадь под крепким, окружавшим их со всех сторон конвоем, не знали еще о тех мучениях и казнях, которые ожидали их.

Экзекутор зазвонил в колокольчик, и приговоренных к казни взвели на эшафот при барабанном бое. Затем, по данному сенатским секретарем знаку, барабаны смолкли, и по команде начальствующего над военными отряд взял ружья на караул, а секретарь начал чтение длинного указа. В указе этом излагались все вины осужденных, а затем и состоявшийся о каждой и о каждом из них приговор, с дополнением, что государыня отменила смертную казнь, заменив ее наказанием кнутом, с урезанием языка, Лопухиной и Бестужевой. Софию же Лилиенфельд, по причине приближающихся родов, на площадь не выводили, но приказано было объявить ей, что по раз-

решении ее от бремени она будет высечена плетьми. Все это и было исполнено.

Степан Лопухин и его сын не перенесли пыток и жестокого битья кнутом и вскоре оба умерли в отдаленной ссылке. Лопухина была отправлена в Якутск. Она протомилась в ссылке почти двадцать лет. Никто не узнал бы в возвращенной впоследствии старухе прежнюю блестящую красавицу. Годы и страдания слишком изменили ее. Возвратясь из ссылки при Петре III, она стала посещать тот круг общества, в котором жила прежде, и когда хотела сказать что-нибудь, то наводила на всех ужас, так как вместо прежнего звонкого голоса теперь слышалось какое-то дикое мычание. Бестужева, как меньше пострадавшая при урезании языка, могла, хотя и с большими усилиями и весьма неясно, выговаривать некоторые немногосложные слова.

Обер-гофмаршал Михайла Бестужев-Рюмин, остававшийся во время производства следствия над его женою под арестом, был по окончании дела посажен в каземат, где и отсидел три месяца, после чего его отпустили за границу «для поправления здоровья и для

развлечения». Шестидесятидвухлетний старец развлекся там на свой лад, женившись на молоденькой и хорошенькой вдовушке графине Гаугвиц.

Брат его Алексей, несмотря на козни Лестока, по смерти князя Черкасского был сделан канцлером. Впоследствии, однако, и ему пришлось отправиться в ссылку, но не в отдаленную.

Кара, постигшая Лопухину, ее мужа и старшего сына, отразилась и на других детях Натальи Федоровны. Старшая дочь ее, Наталья, была лишена фрейлинского знака и удалена от двора, а два младших сына были отправлены к их родственникам в дальнюю деревню. Оба брата ее, Петр и Владимир, долго содержались под арестом, а потом не были допускаемы ко двору. Имения сосланных Лопухиных были отписаны на государыню и розданы ею другим.

О майоре Фалькенберге не встречается никаких сведений.

Поручик Фридрих Бергер был награжден и деньгами и поместьем и переведен в конную гвардию. Впоследствии он был подполковни-

ком гвардии.

Дальнейшая судьба его неизвестна.

Переполох в Петербурге

I

Одною из первых улиц Петербурга, основанного Петром Великим среди густого и топкого леса, был проложенный в виде просеки нынешний Вознесенский проспект, носивший первоначально, как Невский проспект, название «першпективы». Излишним кажется и говорить, что он был в ту пору нисколько не похож на нынешнюю обстройку этого проспекта – как одной из самых оживленных улиц нашей столицы.

По обеим сторонам Вознесенской просеки, начиная от Адмиралтейской площади, расстилавшейся в виде луга, на котором паслись коровы, тянулись небольшие двух- и одноэтажные дома с покатыми черепичными кровлями. Между этими домами каменных домов было очень немного, и почти вся улица состояла только из деревянных домиков, бревенчатых, не обшитых даже тесом. Лес был у обитателей этой улицы в первое время под

рукою в большом изобилии, так что неприхотливая, соответствовавшая тому времени постройка домов не представляла почти никаких издержек, а земля раздавалась даром.

Прилегающие к Вознесенскому проспекту улицы сохранили доныне полученные ими названия, соответственно званию первоначальных их жителей. Около этой першпективы поселились мещане (Мещанская улица) и подьячие (Подьяческая улица) – мелкие гражданские чиновники разных правительственных учреждений, а на самой «першпективе» стали селиться преимущественно ремесленники из немцев, и такого рода население придавало ей особый отпечаток, делая ее чем-то вроде Немецкой слободы, существовавшей в Москве. Впрочем, в настоящем случае была та разница, что в Москве немцы, т. е. иностранцы вообще, скучивались исключительно в одной Немецкой слободе, тогда как в Петербурге они расселились почти повсюду, подразделяясь как бы на особые племенные поселки, соответственно той или другой национальности. Так, на Вознесенской першпективе поселились преимущественно немецкие бюрге-

ры, приезжавшие из завоеванных Петром Великим Лифляндии и Эстляндии; на левом берегу Невы, вниз от Адмиралтейства – англичане; Васильевский остров заняли преимущественно голландцы, а в Конюшенных расположились французы и швейцарцы.

Немцам жилось в Петербурге недурно. Они занимались главным образом ремеслами, а также открывали разные промышленные заведения, между прочим трактиры и пивные лавки. В Петербурге немало появлялось хозяев таких заведений из немок. Хотя в подобные заведения собирались сначала одни только немцы, но мало-помалу стали посещать очень охотно немецкие трактиры и русские. Трактиры эти под бдительным надзором хозяек отличались, сравнительно с русскими харчевнями, опрятностью, более разнообразными и более вкусными кушаньями и внимательным обхождением с посетителями, причем сметливые хозяйки-немки в особенности старались угождать и быть любезными с посетителями из русских, которые, в свою очередь, были гораздо тароватее, чем немцы.

Вознесенский проспект был одною из удобных местностей для открытия трактира, потому что в него могли собираться не только тут же жившие немцы, но и жившие около этих местностей подьячие, а также и потому еще, что содержательница такого заведения при исправном ведении дела могла рассчитывать на посещение ее заведения еще и другими более доходными потребителями.

Не в дальнем расстоянии от Вознесенской першпективы – сравнительно с огромными расстояниями, существовавшими и существующими в Петербурге, – были за «Фонталкой», или Фонтанкой, выстроены светлицы одного из гвардейских полков, а именно – недавно учрежденного Измайловского полка. Офицеры этого полка, по неимению в окрестностях светлиц, подходящих для помещения лиц офицерского звания, располагались на житье в прилегавшей к упомянутой першпективе улице, которая и ныне носит название Офицерской. Большая часть офицеров Измайловского полка в ту пору, к которой относится наш рассказ, были из немцев. Мало того, во время регентства герцога Курляндского пред-

полагалось иметь в этом полку личный состав офицерства исключительно из одних только немцев. Так как Измайловским офицерам приходилось ежедневно ходить на полковой двор для экзерциций, то они были очень довольны, когда на перепутье в полк, в одном из скромных переулков, прилегавших к першпективе, открылся небольшой и чистый трактирчик, где они сходились между собою, могли пообедать, выпить пива, побеседовать и поиграть в карты, в шахматы или на бильярде в своем товарищеском кружке. По следам первоначальных посетителей этого трактира, измайловских немцев, стали заходить и заезжие туда их товарищи из русских, а также и офицеры других полков, безразлично как немцы, так и русские, и в конце сороковых годов прошлого столетия новооткрытый трактирчик стал пользоваться среди петербургской гвардейской молодежи лестною известностью как заведение, где не только можно сытно и опрятно поесть, но и провести приятно время в кругу товарищей и знакомых.

II

Число молодых посетителей этого трактира возрастало все более и более, так как в нем явилась для молодежи новая приманка. Сметливая хозяйка хорошо разочла силу такой приманки. В трактире ее появилось в качестве прислужниц несколько молоденьких и хорошеньких немочек, не только опрятно, но и щеголевато одетых по немецкой моде. Эти молоденькие девушки держали себя не как заурядные служанки, но было заметно, что им были даны хозяйкою особые наказы, а именно не только проворно и вежливо служить, но еще и стараться нравиться посетителям без различия их возраста. Вследствие таких наказов девушки-немки усердно и торопливо прислуживали гостям, но, когда эти последние начинали разговаривать с ними, а тем еще более, когда они от самых простых, самых невинных шуток или разговоров переходили к любезностям, то немочки стыдливо улыбались, опускали вниз глаза и принимались жеманиться. Это, разумеется, еще более подзадоривало молодых посетителей. Когда

же они намеревались взять какую-нибудь девушку за талию, то такая, считая себя оскорбленною, отталкивала невежливого посетителя и быстро с гневными словами убегала из комнаты. Вслед за тем являлась сама хозяйка. Она вела за руку обиженную посетителем девушку, у которой из глаз выступали слезы, а сама с гневным выражением на лице обращалась к невежливому посетителю с выговором, замечая ему, что он должен вести себя в ее заведении прилично и не позволять себе такого обращения, какое может оскорбить честную и невинную девушку, – жалобщица в это время, прихныкивая, утирала концом фартука заплаканные глаза.

Посетители обыкновенно спешили извиниться перед «мадамой», и она от строгого тона постепенно переходила к мягкому и дружескому разговору и уже ласково просила посетителя не затрагивать ее хорошеньких служанок, так как в противном случае она вынуждена будет отказать им, не желая, чтобы в ее заведении, о котором идет в Петербурге такая добрая молва, происходили какие-либо неприличия или соблазны.

Обыкновенно такие столкновения оканчивались самым миролюбивым образом. Обвиненный посетитель спешил вознаградить чем-нибудь сделанный им промах и требовал в дополнение к прежним яствам и питиям кусок ветчины или пару сосисок с картофелем, который в ту пору считался в Петербурге большою редкостью и как привозный из-за границы плод ценился очень высоко. Вдобавок к тому, выходя из трактира, он давал прислуживавшей ему девушке на кофе небольшую серебряную монету вместо огромных тогдашних медных алтынов. При следующем посещении девушка относилась к знакомому уже ей гостю более снисходительно, встречала его приветливо и уже не была так стыдлива, как еще несколько дней перед этим, но, улыбаясь, отвечала на его вопросы, а потом мало-помалу позволяла не только взять за талию, но и поцеловать себя.

Такая хотя и притворная скромность нравилась в особенности русским посетителям трактира, не привыкшим к таким приемам женского кокетства, и им приходилось завидовать немцам, так как эти последние могли

свободно объясняться и шутить с миловидными немочками, которые стали уже подседать около столов к обычным посетителям и сами принимались любезничать с ними. Короче сказать, дела содержательницы трактирчика шли с каждым днем все лучше и лучше и получаемые ею еженедельные выручки заметно увеличивались.

III

Хозяйка этого заведения Амалия, а по отчеству в России Максимовна, Лихтер была известна в Петербурге под несложным прозвищем «Дрезденша». Такую кличку она получила по месту своего рождения и прежнего местопребывания в городе Дрездене, о котором она любила всегда говорить – с немцами, разумеется, по-немецки, а с русскими – по-русски, объясняясь с этими последними хотя и на исковерканном, но все-таки очень понятном русском языке. Амалия Максимовна восторгалась Дрезденом, считая его самым развеселым городом. Она отчасти была права в своих восторгах, так как около той поры едва ли где во всей Европе была такая веселая и

разнообразная жизнь, какую вели в Дрездене, столице курфюрстов саксонских, уже в двух нисходящих поколениях преемственно сидевших на королевском польском престоле. Оба Августа, отец и сын – короли курфюрсты – любили веселую, шумную и роскошную жизнь и заносили из Варшавы в свой наследственный город немало тогдашних польских обычаев, способствовавших общественному оживлению Дрездена.

В свою очередь и Дрезденша стала переносить в Петербург из своего родного города небывалые еще у нас разнообразия по увеселительной части. Когда она привлекла уже достаточное число посетителей, то перебралась в другой, бывший по соседству с ее трактирчиком, большой дом и отделала в нем обширную залу с возвышенною эстрадою, на которую в один прекрасный день вошло несколько молодых и хорошеньких девушек. Одни из них сели на стулья, поставленные на эстраде около арф, а другие, стоя на эстраде, принялись распевать то в одиночку, то хором разные немецкие песенки, то веселые, то грустные. Собравшаяся в этот день у Дрезден-

ши молодежь пришла в восторг от неожиданно появившихся миловидных певиц, в особенности когда заметили, что певицы не прочь были делать глазки посетителям и держали себя с первого же разу так развязно, что, смеясь, слушали высказываемые им любезности и не стеснялись нисколько в обращении с мужчинами. Разумеется, что и здесь русские оставались позади немцев, так как певицы оказались тоже немками, и русским нельзя было объясняться и любезничать с ними.

Кроме пения и игры на арфах Дрезденша угостила своих посетителей еще и другою музыкою. Одна из девиц села за клавикорды и стала хорошо играть на них. Аплодисментов не только у нас, но даже и во Франции в ту пору не было еще в заводе, и потому в зале у Дрезденши слышался только громкий говор похвал и одобрения, дополнявшийся пристукиванием ногами и стульями, доходившим по временам до исступления.

Через несколько дней после первого появления арфисток и певиц Дрезденша приготовила для своих гостей еще и другую новинку. В пять часов вечера отворились двери ее

большой залы, и она пригласила своих посетителей на танцы. Вошедшие в залу посетители увидели там сидевших около стен на стульях или ходивших, взявшись под руку, молодых женщин и девиц. Эти гостьи Дрезденпш были одеты не только хорошо, но, можно сказать, великолепно: в фижмах и шелковых робронах с модною прическою волос, осыпанных пудрою. Короче, по внешности они не уступали самым изящным петербургским дамам того времени. Сама Дрезденша, разодетая так нарядно, как она никогда не одевалась прежде, явилась теперь уж не содержательницею трактира, но чрезвычайно любезною и предупредительною хозяйкой. Она подводила молодых людей к бывшим в зале гостям, знакомила их между собою и приглашала танцевать. Гостьи Дрезденши оказались не только очень хорошенькими, но и чрезвычайно бойкими особами. Они не жеманились нисколько и свободно разговаривали с гостями, причем оказалось, что между ними некоторые говорили по-французски, что должно было облегчить знакомство, так как в то время французский язык стал входить в употреб-

ление среди молодого поколения. Однако большинство этих красоток говорили по-немецки, и потому Дрезденша служила при первом знакомстве переводчицей для тех посетителей, которые не умели говорить по-немецки, передавая очень часто не то, что говорил кавалер или дама, но то, что могло поскорее сблизить их между собою.

Познакомив взаимно дам и кавалеров, Дрезденша кивнула головою по направлению в один из углов залы, и находившиеся там два старых немца музыканта – один скрипач, а другой флейтист, заиграли вальс, а один из немцев, подхватив хозяйку, пошел вальсировать с нею. Вальс, или по-старинному валец, был тогдашний истинно немецкий танец, чрезвычайно медленного темпа, причем кавалер не обхватывал, как ныне, свою даму за талию, а держал ее обеими руками за бока.

Примеру Дрезденши последовали кавалеры, впрочем, весьма немногие, собственно, только немцы, так как танцевальное искусство было еще слишком слабо распространено между русскою молодежью, даже и военною. Хозяйка подходила к не танцевавшим

кавалерам и уговаривала их пуститься в танцы, уверяя, что бывшие в зале девицы скоро научат танцевать вальс не умеющих упражняться в этом танце. В свою очередь и дамы предлагали кавалерам свои услуги по части обучения. Иных принялась учить сама Дрезденша, общество оживилось и развеселилось, и посетители расторопной немки заговорили между собою, что на вечеринке у Амалии Максимовны гораздо веселее, нежели на званых петербургских балах и вечерах, которые отличались непомерною чопорностью, а также молчаливостью и неразвязностью русских дам и девиц.

IV

Происходившие в доме Дрезденши пение, музыка и танцы обратили этот дом в такое увеселительное заведение, какого до этих пор в Петербурге вовсе не существовало. Амалия Максимовна умела с большою для себя прибылью пользоваться этим новым заведением. Она назначила плату за посещение и добавочный взнос за обучение танцам. Прилив молодежи сделался огромный, разумеется, сообразно с тогдашним населением Петербурга, а вечера оканчивались ужином и более или менее невоздержной выпивкой; от всего этого хозяйка получала особые дополнительные доходы. Не обходились собрания у Дрезденши и без похождений романического свойства. Посетительницы вечеров, бывавших у Дрезденши, нередко уезжали от нее с кавалерами. Амалия Максимовна все более и более приглашала новых дам, полудевиц и девиц из Риги, Дрездена и Варшавы, а по временам стали у нее появляться и русские девушки, на первых порах застенчивые и робкие, но мало-помалу приобретавшие ту лов-

кость и ту развязность, какими, но только в большей степени, отличались первоначальные и иностранные гостьи.

В Петербурге вскоре заговорили о тех приятных развлечениях, какие можно найти у Лихтерши, и к ней на вечера стали являться не одни только оперившиеся обер-офицерчики, но уже и штаб-офицеры более или менее почтенных лет и наконец стали туда по временам заглядывать сперва только в качестве любопытных зрителей, но не участников увеселений, как военные генералы, так и значительные чины разных гражданских ведомств.

Дрезденша из незаметной прежде трактирщицы приобрела себе теперь громкую известность в Петербурге. О ней стали говорить постоянно в кружках молодежи; заговорили о ней и почтенные люди. Имя ее стало слышаться и в дамском обществе, и наконец молва о Дрезденше дошла до благополучно царствовавшей в ту пору императрицы Елизаветы Петровны. Амалия Максимовна стала в своем роде знаменитостью, и еще в конце прошлого столетия старички, ее современники, с восторгом вспоминали о бывших у нее

увеселениях.

Но если сама по себе Дрезденша обращала на себя внимание петербургской публики, то молва о ней усилилась еще более, когда стали рассказывать, что на собраниях у нее появилась такая красавица, которой ничего подобного не отыщется не только в Петербурге, но и во всем свете.

Портрета этой замечательной красавицы, которой суждено было произвести в Петербурге большой и небывалый у нас ни прежде, ни после переполох, – не сохранилось, или по крайней мере нам неизвестно, существует ли он где-нибудь и даже существовал ли когда-нибудь. Тем не менее из встречающихся о ней упоминаний ее современников можно заключить, что эта девушка отличалась необыкновенно поразительной красотой. Можно сказать, что первое ее появление у Дрезденши изумило всех – до того она была прелестна и лицом и станом. Вдобавок к тому она оказалась девушкой весьма образованной по тому времени. Пошли толки о том, кто она и откуда приехала. Но сама девушка не давала на эти вопросы никаких ответов, а

Дрезденша в свою очередь принималась пускать в ход загадочные о ней рассказы, из которых ясно было только одно, что она не хочет сказать правды, а лишь нарочно выдумывает какие-то небылицы. Девушка эта одинаково хорошо говорила и по-немецки, и по-французски, а также по-польски, но ни слова по-русски. Самые любопытные люди не могли добиться толком ни ее имени, ни даже фамилии. Полиция в ту пору не занималась такими изысканиями относительно тех, кто держал себя смирно. Тогда в Петербурге можно было жить просто, без паспортов и прописки. Таинственность, какою была обставлена неизвестная девушка, возбуждала разные толки, между которыми слышались толки и об ее высоком происхождении, и о странной ее судьбе, но в конце концов все-таки казалось чрезвычайно непонятным, почему такая замечательная девушка, которая не показывалась нигде в петербургском обществе, вдруг так неожиданно появилась в собраниях у Дрезденши.

Неизвестность происхождения приезжей в Петербург красавицы, ее пышные наряды, хо-

рошее образование и близкие сношения Амалии Максимовны Лихтер с Дрезденом и Варшавой породили молву, что эта девушка, которой могло быть в ту пору около двадцати лет, была побочною дочерью Августа, курфюрста саксонского и короля польского. Август II был известен во всей Европе как отъявленный и неутомимый волокита. Известно было также, что у него было множество сыновей и дочерей, но не от законной его супруги. В отношении чадородия курфюрст был так счастлив, что однажды у него в один день родились сын и две дочери от разных матерей. Сношения русских с Варшавою были в ту пору очень часты, а потому в Петербурге приходилось слышать много рассказов о любовных похождениях короля-курфюрста. Знали также здесь, что некоторым из своих чад Август оказывал самую горячую родительскую любовь и заботился об устройстве их будущности, а в противоположность тому, некоторых из своих детей, в особенности дочерей, он бросал на произвол судьбы или только на время, или навсегда. Надобно полагать, что к такой беспечности побуждало короля не только его

легкомыслие, но отчасти и расстройство его денежных дел, так как даже при всем своем желании он не мог бы обеспечивать свою многочисленную семью с левой руки. К числу таких забытых отпрысков королевского рода, как полагали, должна была принадлежать и Клара. Некоторые из петербуржцев рассказывали, что в Варшаве им приводилось видеть Августа II, и при этом настойчиво утверждали, что Клара чрезвычайно походила на своего отца, который, как известно, был в молодости замечательным красавцем.

Дрезденша, когда ей высказывали догадку о высоком происхождении появившейся у нее девушки, только двусмысленно улыбалась, а потом уже и сама стала делать намеки на то, что судьба Клары должна бы быть иная, судя по ее рождению, но что обстоятельства ее детства сложились так неблагоприятно, что она не может явиться в той блестящей обстановке, какая принадлежит ей по праву происхождения, добавляя, однако, что, по всей вероятности, скромное положение девушки рано или поздно изменится и что только временно встречаются разные препят-

ствия к тому, чтобы она была вправе заявить публично, к какому знатному семейству она принадлежит.

Правдоподобие толков о происхождении Клары подтверждалось некоторыми подходящими случаями, которые были очень хорошо известны и в самом Петербурге. Так, несколько русских девушек, которые росли и даже воспитывались в чужих домах как простолюдинки, вдруг оказывались, при изменившихся обстоятельствах, дочерьми знатных вельмож, и за ними отцы их давали большое приданое, признавая их своими детьми, хотя и не могли передать им своих фамилий и титулов. Около того же времени толковали об одном молодом вахмистре Конного полка, будто он совсем не тот, за кого его выдавали, и что по отцу и в особенности по матери он такого высокого происхождения, что может считаться выше всех графов и князей.

Сама Клара будто подтверждала молву об ее происхождении. Она отличалась и гордою поступью, и сознанием своего достоинства. Держала она себя совершенно иначе, нежели прочие посетительницы собраний Дрезден-

ши, делавшихся все многолюднее и удостаиваемых уже по временам посещением знатных персон женского пола. Немногие из кавалеров решались просить Клару на танцы, так как она казалась очень спесивой и если исполняла их просьбу, то не позволяла с собою ни малейшей вольности. Посетители собраний, видя неприступность красавицы, отчасти в сознании ее прав на исключительное уважение, а отчасти в насмешку стали называть ее принцессой, и это название все более и более упрочивалось за нею. Несмотря на прежние политические взаимные ссоры между поляками и русскими, польки у русских всегда считались самыми обворожительными женщинами. Клару принимали в Петербурге за польку, и как это обстоятельство, так еще тем более молва об ее происхождении придавали ей, при ее красоте, особое обаяние.

Двор императрицы Елизаветы, любившей в то время и танцы и развлечения, отличался самыми разнообразными увеселениями. Государыня, между прочим, завела у себя во дворце и так называвшиеся «метаморфозы», то есть такие маскарады, на которые дамы

должны были являться в мужской одежде, а кавалеры – в дамской. Дрезденша, при всем желании разнообразить происходившие у нее вечерние собрания, не имела права завести у себя «метаморфозы», так как такое переряживание было бы, несомненно, принято за продерзостное подражание высочайшему двору, а по тогдашним понятиям оно было бы сочтено и личным оскорблением государыни, и государственным преступлением. Другое дело были обыкновенные маскарады, где каждый и каждая могли переряжаться, как хотели, и Дрезденша открыла их в своем доме, который в то время расширился вследствие новых к нему пристроек.

На эти так называемые в противоположность придворным маскарадам «вольные» маскарады могли беззазорно приезжать не только мужчины, но и дамы тогдашнего большого петербургского света. Маскарадный костюм, преимущественно «венецианский», или, иначе, «монашеский», то есть широкое домино с надетым на голову широким капюшоном и маска, давал знатным персонам обоего пола возможность быть неузнаваемыми,

если только они сами этого желали, так как на вольных маскарадах можно было являться и без маски, но следовало только быть не в обыкновенном платье, а в каком-нибудь костюме. Дрезденша по измышлению развлечений пошла еще далее. По словам ее современника, к ней приезжали знакомые между собой обоего пола пары «для удобного между собою разговора и свидания наедине». Езжали к ней в дом, продолжает он, и знатные дамы, чтобы «других мужей себе по нраву выбирать». Выписывала она издалека в Петербург и таких красавиц-иностранок, которые «по приезде в Петербург жили в великолепных хоромах изобильно и которым жертвоприношение было отовсюду богатое».

V

На одной из происходивших у Дрезденши так называвшихся «вечеринок» в числе гостей было двое молодых артиллеристов. Один из них, немного постарше, был штык-юнкер Мартынов, чин которого соответствовал поручику армии, а другой, лет двадцати трех, с виду очень скромный, был сержант Михайло Васильевич Данилов, занимавшийся приготовлением фейерверков. Этот последний сидел не только призадумавшись, но и крепко пригорюнившись в уголку залы и не принимал никакого участия ни в разговорах, ни в танцах. Он, видимо, был занят какою-то тяжелою думою и не обращал внимания на кружившихся и мелькавших перед его глазами красивых девушек, из которых иные бросали игривые и вызывающие взгляды на красивого сержанта.

Сержанту было, однако, не до них. Он вспоминал теперь о том времени, когда он познакомился с полюбившеюся ему девушкою Шарлоттою, жившею поблизости с ним, в доме Строганова, у известного некогда по своей

учености профессора и академика по части астрономии Делиля. Данилов вспомнил, как для свидания с нею он беспрерывно заходил к отцу Шарлотты, торговавшему вином, и как он, не будучи сам питухом, заводил к родителю Шарлотты своих приятелей и потчевал их на свой счет, хотя и был человек куда как не денежный.

Во время этих воспоминаний к нему подошел его сослуживец, штык-юнкер Мартынов, его земляк, который, как старше Данилова и летами и рангом, был не только его добрым товарищем, но и нередко давал ему полезные наставления.

– Что, брат Михайло Васильевич, ты так сильно призадумался? – проговорил весело штык-юнкер. – Или ты все еще по-прежнему думаешь только о своей Шарлотте? Да забудь ее! Посмотри, сколько около тебя красоток, выбирай из них ту, которая тебе более всех других нравится да и приударь за ней хорошенько. Скажу тебе напрямик: чуется мне, что любовь твоя к Шарлотте до добра тебя не доведет. В случае чего у нее найдется такой опасный против тебя защитник, как твой со-

сед, француз-астроном. Он, брат, несмотря на то, что старик, еще такой горячий человек, что наделает тебе много неприятностей и хлопот. Поверь мне! – Говоря это, штык-юнкер подсел рядом к своему сослуживцу. – Да расскажи мне, дружище, с полною откровенностью, как ты сошелся с нею? – участливо спросил Мартынов.

– Ты знаешь, какой способ нашел я, чтобы хаживать в дом ее отца под разными видами? Сидел я с ней почти безвыходно и наконец почувствовал в себе беспокойство только еще издалека: эта страсть, кою я до сего случая не знал, следовательно, и воображать об ней не мог, сначала принуждала меня к свиданию с Шарлоттою, и я потому беспрекословные находил случаи сидеть у отца ее целый день и разговаривать всякий вздор, а сам питался страстным зрением и любовными разговорами с Шарлоттою. Наконец увидел я, со своей стороны, в себе перемену, которую прежде не чувствовал: чтение книг и любимое мое упражнение рисовать наводили мне уже скуку и побуждали меня все более всякий час видеть Шарлотту[17].

– А ты, Михайло Васильевич, посдержался бы видеться с нею. Любовь при разлуке проходит скоро, а при частых свиданиях усиливается все более. Вещь известная! – наставительно проговорил штык-юнкер.

– Да я и старался препятствовать сей моей страсти, – отвечал Данилов, – представляя себе ясно неблагопристойность, которая потом произойти может. С таковым предрассуждением овладеть собою я положил противиться свиданию и, чтобы не быть подверженным в полную власть любовного предмета, отложил частые свидания с Шарлоттой и не выходил из двери никуда недели по две, дабы не видеть ее, однако ж она никогда из мыслей моих не выходила.

– Ну и ты, разумеется, не выдержал и отменил свое постановление! – с живостью перебил Мартынов.

– Слушай, что было дальше, – продолжал печальным голосом сержант, – принял я на себя во всяком роде пост, воздержание и тем надежно чаял я получить себе право избегнуть из рук заразившей меня любовною страстью, но все шло не по моему намерению, а

даже ото дня возгоралась во мне оная доселе неизвестная страсть сильным пламенем, как будто воздержность моя на посмеяние мне умножала оную.

Сержант глубоко вздохнул, а штык-юнкер улыбнулся.

– Видно, брат, что Шарлотта сильно тебя к себе приворожила, так что доселе от нее ты отстать не в силах, – шутливо проговорил Мартынов. – И говоришь-то ты о ней уже слишком красно, словно по писаному. Да ты уж, чего доброго, не принялся ли ей писать вирши?

– Пожалуй, что и дойду до этого сантимента, а теперь скажу тебе по душе, что от сопротивления сей страсти я еще более почувствовал в себе истомление, подобно плывущему человеку, который против быстроты воды плывет всеми силами, покуда не станет ослабевать, а как почувствует лишение сил, то, опустя руки, отдается течению воды на волю и уже не может противиться, куда вода его несет. Я подобен теперь тому, как некоторый стихотворец влюбленного человека стихами изображает.

Я холоден, как лед, но в пламени горю,
Смеюся и грущу, о том и говорю!
—

печально продекламировал сержант.

– Да уж сие не твое ли, любезный друг, произведение? Что ж, ты теперь в твоих мечтаниях немало стихов пишешь. Пиши, пиши, приятель, авось по времени и господина Ломоносова превзойдешь, – смеялся штык-юнкер. – Стихи то, впрочем, кропай: на сие и времени немного требуется, да и от стихотворского упражнения никакой беды на себя не накличешь. А Шарлотту спусти побоку. Ей-ей, беды с нею наживешь. Ведь петербургские-то девки не то, что наши деревенские. Поддастся, а потом и скажет: женись на мне, а то по начальству жаловаться на тебя пойду.

– Ну, это куда как нехорошо будет, – перебил заметно испугавшийся Данилов, – для того, что которая в любовницах кажется и приятна, но в женах быть не годится за низкостью рода.

– На это, Михайло Васильевич, начальство не посмотрит. По городу ходит теперь молва,

что царица хочет прекратить всякие беззаконные сожительства и всякие неприличные происхождения по любовным делам. Благочестивейшая наша государыня-девственница так собою пример показать хочет, насколько примеры сии несовместительны с добрыми нравами. А подговаривают ее к тому духовник ее Федор Яковлевич Дубянский да граф Петр Иванович Шувалов. Так говорят по крайности, а коли люди ложь, так и я тож.

– Как, и Шувалов? – спросил торопливо смущенный сержант. Смутился же он ввиду того, что граф Петр Иванович был родной брат его главного начальника графа Александра Ивановича, заведовавшего генерал-фельдцейхмейстерскою частью.

– Рассказывают, впрочем, что не столько он сам, сколько супруга его Мавра Егоровна восстает против нынешней развращенности. Дело-то в том, – продолжал Мартынов, понизив еще более голос, – что тут, братец ты мой, идут своего рода шашни, о которых нам, маленьким людям, и говорить-то не след. Граф Петр Иванович, известно, не из последних волокит, а графиня-то подозревает его в невер-

ности, да он ловко концы умеет прятать. Так вот Мавра Егоровна и подбивает царицу: очисти, мол, матушка-государыня, Питер от развратных нравов, и рассчитывает на то, если ее величество возьмется за это дело, так знатные персоны поугомонятся в своих любовных шашнях, а тогда между ними поугомонится и наш граф, а пока он – ты знаешь, что он человек куда какой хитрый, – принялся вторить своей супруге, чтобы отвести от себя всякое со стороны ее подозрение. Если, мол, я, думает он, сам стану твердить всемилостивейшей нашей государыне, что российская нация – нация развращенная, так, стало быть, я по чистоте моей жизни составляю исключение. Сам на себя, известное дело, доносить никто не станет.

– Рассказывай-ка сказки! Да мне заподлинно известно, что его сиятельство Петр Иванович частенько тайком у Дрезденши бывает и время проводит в особых покойчиках, что во дворе к главному дому пристроены. Выслежу я его здесь, да если он мне чуть какие неприятности по сношениям моим с Шарлоттою воздумает делать, так я и сам такие ему ка-

верзы устрою, каких он и не ждет от меня! – разговорился вдруг Данилов.

– Ох ты молокосос! Да что ты посмеешь сделать его сиятельству? – унимал тихим голосом Мартынов.

– Да просто-напросто наведу на него Мавру Егоровну. Вот тебе и конец. Она, как все знают, имеет у государыни большую силу, чем сам граф персонально, а с ним справится скоро, и красотку его выпроводят из Питера туда, где не скоро он ее отыщет.

– Ну-ну, успокойся, я ведь только шутя сказал, будто его сиятельство внушает царице искоренить все любовные произвождения. Больно ты, Михайло Васильевич, горяч и прыток, в беду влопаться можешь скоро. А теперь я тебе скажу более огорчительную для тебя ведомость. Коль скоро ее узнаешь, так любовь твоя к Шарлотте как рукой с тебя снимется.

Сержант при этих словах тревожно вскинул глаза на штык-юнкера, ожидая, что заговорит он.

– Подожди немного, да скажи мне прежде, какие такие поступки тебе показывала сама

Шарлотта?

– Шарлотта не старалась так, как я, скрываться от следуемой нам непристойности: прохаживала она часто, гуляючи, мимо окон моих.

– А зачем она прохаживала? Думаешь, верно, ты, что это делала для тебя? Как же! – сказал, усмехаясь, Мартынов.

– Всеконечно, что для меня, – с уверенностью отозвался молодой человек.

– Ха, ха, ха! – засмеялся штык-юнкер. – А вот и ошибся! Я тебе могу сказать, для кого она прохаживала. Знаешь ли ты помощника господина Делиля, тоже профессора астрономии господина Попова?

– Личного знакомства с ним не имею, а так по виду его хорошо знаю. Человек он, кажется, такой почтенный!

– То-то почтенный, как же! Надобно тебе знать, что твоя Шарлотта с ним и слюбилась, – утвердительно сказал Мартынов.

– Вот еще, что за шутки! Попов человек почти что старый! – вспылив, перебил Данилов.

– Не большая беда, что старый! Шарлотта твоя, как немка, с хорошей смекалкой. Ты бы

так ее полюбил, побаловался бы с ней некоторое время, а потом и пустил бы ее на все четыре стороны.

– А Попов-то что?

– Попов обещал на ней жениться и выдал ей в том расписку. Она хвалится теперь этим. Шарлотта не дура, она себе на уме. Что для нее значит сержант или даже хоть наш брат штык-юнкер от артиллерии! Таких молодцов она без тебя и без меня найдет много, а такого мужа, как Попов, не только она, да и та, которая получше ее будет, нескоро отыщет. Мы что с тобой? Живем или в казенной светлице, или бываем размещены у обывателей на постое. Мы бьемся при скудном жалованье и одноколкой-то обзавестись не сможем, а у профессора не только есть от академии одноколка, да, пожалуй, еще и карета, но и царского жалованья, почитай, он по крайней мере берет вдвое или втрое больше нашего. К тому же он, как персона штаб-офицерского ранга, и теперь имеет право четверней в карете цугом ездить, да хвалится еще тем, что его не сегодня, так завтра в надворные советники произведут, так и будет он тогда в ранге подпол-

ковника армии, а мы-то что с тобой? В наше-то время таких женихов, как мы, и не ищут и не хотят идти замуж за каких-нибудь голяков. Вот что!

Михайло Васильевич крепко призадумался и прежде всего стал помышлять, как отомстить неверной Шарлотте за ее любовь к Попову, так как она не раз говорила сержанту, что никого другого, кроме него, не любит да любить не может.

– Все это, любезнейший друг, вранье, бабьи сплетни, – проговорил с притворною небрежностью Данилов, стараясь скрыть охватившее его сомнение.

– Ну, нет. Рассказывал мне это один мой добрый приятель, служащий при академии, в астрономической обсерватории. Поверить ему можно: он не выдумщик. Бывает он частенько в доме господина Делиля и хорошо знает, что там происходит. Ведомо ему стало, что и сам господин Делиль, ухаживая за Шарлоттой, принялся с некоторых пор ревновать ее, да только не к тебе, а к Попову.

Сержант хотел еще кое-что порасспросить у своего товарища, когда в зале послышался

тот легкий, особого рода шум, какой бывает всегда в многолюдном собрании при появлении лица, на которое все спешат обратить внимание.

VI

В настоящем случае предметом такого внимания была Клара. Она явилась в залу в великолепном польском наряде, в светло-лазоревом кунтуше, с закинутыми за спину длинными рукавами. Кунтуш по бортам и по подолу был опушен собольим мехом; на голове у нее была небольшая, желтого цвета, с низкой тульей и широкой четырехугольной покрышкой бархатная шапочка с околышем из крымской смушки, а над шапочкой колыхалось перо из крыла цапли, прикрепленное бриллиантовым аграфом. На маленьких и стройных ее ножках, видневшихся из-под коротенькой юбки из белого атласа, были надеты красные сафьяновые полусапожки с серебряными, звонко бренчавшими подковками. Клара шла под руку с кавалером, тоже разодетым в щегольской польский костюм, подходивший по цвету к убору Клары.

Все дамы и кавалеры с удивлением посмотрели на эту прекрасную парочку, так как и кавалер, по его наружности и осанке, как нельзя более соответствовал своей дамочке.

– Вот бабенка так бабенка! – облизываясь, проговорил штык-юнкер. То же самое подумали или сказали и все бывшие в зале мужчины.

– Экой молодец! Ведь какой статный! Настоящий красавец! – заговорили гости, глядя на вошедшего молодого человека, завидуя не только самой Кларе, но и тому еще, что она имела при себе такого обворожительного кавалера.

– Краковяк! – повелительно крикнул вошедший танцор сидевшим в углу музыкантам, то есть обычным у Дрезденши скрипке и флейте, разучившим по распоряжению Лихтер заранее этот танец, не известный еще в Петербурге.

Музыка заиграла. Клара и ее кавалер прельстили всех легкостью и игривостью танца. После того с таким же изяществом протанцевали и мазурку, о которой также петербуржцы не имели понятия, довольствуясь такими

медленными танцами, как менуэт, или же, большею частью на балах, даже и придворных, пускались в ту пору в русскую пляску, которую государыня очень любила и которую в молодости превосходно танцевала, выступая как гордая пава.

Полное и краснощекое лицо толстой Дрезденши сияло выражением восторга. Она с самодовольством смотрела на своих посетителей и посетительниц, как будто говоря им: вот какие приятные для вас редкости я показываю вам!

Почти все мужчины и дамы подходили к хозяйке и наперерыв спрашивали: кто такой этот прекрасный танцор?

– Граф Дмитревский, приезжий из Польши, – отвечала не без важности Дрезденша.

– Кто же он? Наверно, жених госпожи Клары? – спрашивали разом несколько голосов.

На последний вопрос Дрезденша не давала никакого ответа и только сама вопросительно взглядывала на тех, которые высказывали ей такое предположение.

Хотя относительно графа Дмитревского в этом случае не было получено никакого опре-

деленного ответа, но тем не менее между гостями тотчас заговорили, что он должен быть человек очень богатый и, несомненно, что он жених принцессы.

Краковяк и мазурка чрезвычайно понравились и мужчинам и дамам. У многих из них тотчас явилась охота научиться этому танцу отчасти для собственного удовольствия, а отчасти желание это соединялось с честолюбивым расчетом, так как некоторые предполагали, научившись танцевать краковяк и мазурку и одевшись в польские костюмы, отправиться на придворный маскарад и тем обратить на себя внимание императрицы, которая была большая любительница танцев, сама прекрасно танцевала и, следовательно, могла хорошо оценить это искусство.

– Не научит ли нас граф танцевать краковяк и мазурку? – спрашивали мужчины, подходя к Амалии Максимовне. – Мы ему за это хорошо заплатим.

– Граф так богат, что в деньгах вовсе не нуждается и никакой платы за учение не примет, – с насмешкою отвечала Лихтер. – У него самого горы золота, но я попрошу его за-

няться этим со знатными персонами без всякого вознаграждения, – ответила Дрезденша. – Но об этом мы поговорим позже.

Когда же по прошествии нескольких дней желавшие научиться у графа танцевать краковяк и мазурку обратились за ответом к Амалии Максимовне, то она богатым и знатным персонам отвечала, что граф согласен дать им несколько уроков, но не иначе как в ее зале, что он, разумеется, лично для себя никакого денежного вознаграждения не желает, но надеется, что его ученики и ученицы вознаградят ее, Дрезденшу, за все ее хлопоты. Ему же обучение дам и девиц доставит большое удовольствие.

На таком условии состоялось немало соглашений между танцором-графом и молодыми людьми и молодыми дамочками и девицами из знатных семейств. Эти ученики и ученицы уговорились между собою съезжаться в определенные часы к Дрезденше и, позаимствовав от графа его умение, его развязность и ловкость, протанцевать краковяк и мазурку на придворном маскараде в присутствии императрицы и тем доставить ее вели-

честву приятный сюрприз. Заявляя о согласии графа, Дрезденша добавила, что за обучение особ женского пола берется очень охотно госпожа Клара, на тех же самых условиях, какие предъявил граф.

Теперь для приезда к Дрезденше представлялся самый благовидный предлог для всех знатных персон, и этим сметливая Дрезденша приобрела для себя сразу немало весьма важных выгод. Ее прежние танцевальные вечера, к которым высшее петербургское общество относилось с пренебрежением, теперь чрезвычайно облагородились в его глазах. У Дрезденши могли незазорно являться даже представительницы самого высшего столичного круга. Посещение ими ее дома оправдывалось вполне похвальною целью – доставить по возможности удовольствие возлюбленной государыне.

Доходы Дрезденши возрастали все более и более, и для увеличивания их она открыла новый источник, когда тайком к ней стали приезжать дамы, чтобы, по словам современника, «выбирать себе других мужей по нраву». Теперь Амалия Максимовна не только

свела знакомство с разными высокопоставленными особами женского пола, но и стала держать их в своих руках, владея их секретами по любовной части.

Дела «принцессы» пошли также, по-видимому, очень хорошо: приезжавшие к ней учиться танцам дамы полюбили эту милую девушку. Так как любопытство составляет одно из главных свойств женской природы, то новые знакомки пытались разными способами разведать у нее о загадочном ее происхождении. Клара говорила, что она не знает, где и когда она родилась и кто были ее родители; по словам ее, она знала только, что в детстве о ней заботились какие-то неизвестные ей вовсе благотворители или благотворительницы, отпускавшие на ее воспитание значительную сумму в распоряжение той пожилой дамы, в доме которой она росла. «Но по смерти короля Августа II, – как будто нехотя, обмолвясь, проговорила Клара, – судьба моя внезапно изменилась, и я осталась в беспомощном положении; все мои прежние благотворители исчезли, и моя воспитательница не раз говорила мне, что я живу у нее только

из милости, что я покинута всеми, а у нее самой нет таких средств, чтобы устроить меня соответственно моему рождению». В рассказе Клары была доля правды, но были и некоторые вымышленные ею добавления и напускная таинственность. Как бы то, впрочем, ни было, но предположение, что в этой красавице течет королевская кровь, получало все большую и большую достоверность во мнении петербургского общества.

VII

За несколько месяцев до появления в Петербурге красавицы Клары, принявшей здесь фамилию Оберден, Дрезденша прожила некоторое время в Варшаве. В этот последний город попала она проездом на свою родину Саксонию, но побывка ее в столице тогдашнего королевства Польского не была для нее бесполезна. Варшава в ту пору славилась, как и теперь славится, обилием хорошеньких и ловких женщин, умевших завлекать и привязывать к себе мужчин, так что недаром в гербе этого города изображается сирена. Из тамошних хорошеньких и пригожих обитательниц

Амалия Максимовна и вознамерилась составить главную приманку для тех «вечеринок», какие она стала заводить в Петербурге. Расчет ее на успех в этом случае был как нельзя более верен. Не только русская молодежь, но и старики, побывавшие в Польше, составили себе понятие о польках, как о самых очаровательных женщинах. Вдобавок к тому польки в сравнении с прочими заезжими в Петербург красотками представляли еще и то удобство, что они скоро могли научиться понимать и даже говорить по-русски, так что с ними было гораздо легче познакомиться, нежели с немками и француженками, с которыми, при незнании русскими языков представительниц этих национальностей, трудно было даже разговориться и большею частью приходилось начинать любовные с ними похождения игрою в скоро надоедавшую молчанку.

Ловля Дрезденшей красоток в Варшаве шла довольно успешно, и сообразительная саксонка, жившая еще и прежде долго в Варшаве, собиралась уже оттуда ехать в Петербург, когда она, проходя по одной из варшавских улиц, встретила молоденькую девушку,

поразившую ее своей красотой. Девушка эта, одетая хотя и очень скромно, но вместе с тем и с большим вкусом, внушила тотчас же Дрезденше мысль, что не худо было бы сделать соответствующую ее намерению попытку насчет приманки этой незнакомки в Петербург. Амалия Максимовна, притворившись, будто она не знает Варшавы, подошла к девушке и попросила ее указать, как пройти на ту улицу, название которой ей пришло в голову. Остановившаяся на дороге девушка очень охотно принялась объяснять Дрезденше, с виду весьма почтенной даме, дорогу, но по окончании этого объяснения Амалия Максимовна, очень любезно поблагодарив девушку за оказанное ей внимание, не отправилась по указанному ей адресу, но пошла с нею рядом и вступила с нею в разговор.

– Вы варшавянка? Родились здесь? – спросила по-польски Дрезденша свою спутницу.

– Нет, но только почти с детства живу здесь, а родилась я в Саксонии, – отвечала она.

– Тем лучше, – радостно заговорила по-немецки Дрезденша. – Значит, мы земляки, а

я приехала сюда только на время из России.

– Из России? – как будто удивившись, переспросила молодая девушка. – О, как это далеко! – добавила она.

– Совсем не так далеко, как кажется, потому что я живу в Петербурге, а не где-нибудь в отдаленной глуши.

– И хорошо живется вам в Петербурге? – как-то невольно спросила Клара.

– О, там жить очень хорошо, особенно нам, женщинам, а еще лучше молоденьким, хорошеньким, таким, например, как вы, – отвечала Лихтер, пристально и как-то странно взглянув на Клару.

Молодая девушка, казалось, совершенно равнодушно выслушала этот ответ и, по-видимому, вовсе не заметила устремленного на нее взгляда ее спутницы.

– Да разве и может житься худо в том государстве, которым управляют не мужчины, а женщины. Ведь этого не водится ни здесь, в Польше, ни у нас в Саксонии, – заговорила хитрая женщина.

Клара, не занимавшаяся никогда политикой и незнакомая вовсе с историей России,

вопросительно взглянула на Лихтер.

– Да как же, моя дорогая красавица, разве вы этого не знаете? В России после царя Петра, о котором вы уж, конечно, когда-нибудь слышали, царствовала жена его Екатерина, при которой я приехала в Петербург, а после нее правила государством императрица Анна, потом немецкая принцесса, тоже по имени Анна, а теперь там царствует девица Елизавета Петровна, дочь императора Петра.

– Как это странно! – улыбнувшись, заметила Клара.

– О, в России девушка может себе составить отличное положение. Нужно только, чтобы опытная женщина на первых порах руководила ею. Там иностранке вовсе не трудно выйти замуж за самого богатого и самого знатного вельможу. Да вот хоть бы, к примеру сказать, императрица Екатерина: была простая латышская крестьянская девушка без роду, без племени, а потом не только сделалась супругою государя, но и сама управляла государством как самодержавная царица, а теперь на русском престоле сидит ее дочь. Как я всегда жалею, что не приехала в ранней

молодости в Россию. Наверно, была бы я теперь знатной дамой, графиней, княгиней, а кто знает, быть может, и еще выше, – вздохнув, проговорила Лихтер.

Рассказы эти заинтересовали Клару.

– А вы, моя красавица, чем занимаетесь в Варшаве? – быстро спросила ее Лихтер.

Клара смешалась и покраснела.

– Чем я занимаюсь? – переспросила она с расстановкой, как бы желая отдалить ответ на этот щекотливый и совершенно неуместный при первом знакомстве вопрос.

– Я спрашиваю вас, чем вы занимаетесь, или, иначе сказать, мне хочется знать, какие есть у вас средства к жизни? Вы мне так полюбились с первого же разу, что я готова была бы помочь вам, чем только могу.

Клара не отвечала ничего, печально опустив свои темные глазки.

– А сердечного дружка у вас нет? – с игривой улыбкой, шутливым полушепотом спросила Дрезденша.

– Нет, – простодушно и твердо ответила девушка, – я никого еще не успела полюбить.

– Не о любви спрашиваю я вас. Любить по-

куда никого не надобно. Любовь, сказать по правде, сущий вздор, а надобно стараться выйти хорошо замуж, чтобы потом не плакаться на свою горемычную судьбу. Знаете что, мой дружочек, я в России могу вас очень хорошо пристроить. Знакомых у меня в Петербурге множество. Согласитесь ехать туда со мной, и вам приищу там жениха или найду вам место при дворе, если вы не захотите выйти замуж. Впрочем, – добавила Лихтер, – на улице говорить об этом неудобно, а зайдите ко мне хоть ненадолго, я живу здесь близко.

Клара несколько колебалась: ей показались слишком странными такие ласки и такое участие вовсе не знакомой ей женщины, но Дрезденша, схватив ее за руку, почти что силою повела на другую сторону улицы, и вскоре они молча дошли до того дома, где жила Лихтер.

– Да, в Петербурге молоденьким иностранкам живется куда как хорошо, – заговорила Дрезденша, усаживая свою гостью на канапе и присев сама подле нее. – Это, впрочем, и понятно: русские предпочитают их своим соотe-

чественницам, которые так неуклюжи, что не умеют ни стать, ни сесть, ни пошутить, ни полюбезничать. На вопросы отвечают только «да» или «нет». В Петербурге вообще говорят, что с русскими женщинами, хотя бы и красивыми, бывает очень скучно, они вовсе не умеют развеселить мужчину. А позвольте спросить, – добавила Дрезденша, – кто были ваши родители?

– Я их совсем не знаю. Я выросла в чужом доме, у баронессы фон Трейден, которая сперва жила в Дрездене, а потом переехала в Варшаву.

– Сейчас видно, – перебила Дрезденша, – что вы получили воспитание в аристократическом доме. Говорите вы по-французски?

– Да.

– И это недурно, потому что из иностранных языков в петербургском обществе в ходу только этот язык, да и то мало кто знает его. Но вы можете разговаривать в Петербурге по-польски, хоть и с трудом, а все-таки вас там будут понимать. Почему же баронесса фон Трейден взяла вас к себе на воспитание? – продолжала допрашивать Дрезденша.

– Этого я не могу вам сказать. Слышала я только, что сначала платили ей за мое воспитание ежегодно значительную сумму, а потом вдруг перестали.

– А с какого времени?

– Кажется, с тридцать четвертого года.

– С тридцать четвертого года? – переспросила Дрезденша. – Значит, как раз после смерти короля Августа Второго. А знаете что, дружочек мой, – вдруг точно с радостною находчивостью вскрикнула Дрезденша, пристально взглянув на молодую девушку, – ведь вы похожи на покойного короля! Какой он был красавец в молодости!

Клара смешалась, опустив вниз глаза.

– Ах, какой он был красавец в молодости! – повторила Лихтер. – Сколько девиц и замужних дам он свел с ума! Счета им нет! Вы, конечно, замечанием моим обижаться нисколько не можете. Если вы не знаете вовсе ваших родителей, то, разумеется, лучше всего предположить, что вы по крови не какая-нибудь простолюдинка, мещаночка или даже шляхтяночка, а королевская дочь. Да, верно, оно так и есть: и ваша наружность, и ваша осан-

ка, и ваша походка говорят о вашем высоком происхождении.

Девушка смешалась теперь окончательно, но не от стыда, а от появившейся в ней своего рода гордости. Но вместе с тем она подумала о том печальном положении, в каком она находилась, живя по милости помогавшей ей баронессы и не имея в виду ровно ничего.

– Если бы догадки ваши были справедливы, – грустно проговорила она, – то, наверное, я не была бы брошена на произвол судьбы. Отец мой, значит, был очень богатый человек и непременно обеспечил бы меня на всю жизнь.

– Как же! Не таковский был покойный король! Скольких он оставил и сыновей и дочерей в безвестности и нищете. Слышали вы когда-нибудь об Анне Ожельской?

– Что-то слышала, но хорошенько теперь не помню. Да и к чему этот вопрос?

– Да к тому, что ваше положение напоминает мне ее судьбу, только будущность ваша, кажется, не такая, как судьба Анны. А, впрочем, кто знает? Может быть, она будет еще более блестящей. Часто с людьми случается то,

что они вовсе не ожидают, а на внезапную перемену вашей участи у вас все-таки есть кое-какие надежды.

Клара с вниманием прислушивалась к словам своей новой знакомки.

– Вот Анна Ожельская была дочь короля от француженки Генриетты Дюваль, замечательной красавицы, на которую смотреть съезжалась в свое время вся Варшава, но король был страшный ветреник и, вскоре расставшись с Генриеттой, позабыл и дочь ее Анну, которая и не думала вовсе, что она королевская дочь. Никто ей не говорил об этом и даже не намекал. Так и прожила она до девятнадцати лет. Был, однако, у Анны брат, граф Рутовский, сын короля от пленной турчанки Фатины. Вот этот-то граф, проведав случайно о существовании Анны, нашел случай представить ее королю, который и признал Анну своею дочерью по ее поразительному сходству с Генриеттой. Король дал ей фамилию Ожельская, построил для нее в Дрездене великолепный дворец, а потом выдал ее замуж за одного герцога. Свадьбу Анны он справил с необыкновенною пышностью. На эту свадьбу

съехалось в Дрезден множество гостей.

– Но ведь мое положение нельзя приравнять к положению Анны Ожельской, если бы я была и действительно дочерью короля Августа, – улыбнувшись, заметила Клара. – Нельзя сделать этого потому, что король Август Второй уже умер и, следовательно, не может устроить мою судьбу так, как он устроил при жизни судьбу другой своей дочери.

– Это правда, но все-таки было бы вам очень полезно, если бы вас стали считать в Петербурге дочерью короля польского. Нынешняя русская государыня очень сострадательна, она обратила бы особое внимание на ваше положение и, наверное, не отказалась бы помогать вам. Статься может, она написала бы о вас королю Августу Третьему, которому вы, собственно, приходитесь сестрой. Понимаете? – слегка подмигнув Кларе, проговорила Дрезденша.

Хотя Клара и ничего не отвечала на такие отрадные соображения сметливой Лихтер, но тем не менее она находилась под влиянием приятного для нее тщеславия, слыша, что по наружности ее можно выдать и принять за

королевскую дочь.

Со своей стороны, Дрезденша настойчиво стала убеждать Клару, чтобы она ехала с нею в Петербург, и сулила ей в будущем и богатство и знатность, выставляя в противоположность и той и другой то скромное и необеспеченное положение, в каком останется Клара, если будет жить по-прежнему в Варшаве.

Клара, увлеченная рассказами Амалии Максимовны, колебалась недолго. Она приняла предложение Дрезденши, которая взялась быть ей руководительницей в Петербурге, требуя от нее только полного послушания ее наставлениям.

В прошлом столетии являлось во всей Европе множество искателей и искательниц приключений, и выдать в России безвестную девушку за побочную дочь короля польского не представляло никаких особых затруднений, в особенности если сообразить, что впоследствии появилась за границею мнимая дочь Елизаветы Петровны, предъявившая даже притязания на русский императорский престол. Хотя рассказы о первых годах жизни этой смелой самозванки представлялись

невероятными, но тем не менее она нашла себе не только сторонников, но и людей значительных, вполне веривших в вымышленное ее происхождение. Тем легче могло быть сделано нечто подобное в отношении Клары, не заявлявшей никаких политических притязаний. Молва о высоком ее происхождении могла казаться вполне правдоподобной, а примешанные к такой молве соображения Дрезденши – вполне основательными: королевская дочь, хотя и побочная и покинутая, все-таки имела бы более значения и представляла бы большую приманку, нежели какая-нибудь заурядная искательница приключений.

Вместе с Дрезденшей и Кларой отправился в качестве сопровождающего их кавалера не богатый, но красивый и ловкий молодой шляхтич, явившийся в Петербург под именем графа Дмитревского. Он ехал туда в надежде на успех у женщин, а также и на счастливую, а в случае надобности и не совсем чистую карточную игру, которая велась тогда в Петербурге в огромных размерах, так что нередко груды золота с игорных столов переходили не только в карманы, но и за наполнением их

в носовые платки и даже в шляпы счастливых игроков. Что же касается женщин, то среди поляков были еще памятны те блестящие успехи, какие в этом отношении имел молодой и красивый Петр Сапега при дворе императрицы Екатерины I.

Вскоре после отъезда из Варшавы Клара – как мы уже знаем – явилась на вечеринках Амалии Максимовны.

VIII

Над Петербургом начала расстилаться морозная ночь, а на темном небе все ярче и ярче разгорались звездочки, сверкая серебристым трепетным блеском. Такая ночь при совершенно безоблачном небе была самою удобною порою для астрономических наблюдений, и этими благоприятными условиями хотел воспользоваться состоявший при Петербургской академии Делиль, называвшийся по-русски Яковом Осиповичем и уже давно поселившийся в Петербурге. Теперь он в теплом шлафроке и в ночном колпаке медленно поднимался из своей квартиры по крутой лестнице, которая вела в устроенную в его до-

ме обсерваторию. За ним с фонарем в руке шел один из его помощников Карл Богданович Рейхель.

– А где же Никита Петрович? Опять он сегодня не пришел к назначенному времени, как это жаль! – проговорил Делиль, обращаясь к Рейхелю.

Так как этот последний не говорил по-французски, а Делиль в свою очередь не говорил по-немецки, то разговор между двумя астрономами происходил на русском довольно ломаном языке, а шел он о Попове, адъюнкте, или старшем помощнике Делиля. Рейхель же был только младшим помощником.

– С некоторого времени господин Попов сделался очень неисправен, почти никогда не приходит вовремя, а иногда и вовсе не является на службу, – отозвался Рейхель, по-видимому, равнодушно, но в сущности с затаенною неприязнью к Попову. Неприязнь эта была вполне понятна, так как Рейхелю хотелось поскорее сжить Попова, чтобы самому занять его место, а сверх того в Академии наук в ту пору под предводительством Ломоносова шла ожесточенная борьба академиков из русских

с академиками из немцев.

Как человек, хорошо понявший смысл речи Рейхеля, Делиль, не друживший с немцами-академиками, не обратил на неприязненный отзыв о Попове никакого внимания.

«Верно, где-нибудь веселится. Да, впрочем, это и извинительно, человек он еще не старый и холостой», – подумал астроном, вспоминая, что и он сам, несмотря на всю страсть к звездочетству, был не прочь рассеяться и развлечься и часто предпочитал прелестям звездного неба земные прелести. Делиль теперь пожалел только о том, то его молодой адъюнкт потеряет такой удобный случай для астрономических наблюдений, какой представляла настоящая ночь, столь редко бывающая на петербургском небосклоне, застилаемом обыкновенно в зимнюю пору и облаками и туманом, а между тем в настоящее время представлялась возможность к самым точным наблюдениям над Марсом, ярко блиставшим на небе своим красноватым отливом.

В обсерватории Делиль совершенно предался своим любимым занятиям. Смотря напряженно в телескоп, он по временам прика-

зывал Рейхелю сделать в астрономическом журнале ту или другую заметку. Рейхель, исполняя приказание звездочета, ворчал что-то себе под нос и пытался несколько раз заговорить о непосещении Поповым обсерватории, ссылаясь на то, что отметки в журнале должны были бы в этот день быть ведены не им, Рейхелем, а Поповым, но все в таком роде попытки оставались безуспешны, и Делиль, не разговаривая с Рейхелем, усердно продолжал заниматься своим делом.

Подвохи Рейхеля во вред Попову касались, однако, не только небрежности Попова по его служебно-ученым обязанностям, но и лично самого Делиля. В это время Попов, забравшись в квартиру холостяка-астронома, к которому перешла на житье Шарлотта в качестве хозяйки или экономки, любезничал с нею, пользуясь отсутствием звездочета, который, как знал очень хорошо Попов, нескоро вернется с той высоты, на которую он забрался.

– Ты мне все говоришь, что ты так меня любишь, что и жить без меня не можешь и что непременно женишься на мне, а послу-

шаюсь я тебя, так меня после того обманешь, – говорила Шарлотта, ласкаясь к Попову. – Знаем мы вас, мужчин. Ведь ко мне, как ты знаешь, подбивался сержант Данилов. Он хотел даже дать расписку, что обязывается на мне жениться, да что значит такая расписка, ведь она только на смех пишется. Взяла бы я ее от него в шутку, да потом и возвратила бы назад – что мне с нею делать? – говорила Шарлотта.

– А хочешь, Шарлотточка, так я дам тебе такую расписку? – вызвался Никита Петрович.

– Пожалуй, для шутки, – посмотрю я, что ты в ней напишешь, да пиши так, чтобы видно было, что ты меня страстно любишь и что хотел бы на мне жениться, а об обещании, если хочешь, то не пиши. К чему пустые обещания, если ты их сам добровольно сдержать не захочешь?

Шарлотта быстро освободилась от руки Попова, которую он держал около талии, выбежала в смежный кабинет хозяина-астронома и принесла оттуда чернильницу с пером и лист бумаги.

– Ну, пиши же, пиши! Посмотрю, что ты напишешь, – говорила она, кладя на стол перед молодым адъюнктом перо и бумагу и ставя около них чернильницу.

«Я так люблю мою милую Шарлотту, что не могу жить без нее и очень хотел бы жениться на ней!» – написал адъюнкт и, подмахнув свою подпись, прочел написанное милой девушке. Она крепко обняла его за шею и принялась целовать. Под обаянием таких ласк молодой и хорошенькой немочки Попов забыл совсем о записке. Ему было теперь не до того, и он оставил на столе написанную им в шутку расписку.

Пробыв еще некоторое время с сильно раскрасневшейся, а потом и расплакавшейся Шарлоттой, Попов торопливо побежал в обсерваторию, где еще застал Делиля, и принялся извиняться перед ним в своей неисправности, разумеется, обещая, что на будущее время он не подаст Делилю повода ни к выговорам, ни к замечаниям.

Попов считал теперь себя вполне счастливым и полагал, что он не имеет у Шарлотты никакого соперника, так как прежний ее обо-

жатель, сержант Данилов, «опасаясь быть повержен в полную власть любовного предмета» и бывший сам по себе не в силе преодолеть страсть к Шарлотте, уехал из Петербурга. Как человек осторожный и мнительный он очень обрадовался, когда был без всякой со стороны его просьбы командирован в Ригу по делам службы. Оттуда он писал своему приятелю штык-юнкеру Мартынову следующее: «Город мне был небывалый, жители в нем мне показались учтивы, мужчина не пройдет мимо офицера, чтобы не снял шляпу, а женщины по воскресным дням выходят из своих домов перед ворота на улицу, разрядясь в лучшие платья, и хозяйские дочери, и того дома девки работные и, не пропуская ни одного человека молодого, мимо идущего, приседая, кланяются всем ласково. Приятно всякому сей обычай показаться может, а паче небывалому еще человеку. Я нашел в Риге много знакомых мне офицеров, которые преж сего в Москве со мною в школе учились; также увидя ласковое обхождение рижских девиц и женщин, время от времени стал и забывать свою петербургскую Шарлотту».

Возвратившийся из обсерватории Делиль застал Шарлотту в слезах. Она жаловалась, что у нее сильно болит голова, и приписывала свою болезнь угару. Между тем полученную от Попова записку она, бережно завернув в чистую бумагу, запрятала в свой ларец и улеглась на постель, избегая всяких разговоров со своим хозяином, с большим участием расспрашивавшим ее о нездоровье.

IX

Увеселительные вечеринки в заведении Дрезденши начали постепенно принимать иной вид. Так как к ней стали наезжать лица пожилые и – что еще важнее – лица сановные, то молодежь посещала Амалию Максимовну уже не в таком большом числе, как прежде. Причина тому была весьма уважительная. В ту пору вообще, а тем еще более в силу гражданской подчиненности, преимущественно же в силу военной субординации, требовалось оказывать особенное уважение, сообразно с годами и чиновностью каждого. Те посетители, которые стали наезжать к Дрезденше, все более и более стесняли мало-

чиновную молодежь. В то время сержант, прапорщик или корнет, находясь даже в частном собрании, не мог сесть в присутствии штаб-офицера без позволения со стороны этого последнего; в такое же положение в свою очередь был поставлен и штаб-офицер в отношении к каждому генералу. Молодым сержантам и офицерам, конечно, очень не нравилось, что они должны были стоять целый вечер навытяжку около стен, держа руки по швам. В подобном же положении находились нередко и полковники в присутствии генералов, так что каждый чувствовал себя более или менее стесненным в присутствии лица, старшего чином. Вследствие этого молодежь, прежде веселившаяся у Дрезденши, начала теперь там скучать и отставать от ее заведения. Ухаживание за девицами тоже затруднилось, У каждой из них завелся свой обожатель, хотя из более или менее ослабевших старцев, но зато из людей со значительными средствами, и эти старики были опасными соперниками молодых людей, большею частью не имевших достаточно денег на щедрые подарки.

Однако такая перемена не только не убавила доходов Дрезденши, но, напротив, способствовала их приращению. Молодежь надеялась на самое себя и расплачивалась обыкновенно туго, тогда как старики очень хорошо понимали, каким единственным способом они могут приобретать себе расположение как со стороны самих прелестниц, так и со стороны их корыстной распорядительницы. Весьма важной статьей доходов Дрезденши были еще и устраиваемые в ее доме тайные свидания, а также знакомства разных знатных персон для «уединенных разговоров», как скромно выразился в своих «записках» Данилов.

Но не одни только любовные похождения привлекали и молодых и старцев в заведение Амалии Максимовны. Она открыла в нем еще и карточную игру, бывшую в ту пору одним из самых любимых развлечений петербургского общества. Большая игра велась тогда и при дворе, так как и правительница Анна Леопольдовна, и императрица Анна Ивановна, и начинавшая входить в средний возраст императрица Елизавета Петровна были

страстные охотницы до карт, но во всяком случае в хороших домах игра была гораздо сдержаннее, нежели в таком игорном доме, какой завела у себя Дрезденша. Здесь интересовало то, что беспрестанно можно было встречать новых игроков, хотя и не важных по их общественному положению, но богатых и тароватых, которые считали для себя за честь играть со знатными персонами и охотно проигрывали им такие большие суммы, до которых не доводили игру те, кто не поставлял себе за особое удовольствие играть с кабинет-министрами, сенаторами, генерал-фельдцейхмейстерами и так далее. Удобство карточной игры у Дрезденши представлялось еще и в том отношении, что сделанные там большие карточные проигрыши оставались неизвестными в обществе и – что еще важнее – в доме проигравшегося, и это избавляло многих мужей от упреков со стороны их жен за неудержимую страсть к картам.

Нельзя сказать, что законы того времени потворствовали такому времяпровождению, какое заведено было у Дрезденши. Напротив, на бумаге закон строго преследовал любов-

ные похождения, как, например, незаконное сожительство, и еще более нарушение супружеской верности. Не снисходительно относился он и к карточной игре, установляя даже те размеры, до которых могла доходить игра соответственно рангам игроков. Только в апартаментах ее величества не полагалось никакого ограничения насчет размера карточной игры, хотя бы самой азартной. Дело в том, однако, что тогдашняя полиция, блюстительница нравов, податливая на подношения и взятки, смотрела сквозь пальцы на все противозаконное, что делалось вокруг нее, тем более что и сами представители высшего правительства были причастны всевозможным нарушениям законов. В силу всего этого посетители и посетительницы Дрезденши имели полное основание рассчитывать на близорукость и молчание полиции, так как они принадлежали к знатным персонам. Полиция, хотя бы и самая зоркая и самая добросовестная, не могла взяться за Дрезденшу, зная, что эта дама имеет сильных покровителей не только в лице первостепенных сановников, но и в лице супруг некоторых из них. Сама Дрезден-

ша в свою очередь жила в больших ладах с полицией, не обходя никого из ее чинов праздничными поминками, начиная с полицейских десятских, заменявших нынешних городовых, и кончая тогдашним обер-полицеймейстером. Все то недозволенное, что делалось у Дрезденши, было покрыто глубокою тайною, и если что порою и открывалось, то сами полицейские власти спешили заминать дело в угоду покровителей и покровительниц Амалии Максимовны, и таким образом дела ее шли благополучно.

X

– Не везет тебе что-то в карты, – участливо говорил генерал-рекетмейстер Дивов гофмейстеру двора великого князя Петра Федоровича Чоглокову, отгребая рукою лежавший перед Чоглоковым столбик червонцев, как свой выигрыш.

– Да, все это время я в большом проигрыше. Боюсь, как бы не проведала о том Марья Симоновна. Примется опять распекать меня. Она у меня на этот счет очень строга. Она уже и так хотела жаловаться на меня государыне

за то, что я сильно картежничаю, – шептал на ухо Чоглоков своему партнеру, которого, однако, нисколько не тронули сетования несчастливого игрока, и взятые от него червонцы Дивов очень равнодушно положил в карман своего камзола.

В это время двери игральной комнаты отворились, и к столу, за которым шла игра, подошли двое посетителей: один – граф Дмитревский, а другой – еще молодой, лет двадцати двух, человек, чрезвычайно красивый и в высшей степени изящный. Тонкие и нежные черты его лица придавали ему женственный вид, а из-под набросанной слегка на его модную прическу пудры пробивались волосы золотисто-пепельного цвета. Смело можно было сказать, что он был красавец, но красота его была бы пригоднее женщине, нежели мужчине, вышедшему уже из отроческого возраста. Он приятельски поздоровался с Чоглоковым и взглянул на Дивова, как на незнакомую ему вовсе особу. Это было, впрочем, вполне понятно, так как Дивов хотя и занимал положение, но как человек не светский и не слишком богатый, жил уединенно, редко

появлялся в обществе и любил все досужее время проводить за картами. Так как Чоглоков и Дивов уже забастовали, то они отошли в угол залы и сели там, посматривая на игроков.

Молодой человек вынул из кармана своего камзола несколько червонцев и небрежно раскинул их по столу белою и нежною, как у женщины, рукою. Примеру его последовал и Дмитревский. Началась игра на новые ставки. Среди разговора игроков заметно выделялся чрезвычайно звучный и приятный, а вместе с тем по временам и вкрадчивый голос новопришедшего игрока-красавчика.

– Кто это такой? – подтолкнув слегка локтем Чоглокова, спросил Дивов, показывая глазами на незнакомого ему молодого человека.

– Это граф Станислав Понятовский, состоящий при английском посольстве, – отвечал Чоглоков. – Разве ты не знаешь его?

– Да не приходилось мне никогда его нигде встретить. Ты знаешь, что я все это время и на куртагах даже не был. Куда мне выезжать с таким кашлем, какой меня мучил несколько месяцев! Ведь государыня очень не любит,

когда приезжают к ней во дворец чем бы то ни было больные люди. Она все боится заразиться. А Понятовский поляк? – спросил снова Дивов.

– Да.

– Каким же образом он попал в английское посольство?

– Да его, Иван Иванович, при каком хочешь посольстве и куда хочешь пошли. Говорят, он прекрасно не только по-польски, но и по-русски, по-французски, по-немецки, по-английски, по-итальянски и даже по-турецки говорит.

– Вишь ведь, какой молодец выискался! – перебил Дивов, внимательно присматриваясь к Понятовскому.

– Да мало того, какой он умница, какой ловкий, любезный, какой остряк! Недаром он всем так нравится, всех здешних барынь прельстил собою, а при нашем дворе всех с ума сводит, – добавил Чоглоков, жена которого состояла гофмейстериной при дворе великой княгини Екатерины Алексеевны.

– А до карт он, Николай Наумович, большой охотник? – спросил Дивов, любивший

подыскивать новых хороших игроков.

– Кажется, что не очень, так себе, по временам играет. Он и сюда-то, наверно, приехал не из-за карт, а услышал о «принцессе», так и прикатил, тем более что принцесса считается его землячкою. Он вот до бабенок большой охотник, да и мастер по этой части, проберется всюду. – И Чоглоков, боязно осматриваясь кругом, начал что-то шептать на ухо улыбавшемуся своему приятелю.

– А что, он очень богат? Ведь польские паны очень богатые люди, – заметил Дивов.

– Богатого от тароватого, Иван Иванович, не скоро отличишь, а насколько я слышал, Понятовский не слишком богат, сравнительно с другими магнатами, зато у него самое знатное родство. Он родной племянник князей Чарторыжских. Отец его был отъявленным нашим врагом и постоянно подбивал турок к войне с нами.

– Сынок, кажись, пошел не в отца, – перебил Дивов.

– Да, он совсем не о войне думает, ему бы только тереться около юбок.

Чоглоков угадал цель приезда Понятовско-

го к Дрезденше. Действительно, карточная игра не занимала молодого графа. Он с большим хладнокровием и с прежнею небрежностью продолжал ставить новые куши, несмотря на сделанный уже им большой проигрыш, и беспрестанно с заметным нетерпением оборачивался назад и поглядывал на запертые двери залы. Немало уже успел он спустить червонцев, когда отворились двери и в них вошла Клара в сопровождении Лихтер.

Заметно было, что они избегали потревожить своим приходом все более и более зарывавшихся игроков. Не подходя к игорному столу, они осторожно уселись на канапе. Но, должно быть, до слуха Понятовского дошло шуршанье шелковых робронов, надетых на широчайшие фижмы. Понятовский наскоро забастовал и подошел к Амалии Максимовне, которая представила его Кларе. Граф держал себя чрезвычайно почтительно перед этой девушкой, как человек европейски благовоспитанный, который в ту пору прежде всего отличался вежливостью в обращении с женщинами, какого бы звания они ни были, если только они являлись как хозяйки или как го-

стьи. Он умел приноровиться к беседе всякого общества, и тем легче представлялось ему это сделать в отношении к Кларе, и у них тотчас же нашелся общий предмет разговора – Варшава. Дрезденша, видя, что между новыми знакомыми завязалась оживленная беседа, вышла из комнаты, а вскоре после этого Понятовский предложил Кларе перейти в другую комнату под предлогом, что шумный разговор игроков и начинавшиеся между ними споры мешали их приятной и спокойной беседе.

Клара с полною готовностью исполнила его предложение.

В то время, когда она и Понятовский беседовали между собой, Дмитревский очень часто украдкой взглядывал на ту парочку и, казалось, был очень доволен не только своим громадным выигрышем, но и начавшимся сближением Клары с таким знатным и богатым паном, каким в Петербурге считали графа Станислава Понятовского.

Через некоторое время Клара переехала на другую квартиру с роскошною по тому времени обстановкою, и сюда ежедневно стал яв-

ляться Понятовский, приезжая то по утрам, то по вечерам.

XI

Составив себе знакомство с людьми богатыми и преимущественно пожилыми и знатными и даже с весьма почтенными старцами, Дрезденша сочла более удобным изменить порядок прежде заведенных у нее развлечений. Танцевальные вечеринки, вследствие уменьшившегося числа юных посетителей, становились у нее все реже и реже, но зато около карточных столов прилив посетителей постоянно увеличивался. При этом для Амалии Максимовны открылся еще и новый источник доходов. Очень часто чересчур зарвавшиеся игроки спускали все бывшие с ними деньги и, все еще надеясь на благоприятный для себя переворот фортуны, хотели продолжать игру и нередко обращались за деньгами к гостеприимной хозяйке. Дрезденша, сколотившая уже порядочный капиталец, очень охотно выдавала желающим кратковременные ссуды, которые возвращались ей с процентами, под видом подарка за дружеское

одолжение. Вследствие таких одолжений установились у нее близкие, почти приятельские отношения с должниками, в числе которых немало было людей, весьма влиятельных при дворе.

Но самою доходною для Дрезденши статьею были устраиваемые ею любовные сближения и тайные свидания, происходившие в ее доме, который постепенно из маленького и скромного трактирчика обратился в жилище если не роскошное, то все же чрезвычайно хорошо отделанное и убранное, применительно к тогдашней обстановке лучших петербургских домов. Сама она приняла вид уже не содержательницы трактира или увеселительного заведения, но вид весьма приличной дамы, чему весьма много способствовала представительная ее наружность. Петербургское высшее общество того времени не отличалось вовсе чопорностью, да и не могло отличаться этим свойством, если даже при дворе занимали самые видные места и пользовались высоким положением в обществе многие лица, поднявшиеся случайно с очень темных низин. Поэтому и петербургские дамы не

только не пренебрегали ловкою иностранкою, но даже искали ее знакомства как личности весьма пригодной в известных случаях и притом такой, на скромность которой можно было вполне положиться. Дрезденша не была вовсе так болтлива, как русские женщины, занимавшиеся ремеслом, сходным с тем, каким занималась Амалия Максимовна.

В ту пору нравы петербургского общества вообще и в особенности нравы высших его представительниц не отличались скромностью, и Дрезденша находила для себя такие тайные занятия, которые обыкновенно оплачивались весьма щедро и иногда не только со стороны мужчин, но и со стороны дам, приезжавших по приведенному нами дословному выражению современника, в дом Дрезденши «других себе мужей по нраву выбирать».

Как ни была скромна на словах услужливая Дрезденша, но глухая молва о происходивших у нее свиданиях стала все более и более расходиться по Петербургу. «Жены, – пишет тот современник, на которого мы уже ссылались, – стали замечать, что мужья их не в обыкновенное время поздно домой возвра-

щаются и к ним холодеют. Возгорелась, – продолжает он, – от жен к мужьям своим великая ревность, а ревнивые глаза далее видят орлиных, и то видят, чего видать не могут, однако потом дознались причину и добрались верно, для чего так поздно домой ездят их мужья». Со своей стороны, и мужья стали примечать, что и их жены, ссылаясь обыкновенно на побывку у своих приятельниц, тоже хотя и реже, но все же иной раз поздненько возвращались домой, или что они, отлучившись из дома в неподходящую пору, возвращались домой или в очень веселом, или, наоборот, в очень задумчивом и грустном настроении. Замечая это, ревнивцы в свою очередь стали подозревать кое-что, и тайные похождения неверных жен делались иногда известны их обманутым мужьям. Подобные дела кончались, однако, домашним образом. Каждому и каждой нежелательно было сделаться предметом злословия, насмешек и намеков, и потому многое было оставлено как мужьями, так и женами под покровом непроницаемой тайны, и долгое время никто не беспокоил Дрезденшу требованием от нее каких-либо

объяснений, относящихся к нарушению в ее доме или только при ее посредстве супружеской верности.

Петербургские знатные дамы того времени были весьма нередкими посетительницами дома Дрезденши. Они пробирались к ней, как простые женщины, с лицами, закутанными платками, надетыми на головы вместо шляпок, или с лицами, закрытыми вуалью, или пешком, без лакея, если жили недалеко от Вознесенской першпективы, или в наемных одноколках, которые они нанимали на улице, отойдя несколько от своего дома, и сходили с них, не доезжая до дома Дрезденши. Некоторые из таких грешниц, более отважные, отправлялись на условленное свидание, переодевшись в мужское платье. Можно бы, пожалуй, и не поверить справедливости таких рассказов о таинственно-любовных похождениях петербургских дам в половине прошлого столетия, если бы о том не свидетельствовали «Записки» одной из слишком видных современниц той поры. Из этих «Записок» оказывается, что на похождения подобного рода отваживались даже такие знат-

ные дамы, которые находились постоянно под зорким наблюдением многих приставников и приставниц и для которых, как казалось, выход украдкой из дома был делом невозможным.

Понятовский и Чоглоков были по-прежнему частыми посетителямм Амалии Максимовны. Последний из них отгадал истинную причину приезда к ней графа Станислава. Действительно, Понятовский стал ухаживать безотвязно за Кларой и, разумеется, без труда тотчас же оттер всех своих соперников. Сам пан Дмитревский, который, как казалось, был так близок с молодою девушкой, отстал теперь от нее и не думал перебивать Клару от слишком счастливого волокиты, тем более что все прежние ухаживания Дмитревского около Клары оставались без окончательного успеха. Клара, руководимая Дрезденшей, не хотела отдаться Дмитревскому, бедному, хотя и очень пригожему панычу, и метила приискать себе не временного обожателя и даже не хорошего жениха, а просто-напросто юношу, которого могла бы полюбить безоглядочно, так что в этом случае все руководительные

соображения Амалии Максимовны оставались бесполезными. Разумеется, что Понятовский, ухаживая за стойкою девушкою, как и все соблазнители, клялся отдать ей всю свою жизнь, не изменить ей никогда и хотя прямо не обещал ей жениться на ней, но намекал, что сердечная связь их может кончиться браком. На деле, однако, молодой красавец думал привязаться к Кларе лишь настолько, насколько это может случиться иной раз с ветреником, избалованным успехом у женщин, то есть он был уверен, что привяжется к Кларе на непродолжительное время. Вышло, однако, что он сильно полюбил молодую девушку, которая в свою очередь чувствовала к нему неодолимую, жгучую страсть, и такая страсть в конце концов привела ее к уступке перед искательным волокитою.

Для влюбленной парочки дни быстро летели за днями, и они не заметили, как наступила зима, столь благоприятная для тех развлечений, какие могли находить для себя у Дрезденши и женатые мужчины, и замужние женщины. Темные и продолжительные зимние ночи в тогдашнем Петербурге, где лишь

немногие улицы были освещены только слабо мерцающими фонарями, были очень удобны для поездок неверных супруг к Дрезденше. Ночной мрак прикрывал их тайные похождения. Им уже не приходилось, как в светлые петербургские ночи, пробираться торопливо пешком или в нанятой на улице одноколке на Вознесенскую першпективу, оглядываясь по сторонам из боязни, что их могут увидеть и узнать на этом переезде. Дом Дрезденши оживился снова после летнего затишья.

Вдобавок к тому зима представляла своего рода особые развлечения, на которые могли съезжаться для свиданий знатные персоны женского пола, не навлекая на себя подозрений и пользуясь большею свободою, нежели та, какая допускалась в ярко освещенных залах и гостиных. Тогдашнее петербургское, даже самое высшее, общество не было прихотливо насчет способов увеселения. Любимым местом загородных съездов столичной знати был зимою «Красный кабачок», к которому в зимние вечера неслись на отличной санной дороге и пошевни и возки. «Красный каба-

чок» был в ту пору небольшой немецкий трактир, и там устраивались ледяные катальные горы, которые служили благовидной приманкой даже для чопорных дам, так как катание с таких гор считалось не исключительно простонародным, но и аристократическим увеселением, потому что сама императрица Елизавета Петровна с ранней еще молодости была страстной охотницей до этой потехи. Она, со своей стороны, тоже не уклонялась от поездки по временам в скромный «Красный кабачок» со всем своим двором, и тогда это, ныне совершенно упавшее, увеселительное заведение наполнялось отборною петербургскою знатью, да и вообще пользовалось известностью, едва ли меньшею, чем заведение Дрезденши, в котором, впрочем, расторопная, услужливая хозяйка была главною притягательною силою для влюбленных.

Не имея возможности встречаться с Кларой открыто в обществе, Понятовский мог беспрепятственно вести с нею знакомство на катальных горах, в «Красном кабачке», где он, как знакомый ей кавалер, свозил ее с гор на салазках, и ему приятно было, когда все при-

сутствовавшие громко восхищались поразительной красотою Клары, которая была беззаботно весела, между тем как судьба готовила ей тяжкие испытания.

XII

— Где ты, Николай Наумович, все это время пропадаешь по ночам? Уж двенадцать часов ночи, все добрые люди легли давно спать, а я тебя должна ждать не смыкая глаз, – скорее убедительно, нежели сердито, говорила Марья Симоновна Чоглокова своему мужу, показавшемуся в дверях ее спальни.

Супруг, возвратившийся по распорядку тогдашнего образа жизни – когда даже самые парадные балы кончались к десяти часам – слишком поздно, растерялся, хотя он заранее мог предвидеть, что вопрос этот непременно будет ему задан, как он был уже задаваем неоднократно и при бывших еще и прежде подобных случаях. Но дело в том, что повторять в оправдание те же самые причины Чоглокову было неудобно, так как однообразные объяснения о причинах позднего возвращения могли наконец утратить всякую веро-

ятность. Притом на этот раз вопрос был сделан хотя и кротким голосом, но вместе с тем с такою настойчивостью, какой Чоглоков не замечал еще никогда в голосе своей супруги.

Другой муж, да, пожалуй, и сам Николай Наумович не слишком бы боязно отнесся к раздражению своей жены, если бы его супругою была не Марья Симоновна. Но при браке с нею являлись особые условия, ставившие Чоглокова в очень стеснительное положение, так как Марья Симоновна, по отцу Гендрикова, была двоюродная сестра императрицы Елизаветы Петровны, а Чоглоков крепко побаивался своей царственной, по жене, кузины. Однажды, когда он повздорил со своею женою, а она как-то нечаянно проговорилась об этом императрице, то Елизавета Петровна через графа Александра Ивановича Шувалова, начальника Тайной канцелярии, приказала сказать Николаю Наумовичу, что если он еще раз забудется перед своею женою, двоюродною сестрою ее величества, то государыня расправится с ним так, как он и не ожидает. Со своей стороны, эту родственную угрозу Шувалов передал припугнутому Чоглокову в

том смысле, что сей последний побывает у него в той канцелярии, где, смотря по обстоятельствам дела, употребляют иногда как исправительное средство и безлиственные березовые веники.

Понятно, что после такого грозного предварения Николай Наумович робел перед своею супругою, но как ни велика была эта робость, он не мог противостоять разного рода игривым искушениям, пользование которыми и было причиною его поздних возвращений в супружескую опочивальню.

Николай Наумович и Марья Симоновна были еще молодые супруги, и – что было особенно важно в их супружеской жизни – Марья Симоновна, выйдя за него замуж по любви, продолжала любить его постоянно, и любовь ее, как это, впрочем, всегда бывает, главным образом выражалась в сильной ревности. И теперь она поспешила облегчить свое сердце от такого тягостного и мучительного чувства.

– Верно, опять заигрался в карты? – несколько сердито спросила она мужа.

– Да, – смиренно отвечал Николай Наумо-

вич.

– И верно, с Дивовым?

– Да, с ним.

– И уж, конечно, проиграл?

– Да, проиграл.

Хотя в этот вечер Николай Наумович, проводя приятно вечер у Дрезденши с новоприезжей к ней молоденькой немочкой, и не брал карт в руки, но признал за лучшее поддакивать во всем Марье Симоновне, так как вопросы, задаваемые ею, сводили ревнивую супругу на ложную дорогу, которая была гораздо простительнее в глазах Марьи Симоновны, нежели та, по которой она могла добраться до прискорбной для нее истины.

Пожурив мужа за страсть к картам, Марья Симоновна успокоилась и осталась очень довольна своею догадливостью, тем не менее она постаралась удержать в памяти его объяснения, дабы при случае проверить их новыми опросами, так как в настоящее время ревность ее хотя и попритихла, но тем не менее закравшееся в ее голову подозрение не изгладилось окончательно.

Около этого времени почти то же самое

происходило и в другом в ту пору знатном петербургском доме.

Графиня Мавра Егоровна Шувалова принялась, со своей стороны, ревновать своего мужа графа Петра Ивановича, тоже нередко наезжавшего к Дрезденше и тоже поздненько возвращавшегося домой. Шувалов, никогда не игравший в карты, не мог приискивать той благовидной причины, какою мог – и иногда весьма удачно – отделываться Чоглоков, но зато у него была другая весьма уважительная отговорка. Его очень часто приглашал, или, вернее сказать, просто требовал к себе на вечернее времяпровождение егермейстер, граф Алексей Григорьевич Разумовский, а отказывать такому всемогущему любимцу было для Петра Ивановича не совсем удобно, так как неудовлетворение им желания егермейстера могло повлечь на него неудовольствие со стороны императрицы. Пытался он ссылаться по временам перед женою и на бытность свою то в том, то в другом знакомом доме, но такие ссылки не слишком были надежны, так как Мавре Егоровне нетрудно было проверить справедливость показаний сво-

его супруга. В настоящем случае он сослался на то, что провел вечер у графа Алексея Григорьевича Разумовского.

Посещения Петром Ивановичем Разумовского, как рассказывает одна современница, были тоже не по сердцу Мавре Егоровне, и она усердно молилась Богу о благополучном окончании ее супругом этих посещений, так как зазнавшийся егермейстер, подвыпив, начинал вздорить с Петром Ивановичем и нередко приказывал бить его батогами.

Ссылки Петра Ивановича на вечернее времяпровождение у Разумовского стали казаться Мавре Егоровне подозрительными, и когда она однажды после такой ссылки навела тайком надлежащие справки, то оказалось, что супруг ее дал ложные показания. Подозрения ее насчет неверности мужа усилились еще более, и она, решившись, как говорится, вывести все на чистую воду, стала терпеливо выжидать первого же удобного случая для окончательного обличения изменника, делая пока вид, будто вполне верит объяснениям своего супруга.

XIII

Петр Иванович и Николай Наумович не только не были между собою в приязни, но даже недружелюбно посматривали друг на друга, так как первый из них был представителем так называвшегося большого двора, то есть двора императрицы, а Чоглоков был представителем малого двора, то есть двора великого князя наследника и его супруги, а между обоими этими дворами существовали в ту пору не слишком дружелюбные отношения. Несмотря, однако, на такой придворный разлад, Мавра Егоровна и Марья Симоновна были большие между собою приятельницы, и каждая из них старалась заискивать в другой.

Мавра Егоровна, по отцу Шепелева, с самой ранней юности состояла в качестве камер-фрау при Елизавете еще в то время, когда Елизавета была цесаревною, и потом Шепелева из заурядной ее прислужницы обратилась в ближайшую приятельницу цесаревны и в доверенную ее подругу. При вступлении на престол Елизаветы Мавра Егоровна, вышедшая замуж за Петра Ивановича, сделалась та-

кою сильною особою, у которой старались заискивать милости все самые знатные вельможи. Она была очень пригодна и для Чоглоковых, так как Марья Симоновна сама от себя не решалась иной раз просить о чем-нибудь свою двоюродную сестру и предпочитала в таких случаях действовать через Шувалову.

В свою очередь и Мавра Егоровна старалась жить в больших ладах с Чоглоковой в том разумном расчете, что и ей иногда может пригодиться Марья Симоновна, которая, проговорившись как будто случайно в родственной беседе с Елизаветой Петровной, могла сообщить государыне то, что самой «Маврутке» по тем или другим соображениям было бы неудобно и неловко сказать прямо от себя.

Обе эти дамы довольно часто виделись между собою, и так как Шувалова была лет на пятнадцать старше Чоглоковой, то она относилась к Марье Симоновне в наставительном тоне, что было совершенно согласно с духом того времени и считалось со стороны старших летами выражением истинного доброжелательства.

– Ну что, Машутка, как ты ладишь теперь

со своим сожителем? Кажись, что он стал совсем иным после того, как его хорошенько припугнул мой деверь от имени царицы, – спросила однажды Шувалова Чоглокову.

Марья Симоновна ничего не отвечала на этот вопрос и сидела, потупя глаза.

– Да что ж ты ничего мне не отвечаешь? Не пустился ли он опять в какие-нибудь неистовства или продерзости перед тобою? – допытывалась Мавра Егоровна, желая послужиться молодой женщине и употребить в дело ее влияние у государыни для обуздания любовных похождений своего мужа.

– Нет, он обходится со мною очень ласково, да, по правде сказать, и тот-то раз я не столько сердилась на него за то, что он повздорил со мною, сколько просто-напросто ревновала его, хотя и сама не знала, к кому именно. Скажи мне, матушка Мавра Егоровна, что в таком случае нужно делать?

Мавра Егоровна призадумалась: у нее у самой вертелся в голове точно такой же вопрос.

– Что делать? Да, кажись, надобно прежде всего дознаться обстоятельно, справедлива ли твоя ревность, – поучительно отвечала

Шувалова. – А о Дрезденше ты слышала что-нибудь? – спросила вдруг Мавра Егоровна, уперев свой пристальный и пытливый взгляд на свою собеседницу.

Вопрос этот клонился не только к тому, чтобы навести Марью Симоновну на надлежащий след, но он предлагался еще и с другою целью. Шувалова, задавая подобный вопрос и молодым и пожилым барыням, внимательно следила за выражением их лиц, желая подметить при этом выражение замешательства и смущения, чтобы на этом основании сделать заключение о том, не выбирает ли себе вопрошаемая дама «другого мужа».

– Кто же о ней в Петербурге не слышал, – равнодушно отвечала Чоглокова. – Говорят, что она опасная женщина и перессорила многих мужей с женами и жен с мужьями. Но не думаю я, чтобы Николай Наумович вел с нею знакомство.

– То-то, поглядывай за ним хорошенько. В нынешнее время, скажу я тебе, Машутка, бог весть, что у нас деется. Посмотришь кругом да около и только дивишься, до чего дошла у нас развращенность. Сколько не одних лишь мо-

лодых людей, но и пожилых и даже стариков, с виду, кажись, никуда уже не годных, проживаются в Петербурге на разных потаскушек, особенно если они из заезжих, иноземных красоток. Слыхала я, что иные из них живут куда как лучше самых знатных персон. В том-то и беда, что наша Лизавета Петровна больно уж добра, всяким негодяйкам мирволит, а я бы вместо нее весь Петербург, как метлой, сразу бы вымела от такой нечисти. У меня все было бы в порядке и в надлежащем благочинии, – говорила с заметным раздражением Мавра Егоровна, подозревавшая, что и супруг ее или посещает Дрезденшу, или обзавелся тайком, при посредстве Амалии Максимовны, какою-нибудь пригожею «метрескою», как называли тогда в Петербурге незаконных сожительниц.

В ответ на такую речь Мавры Егоровны Чоглокова только утвердительно покачивала головою, соглашаясь во всем со своею собеседницею.

– Да и барыни-то наши хороши. Вот, примером сказать, хоть бы ваш Понятовский, – продолжала Шувалова, уперев на слове

«ваш», так как Понятовский был принят особенно ласково при «маленьком» дворе, при котором состояла Чоглокова. – Ведь мы не знаем, – добавила Шувалова. – Государыня терпит, терпит, да кончится тем, что вышлет его отсюда. Уж кавалер-то он больно отважный. Думает, что здесь можно так же волочиться, как в Польше. Как же!

Еще долго говорила она на тему о повреждении нравов в настоящую пору. Смысл речей ее был и поучительный для молодой дамы, и грозный для тех, кто предавался, по тогдашнему выражению, «любовным упражнениям». О душевной чистоте Мавры Егоровны вообще нельзя было сказать много одобрительного, но супружеская ее верность и женское целомудрие не подлежали ни малейшему сомнению, и в силу таких редких в ту пору добродетелей она требовала такой же взаимности от своего мужа, который, несмотря на свою наружную холодность и видимую робость, имел, однако, в отношении к женскому полу самое нежное и самое чувствительное сердце.

Заподозрив Петра Ивановича в супруже-

ской неверности, вследствие частых его отлучек по вечерам и поздних возвращений домой, Мавра Егоровна сочла нужным убедиться окончательно в его неверности или же, наоборот, удостовериться вполне насчет его верности. Она усилила над ним свой тайный надзор по поводу ссылок его на поздние ужины у егермейстера, и ей пришлось вскоре узнать, что ссылки на такое времяпровождение были очень часто только выдумкой. Ввиду этого Мавра Егоровна решилась добраться до истины разными тайными расспросами и справками в доме Дрезденши. Через своих доверенных лазутчиков она наконец осведомилась, что Петр Иванович через посредство Амалии Максимовны пристроился около какой-то немочки, для которой он отделал хорошенькую квартиру и принял все меры к тому, чтобы посещения им этого приюта оставались непроницаемою тайною. Удрученная открытием такого несомненного уже вероломства, Мавра Егоровна не показала, однако, своему супругу, что ей известно о заведенном им на стороне хозяйстве, и как женщина сдержанная и рассудительная сообразила,

что обнаружение такого скрытого сожительства ее мужа сделает смешным человека уже пожилого и что насмешки над ним в петербургском обществе отразятся и на ней. Поэтому она предпочла действовать тайком, так, чтобы гнездышко, свитое Петром Ивановичем у хорошенькой немочки, было разорено, но не прямо через нее, а косвенно – таким путем, чтобы она сама казалась вовсе не причастной этому разорению.

XIV

В этом году Масленица в Петербурге прошла по обыкновению весело и шумно. Веселился и шумно гулял не только «подлый» народ около гор, которые устраивались тогда под Смольным монастырем, но и шляхетство, и самые знатные обоего пола персоны с большою охотою предавались разным масленичным увеселениям. Императрица также любила проводить Масленицу, следуя, между прочим, и старинным русским обычаям. При дворе были не только театральные представления, балы и маскарады, но и поездки в пошевнях большим обществом на блины и катанья

с гор. Все веселились и забавлялись, и никто не предвидел того переполоха, какой тайком подготовляла мстительная Мавра Егоровна для всего Петербурга.

Наступил Великий пост. В это время государыня, и без того всегда набожная, становилась еще благочестивее и богобоязненнее и начинала сокрушаться не только о своих собственных прегрешениях, но и о греховности других. В это время духовник ее, Федор Яковлевич Дубянский, получал над нею неотразимое влияние, и таким влиянием воспользовалась, со своей стороны, Мавра Егоровна.

– Ты бы, отец Федор, позаботился теперь о благочестивейшей нашей государыне, – сказала Дубянскому Шувалова, встретившись с ним во дворце незадолго до первой недели Великого поста.

Дубянский крепко поморщился, крякнул и в недоумении почесал затылок, как бы желая выразить, какие тягостные обязанности лежат на нем.

– Морщиться-то и кряхтеть нечего, – заметила бойкая барыня вопросительно смотревшему на нее Дубянскому. – Дело я тебе, отец

Федор, говорю. Не забочусь я, собственно, о душе царицы, грехов у нее у самой куда как немного, а будет она в ответе перед Богом за чужие грехи. Зачем допускает она здесь, около себя такую мерзостную развращенность?

– Не допускает этого ее величество, – резко перебил Дубянский, – и за нравами блюдет строго. Разве ты, Мавра Егоровна, забыла, что государыня своими указами пресекла мотовство и роскошь и указала одеваться всем боярыням сообразно их рангам, и денег на дорогие наряды и уборы попусту не мотать.

Мавра Егоровна невольно улыбнулась, видя любовь к роскошным нарядам самой Елизаветы Петровны, у которой в гардеробе было четыре тысячи платьев и огромные короба кружев, лент и башмаков.

– Разве она не воспретила ту огромную карточную игру, которая велась прежде в Питере, дозволив играть на большие деньги только в собственных своих апартаментах. Такие запретные указы, скажу тебе, Мавра Егоровна, внушил ей я, а то на что было прежде похоже!

– Так-то так, отец Федор, хорошо ты сделал,

да забыл только главное: забыл ты ту развращенность, какая ныне у нас в Петербурге завелась. Ведь здесь не только всякие вольности в обращении с женским полом происходят, но и постоянные незаконные сожительства устраиваются в нарушение брачной жизни.

– Да что ж тут, сударыня моя, поделаешь? Известно мне, что при этом не одни только мужчины, но и женский пол виновен. Государыня, впрочем, и такие пороки без внимания не оставляет, а мне граф Алексей Петрович говорил, будто государыня приказала ему списаться с английским послом, чтобы он, посол, отсюда удалил прибывшего к нам с ним этого красавчика полячка Понятовского. Говорит она, что Понятовский уже слишком заволочился и своим волокитством дурной пример всем подает: с ума сводит наших барынь, что ни на есть самых знатных.

– Давно бы пора с ним так распорядиться. Да с одним ли с ним? Таких молодцов, как он, немало и из русских найдется в Питере. Так ты, отец Федор, поговори об этом с твоею духовною дщерью. Пусть издаст она строгий

указ против лиц зазорного поведения, да не только из подлого народа, а обо всех, без всякого различия. Богоугодное дело сотворит она, да и я скажу ей об этом.

– Хорошо, хорошо! Справедливо ты рассуждаешь. В самом деле, до чего дошла у нас развращенность, – говорил с притворным раздражением Федор Яковлевич, прощаясь с Шуваловой и находя, что во внушенной ею мысли найдется новый источник душеспасительных поучений и что, кроме того, угодив Мавре Егоровне, такой близкой наперснице государыни, он в случае надобности найдет в ней надежную поддержку и при своих ходатайствах у государыни, так как просить стороной бывает очень часто гораздо удобнее, нежели просить прямо от себя.

XV

— Скоро мне придется уехать из Петербурга, – грустным голосом сказал Понятовский, беседуя наедине с Дрезденшей о Кларе. – Быть может, даже навсегда. Жаль мне расстаться с Кларой. Устройте, госпожа Лихтер, дело так, чтобы она отправилась со мною. В Польше ей будет хорошо, а если мне придется куда-нибудь ехать, то я возьму ее с собой, я ни за что не покину эту девушку, к которой я привязан всем сердцем.

Дрезденша нахмурилась. Ей жаль было отпустить Клару, которая была такой сильной приманкой и для молодежи, и для людей пожилых и на которую она имела виды по части денежных прибылей и устройства новых знакомств с людьми, которые могли ей быть полезнее, чем только на время приехавший Понятовский.

– Я не думаю, – лживо отвечала хитрая женщина, – чтобы Клара уехала отсюда. Она, кажется, думает здесь пристроиться так хорошо и прилично, как не в состоянии была бы сделать это, оставаясь, граф, вашею любовни-

цей.

Молодой человек заметно изменился в лице и сделал быстрое движение.

– Что вы хотите сказать этим? Значит, Клара только притворялась, твердя мне о своей беспредельной любви, выходит, что она только обманывала меня? А я так страстно любил ее!

– О любви вашей к ней я ничего не знаю, как и о ее любви к вам. Знаю только, что такие благородные во всех отношениях люди, как вы, граф, не оставляют на произвол судьбы обманутую девушку, особенно в таком положении, в каком находится Клара, и прежде всего стараются хоть денежными средствами вполне обеспечить ее.

– К сожалению, я в настоящее время не могу исполнить это так, как мне желалось бы. Дела мои крайне расстроены. Мне нужно поправить их пребыванием в Польше. Необходимо завести хорошее хозяйство в моих имениях и устроить в них порядок, и Клара, если она пожелает ехать со мною, может быть уверена, что будущность ее я обеспечу навсегда. Не о том, впрочем, теперь идет речь. Уговори-

те ее, чтобы она поехала со мною в Варшаву. Вы сказали, впрочем, что она надеется здесь устроиться прилично, то есть если я понимаю верно такое ваше выражение, то думаю, что она просто-напросто хочет выйти замуж в Петербурге?

– Это весьма понятное желание каждой девушки, особенно той, которой нужно прикрыть свой грех или свою ошибку. Ведь вы все равно на ней не женитесь.

Понятовский задумался.

– Знаете, что я скажу вам, госпожа Лихтер, – заговорил он после некоторого раздумья, – я знал в моей хотя и недолгой еще жизни очень много женщин. Во многих из них я был влюблен страстно; за другими волочился не столько из любви, сколько из тщеславия, желая, чтобы в обществе говорили о моих успехах. Встречал я и таких женщин, к которым влекли меня и страсть и тщеславие вместе, но которое из двух этих чувств было сильнее во мне, я не могу дать себе отчета.

– Очень хорошо знаю об этом, граф, – улыбнувшись, заметила Лихтер. – В Петербурге об вас говорят много, да и самый отъезд ваш

приписывают вашему слишком смелому волокитству.

– Пусть так, но я хочу сказать вам совсем о другом. Я полюбил Клару так, как не любил еще никогда ни одну женщину. И кажется, что в любви к ней не может быть с моей стороны ни малейшего тщеславия. Положение ее слишком скромно, а происхождение ее даже неизвестно.

– Ну, не говорите этого, граф, – с живостью перебила Амалия Максимовна. – Клара – королевская дочь. Этому отыскиваются теперь в Варшаве несомненные доказательства, и я скоро получу их, – прихвастнула она, – тогда при помощи моих знакомых в Петербурге можно будет просить государыню, чтобы она сделалась заступницей покинутой всеми сироты. Я вполне уверена, что по добытым мною доказательствам о знатном происхождении Клары и в особенности по просьбе императрицы король Август Третий не откажет признать Клару своею сводною сестрой и тем самым поправит непростительную забывчивость и ее и своего отца. Он может дать ей и графский титул, и большую пенсию. Граф

Брюль, заискивающий у здешнего двора, по просьбе графа Бестужева возьмется хлопотать об этом, и тогда Клара будет подходящей для вас невестой даже и в таком случае, если бы вы сделались когда-нибудь королем польским.

– Ну, этого не дождемся ни я, ни она! – засмеялся Понятовский, не предчувствуя нисколько, что пустая болтовня Дрезденши была как бы пророчеством его блестящей будущности. – Клара, думаю я, настолько ко мне привязана, что вполне удовольствовалась бы, если бы сделалась только пани Понятовской, – сказал собеседник Амалии Максимовны.

– Конечно, конечно! Но разве сестра ее Анна Ожельская не сделалась герцогиней? Ведь вы, разумеется, знаете ее историю?

– Даже очень хорошо, и притом видел ее несколько раз. От души желаю, чтобы судьба Клары устроилась как нельзя лучше, но для меня отраднее было бы, если бы она ради надежд – по всей вероятности несбыточных – не расставалась со мною.

В ответ на эти слова, сказанные с большим

чувством, Дрезденша только махнула рукой, как бы желая тем выразить: знаем вас, говорите вы так только, пока она вам не прискучит, а потом бросите: делайся как знаешь!

– Хорошо, я поговорю с Кларой, да вы и сами хорошенько просите ее, – наставительно сказала Дрезденша.

– Об этом нечего и говорить, но я еще ничего не сказал ей о моем отъезде. Надобно собраться с силами, – промолвил Понятовский, прощаясь с Амалией Максимовной, которая тотчас же отправилась к Кларе.

XVI

Не предчувствуя ничего печального, Клара в ожидании приезда своего возлюбленного лежала на канапе и играла с вскочившею на него собачкою, подаренною ей Понятовским, когда совершенно неожиданно вошла Лихтер. Собачка вскочила с канапе и с неприязненным лаем кинулась на вошедшую женщину, как будто чуя в ней недруга своей любимой хозяйки.

– А каков твой Станислав! – с притворным раздражением в голосе сказала она. – Уезжает

на днях из Петербурга навсегда, а тебе между тем не говорит ни слова! Хорош! Видно, хочет тайком сбежать от тебя. Вот любовь – так любовь, – засмеялась она. – Вздумал просить меня, чтобы я уговорила тебя с ним ехать! Как же, очень нужно, чтобы он где-нибудь на дороге бросил тебя.

Клара в ужасе вскочила с канапе и, как ошеломленная, опустив голову и свесив сложенные руки, в изумлении, молча, слушала Дрезденшу.

– Говорю тебе, не езди с ним. Он обманывает тебя. Тобой он только забавляется, как хорошенькой игрушкой. Ему было приятно показывать тебя своим приятелям как свою любовницу, за которой стал бы ухаживать весь Петербург, если бы не знали, что ты неизменно любишь своего Станислава. А сказать по правде, не стоит он этого. Натешился тобою, да и довольно. Мало разве было у него любовниц в Петербурге? Да еще каких! – Дрезденша как будто спохватилась и, глядя на почти обезумевшую от ее резких слов Клару, только насмешливо покачивала головою, как бы издеваясь над обманутою девушкой.

Клара опустилась на канапе и громко зарыдала, а госпожа Лихтер уселась с ней рядом.

– Не плачь понапрасну, милая Клара, – утешала она. – Найдешь лучшего, нежели этот пустой ветрогон. Погоди только немного; скоро я получу из Варшавы бумаги, и будешь ты объявлена королевскою дочерью. Поверь мне. И сама я уверена в этом. Здесь, в Петербурге, и в Варшаве, и в Дрездене примутся хлопотать о тебе усердно; а поедешь со своим Станиславом – потеряешь все. Он, разумеется, будет уговаривать тебя, чтобы ты с ним ехала, но ты не слушай его: человек он пустой. Оставайся здесь; и через моих благоприятелей я найду тебе место при дворе, тогда государыня лично узнает тебя, и ты выйдешь на хорошую дорогу.

Клара ничего не отвечала на эти утешения и даже вовсе не слушала заманчивых обещаний своей утешительницы. Она думала только об измене горячо любимого ею человека, но вскоре – как это часто случается – пылкая к нему страсть Клары перешла в чувство злобы и даже ненависть против изменника, кото-

рый, как убеждала ее Лихтер, не стоит того, чтобы Клара пожертвовала ему своей, быть может, блестящею будущностью.

Клара как будто ободрилась. Она отерла слезы и решилась не сдаваться на уговоры Понятовского.

– Хорошо, я с ним ни за что не поеду! – твердым голосом проговорила она. – Благодарю вас, госпожа Лихтер, что вы обнаружили передо мною всю низость этого человека, которого я так безгранично любила. – И Клара снова залилась слезами.

– К твоей же пользе говорю. Посуди сама, что, если он второй раз покинет тебя так, как покидает теперь, не сказав тебе ни слова? Ведь ты этого не перенесешь. Я знаю твое нежное сердце.

– Не поеду я с ним в Польшу, не поеду ни за что, – заговорила Клара, хватаясь в отчаянии за голову и топая ножками в припадке сильного раздражения.

– Да устоишь ли ты в своей решимости? Ведь он такой вкрадчивый: сумеет обольстить и соблазнить хоть кого. Послушай только, что говорят о нем в Петербурге, – на-

чала было Дрезденша, желая вызвать в Кларе еще больше раздражения, возбуждаемого в ней ревностью.

– Много чего я о нем слышала, да не хотелось мне верить. Он так страшно клялся, что любит только меня одну, но теперь, когда он так жестоко пренебрег мною, я клянусь, что между ним и мною все кончено, – сказала Клара уходившей от нее Дрезденше.

В тот же день вечером приехал к Кларе Понятовский. Долго колебался он, прежде чем решился сообщить Кларе роковую для нее новость. Сильно взволнованная Клара вскоре вывела его из затруднительного положения, сказав ему, что ей известно уже о скором его отъезде и что в этом случае ее всего более огорчила его скрытность.

Начались объяснения, при которых со стороны Понятовского слышались уверения в его неизменной любви. Уверения эти смешивались с горькими укорами, делаемыми им Кларе за то, что она не хочет с ним уехать. Клара, со своей стороны, упрекала своего возлюбленного в неверности и высказала, что ей известна причина, по которой он должен

немедленно уехать из Петербурга. Как ни умолял Понятовский, под влиянием ослеплявшей его страсти, Клару ехать с ним, она оставалась непреклонной, и раздраженный ее упорством Станислав от любви и упреков перешел к колкости.

– Верно, надеешься, что, оставаясь здесь, ты при помощи друзей сделаешься королевской дочерью? – язвительно сказал он.

– Не надеюсь ни на что, а просто не хочу быть любовницею того, кто так жестоко обманывал и обманывает меня. Я разочаровалась и ненавижу тебя! – вскрикнула Клара и, гневно взглянув на Понятовского, вышла из комнаты.

Он понял, что при раздражении Клары в настоящую пору дальнейшие его просьбы только усилят ее негодование против него и что после того, что было высказано ею с такою горечью и с таким к нему презрением, любовь их не будет прочна. В голове его мелькнула мысль, что, сманив с собою Клару, он надолго, если не навсегда свяжет себя такими узами, которые вскоре могут оказаться тяжелыми для него. Поддавшись этому сооб-

ражению, он, со своей стороны, решился расстаться с нею, тем более что ему не раз уже приходилось испытывать разлуку с любимыми женщинами, погрустить о них некоторое время и вскоре после того находить себе новых утешительниц, любовь к которым окончательно изглаживала прежнюю страсть. Вдобавок к тому он полагал, что если привязанность его к Кларе не прекратится, то он страстными письмами в конце концов успеет склонить ее, чтобы она приехала к нему в Варшаву.

Успокоившись этими соображениями, он написал Кларе письмо, наполненное нежными и страстными выражениями, а вместе с тем и упреками за ее холодность, уверениями в вечной любви и просьбами о прощении, если он в чем-нибудь виноват перед нею. В заключение он писал, что происшедшую между ними размолвку он не считает поводом к окончательному разрыву и надеется, что Клара, когда пройдут первые порывы ее гнева, с печалью вспомнит о том, кто любил ее более всех на свете.

Письмо это он передал Амалии Максимов-

не, чтобы она вручила его Кларе, когда увидит, что Клара несколько успокоится. Оставил он ей также тысячу червонцев, которые Лихтер должна была передать Кларе, если бы ей встретилась надобность в деньгах. Он не решился еще раз увидеться с обольщенной им девушкой и выехал из России.

Молодой, красивый, остроумный и образованный Понятовский был первым кавалером и среди петербургского общества, и при дворе, и потому отъезд его был очень заметен. Многие дамы и девицы сильно грустили о нем, и он долгое время был предметом несмолкаемых толков и пересудов. Разошлась в обществе молва и об обольщенной и после того покинутой им «принцессе». К такой молве присоединялись все более и более получавшие достоверность слухи о том, что Клара была побочная дочь короля польского. Многие сердобольные барыни начали принимать участие в печальном положении Клары. Постепенно слухи о ней дошли и до государыни, которая, гневаясь на молодого поляка за развращенность его нравов, высказывала сожаление о девушке, покинутой безжалостным

волокитой.

Молва о разрыве Клары с Понятовским и выезд его из Петербурга подали многим охотникам до любовных похождений надежду заменить его при Кларе. Теперь ее стали учащенно посещать те, которые прежде, видя в Понятовском непобедимого соперника, считали напрасным трудом увиваться около Клары. Стали наезжать к ней незнакомые ей прежде мужчины, надеясь завести с нею близкое знакомство. Клара, однако, уклонялась не только от новых, но и от прежних знакомств, и когда прошли первые вспышки негодования против вероломного друга, она стала сильно горевать о нем и любить его, как любила прежде.

XVII

Около того времени, к которому относится наш рассказ, одним из самых бойких и деловых чиновников, занимавших в Петербурге видные места, считался кабинет-секретарь Василий Иванович Демидов. Прежде он служил членом Коммерц-коллегии, где усердно занимался составлением тарифов, установлением таможенных пошлин и тому подобными «фискальными делами». Слыл он человеком прямым, правдивым и в нравственном отношении вполне безупречным. Нередко не только в кругу знакомых, но и среди членов кабинета заводил он речь о «повреждении нравов» и толковал с жаром о необходимости обуздать человеческие страсти именными повелениями, высочайшими указами и правительственными распоряжениями. О Демидове как о человеке деловом, нелицеприятном и богобоязненном дошли через Мавру Егоровну слухи и до самой государыни, почему он и был назначен кабинет-секретарем.

– Вот, матушка Лизавета Петровна, – говорила Мавра Егоровна ложившейся почивать

после долгой и усердной молитвы императрице, – послезавтра заговенье, наступит Великий пост, а грехи-то наши, грехи! Ой, ой!

Набожная государыня тяжело вздохнула.

– Уж не знаю, что и делать, Мавруша, придется мне отвечать не только за мои собственные, но как царице, чего доброго, и за чужие еще грехи, – проговорила она с заметным сокрушением сердца.

– Да ты, государыня, утвердила бы своею властью добрые нравы и начала бы такое богоугодное дело с Петербурга, поочистила бы здесь разные вертепы, да и на тех, которые в одиночку пошаливают, приказала бы обратить внимание. Ведь и при дворе-то твоем много любовных грехов творится.

– Говорил мне об этом отец Федор, и надумалась я приказать Демидову хорошенько призаняться этим делом. Он человек благочестивый и усердный, так, кстати, в Великом посту ему такая работа будет подходящей. Завтра же призову его к себе и лично прикажу извести всех греховодниц, чтобы ни одной в Петербурге не осталось, пусть убираются отсюда подальше. Прикажу ему, чтобы он при-

тянул к ответу не одних только подлых женщин, но не дал бы спуску и особам всякого ранга, если таковые во грехах окажутся. Пусть разыщет он тех, которые своим мужьям изменяют, да задаст острастку и тем мужьям, которые женам неверны окажутся. Дам я ему на то всякое полномочие.

– И хорошо сделаешь, голубушка, – одобрительно проговорила Шувалова.

В эту ночь Петр Иванович возвратился домой очень поздно, и самые сильные подозрения насчет его верности закрались в душу его подозрительной супруги.

– Вот посмотрим, что-то будет, – говорила поутру Мавра Егоровна своему мужу торжественным и как бы намекающим на что-то голосом. – Государыня хочет извести в Петербурге всех греховодниц и греховодников. Доберутся скоро и до тех, и до других. – И она уставила испытующий взгляд на Петра Ивановича.

Он заметно смутился, но тотчас оправился и начал восхвалять благое намерение государыни.

Спустя несколько часов Петр Иванович

был у своей возлюбленной. Он казался очень мрачным и после обычного приветствия не без некоторого смущения положил перед нею на стол сложенный вчетверо лист бумаги, а на лист этот высыпал горсть новеньких, ярко блестевших червонцев.

– Вот, Миночка, тебе подорожная и деньги, отправляйся завтра же в Нарву и проживи там, пока я уведомлю тебя, что ты можешь вернуться в Петербург, – проговорил, запинаясь, Шувалов.

Молоденькая женщина вопросительно, с удивлением посмотрела на него.

– Нужно тебе на время выбраться отсюда, по каким причинам – знать тебе это будет пока излишним, скажу только, что здесь будет большой переполох. Кто знает, быть может, доберутся и до тебя. Врагов у меня немало, и они постараются выставить меня перед государыней развратным человеком, а что еще хуже будет, проведает, пожалуй, Мавра Егоровна о нашей дружбе, и тогда мне от нее житья не будет. Она уж и так начинает кое-что подозревать и следить за мною куда как зорко!

– Да ведь ты, Петр Иванович, такой сильный вельможа, что тебя никто затронуть не может, – перебила Мина, вообразив, что не идет ли теперь речь о каком-нибудь политическом перевороте, при котором раскроются все тайны Петра Ивановича.

– Так-то так, а знаешь, все будет как-то лучше, если ты на время укроешься где-нибудь. Поезжай-ка в Нарву. Недели через две все успокоится, и мы снова свидимся.

Миночке, однако, очень не хотелось выезжать так неожиданно из Петербурга, тем более в такое время, когда наступала немецкая Масленица, которую в ту пору петербургские немцы так весело проводили в «Красном кабачке». Нечего было, однако, делать, и Миночке пришлось для отъезда в Нарву воспользоваться доставленною ей Петром Ивановичем подорожною, а также и деньгами, назначенными для поездки щедрою рукою графа.

Опасения Петра Ивановича не были напрасными. На следующий день, в самое заговенье, императрица потребовала к себе Демидова.

Когда он явился к ней, она милостиво при-

няла его и в знак своего особенного благоволения пожаловала его к ручке, которую Демидов благоговейно поцеловал, став при этом, по тогдашнему обычаю, на колено.

– Ты, Василий Иванович, – сказала государыня, – человек богобоязненный и от чистого сердца порадеешь о спасении грешниц и грешников. Поразведай хорошенько, где и какие именно здесь водятся, несмотря при этом на знатных персон. Разведывай обо всех доподлинно. Но на первых порах делай это тонко. Не поднимай сразу большого шума. Ты сумеешь это сделать в полной исправности. Да присмотри, – продолжала несколько взволнованным голосом императрица, – и за егермейстером Алексеем Григорьевичем, нет ли у него каких-нибудь любопытных шашней. Словом, действуй по чистой совести, без всякого лицеприятия, а я услуг твоих не забуду, да, кстати, и ты таким богоугодным делом свои грехи поубавишь, хоть я и знаю, что у тебя их как у человека благочестивой жизни наберется немного.

– Кто это знает, – удивленно проговорил Демидов. – Сегодня, матушка-царица, проще-

ный день, так ты прости меня, если я согрешил перед тобою словом, делом, ведением или неведением. – И, говоря это, кабинет-секретарь бухнулся в ножки государыне и растянулся на полу.

– Бог простит тебя, Василий Иванович, если ты в чем-нибудь согрешил передо мною, я твоих прегрешений пока не ведаю. – И государыня снова пожаловала его к ручке. – Поступи же так, как я тебе сказала, а я, выслушав твой доклад, издам согласно с ним высочайший указ, и тогда всякие распутства у нас с помощью Божиею прекратятся.

XVIII

Клара, покинутая Понятовским, осталась как бы на попечении Николая Наумовича, который был в Петербурге ближайшим приятелем графа Станислава Понятовского. Чоглоков, человек далеко еще не старый, взялся, по просьбе Понятовского, защищать от разных напастей оставленную девушку, но, как это часто бывает, такого рода попечители злоупотребляют оказанным им доверием. Он стал усердно посещать Клару, с участием наведываясь об ее здоровье и ее положении. Вскоре посещения его стали сопровождаться любезностями, а затем последовали и любовные объяснения. Клара, однако, наотрез отказала новому волоките в его исканиях и заявила, что она любит и будет любить только одного Станислава. Чоглоков, оскорбленный таким отказом, начал мстить Кларе за ее стойкую любовь к Понятовскому. Он с пренебрежением стал отзываться при Кларе о Понятовском, называя его ловким плутом и пройдохою; рассказывая Кларе, что у любимого ею так страстно Станислава было в Петербурге

несколько любовниц, которых он предпочитал ей. Тому, что говорил Чоглоков, Клара как до ослепления влюбленная в Понятовского женщина не верила вполне. Правда, она знала о любовных похождениях Станислава, но все-таки была твердо уверена, что такие похождения были только мимолетною ветреностью, и хотя с огорчением, но прощала ему временные измены, будучи убеждена, что в конце концов сердце Понятовского принадлежало исключительно ей одной. Поэтому когда Чоглоков хотел уверить ее в противном, то она смотрела на него как на наглого и презренного выдумщика. Под влиянием неприязненного чувства к Чоглокову она стала холодно относиться к нему и начала отказываться принимать его у себя. В свою очередь Чоглоков, обиженный всем этим и видя себя окончательно отвергнутым, стал с досады и злости рассказывать в кругу знакомых Дрезденши, что он сам бросил Клару как продажную женщину вследствие того, что не мог сойтись с нею в цене при покупке ее благосклонности.

Обо всем этом Клара узнала через графа Дмитревского, который оказался ее искрен-

ним другом, хотя на первый раз и в виде сплетника. Когда же Клара, невыносимо тосковавшая о Понятовском, задумала ехать к нему в Варшаву, то Чоглоков, узнав об этом, пригрозил ей через Амалию Максимовну, что он устроит дело так, что Клару не только не выпустят из Петербурга, но и засадят в полицию как развратную женщину. По поводу таких угроз Клара обратилась за советом к Амалии Максимовне, но не встретила со стороны этой последней не только никакого участия, но, напротив, Дрезденша наговорила ей разных дерзостей и подтвердила, что Чоглоков как человек знатный и близкий ко двору может наделать ей множество неприятностей и что она не найдет на него никакой управы, и ввиду этого внушала Кларе уступить искательствам Чоглокова. Тогда Клара, выведенная из терпения россказнями и поступками Чоглокова, решилась, по наущению Дмитревского, отмстить Чоглокову и Дрезденше и устроить себе беспрепятственный выезд из Петербурга. Подходящий к тому способ, который придумал Дмитревский и на который согласилась Клара, состоял в том, чтобы обли-

чить Чоглокова перед его женою в супружеской неверности. Такой расчет на устранение могущих быть со стороны Николая Наумовича неприятностей казался очень верным. Марья Симоновна, как мы сказали, вследствие своего родства, была близка к императрице, и жалоба Чоглоковой на ее мужа могла иметь не только неприятные для него последствия, но вместе с тем и обратить внимание императрицы на покинутую девушку, положением которой Чоглоков хотел воспользоваться самыми неблаговидными способами.

Однажды, когда Николай Наумович уехал на охоту, Марье Симоновне доложили, что какая-то молодая девушка желает ее видеть, но не хочет сказывать, кто она, а только настаивает, что ей необходимо нужно лично видеться с гофмейстериною. Полагая, что пришла какая-нибудь обыкновенная посетительница, избегавшая всякой огласки и как бы оказывающая особое доверие одной только Чоглоковой, Марья Симоновна, женщина с добрым сердцам, приказала позвать в свою уборную молодую неизвестную ей девушку, а по приходе Клары в уборную велела своей ка-

мер-медхен выйти из комнаты.

– Что вам, сударушка моя, от меня нужно? – участливо спросила Марья Симоновна Клару, которая с первого взгляда расположила к себе Чоглокову.

В ответ на этот вопрос Клара залилась слезами, которые, как известно, производят на женщин чрезвычайно сильное впечатление.

– Не плачь, моя красавица, а скажи, в чем дело, – сказала Марья Симоновна, ласково отнимая платок от личика Клары и затем положив руку на ее плечо. – Скажи просто, в чем дело, и я охотно помогу тебе, если можно. Быть может, ты находишься в нужде! Не стесняйся.

Хотя наряд Клары, не только приличный, но даже щегольской, отдалял всякую мысль о подобной просьбе со стороны молодой девушки, но так как в ту пору денежное попрошайство в знатных домах было в Петербурге чрезвычайно развито, то вопрос о денежной подачке невольно сорвался прежде всего с языка добросердечной Чоглоковой.

Клара в ответ на это отрицательно покачала головой.

– Так что же тебе, моя голубушка, нужно? Быть может, желаешь достать какую-нибудь должность для мужа или брата? Скажи мне прямо.

И на этот вопрос Клара отрицательно покачала головою. Она не решалась высказать, зачем она пришла к знатной даме, которая так приветливо и так ласково приняла ее и которую ей, Кларе, придется поразить крайне неприятною вестью.

– Я хочу уехать из Петербурга к человеку, которого я так сильно люблю, но к которому меня не пускают.

Чоглокова весело рассмеялась. Ей в первый раз приходилось слышать такую странную просьбу, и, разумеется, ей никак не могло прийти в голову: какая может существовать связь между нею и поездкой незнакомой ей вовсе девушки к человеку, которого эта девушка любит?

– Это дело меня нисколько не касается, заведует такими делами полиция. Верно, она хочет задержать тебя за долги. – И у Марьи Симоновны снова мелькнула мысль, что, вероятно, просительнице нужны на дорогу

деньги, и она снова хотела было предложить ей вопрос о деньгах, но теперь над готовностью помочь нуждающейся незнакомке взяло верх женское любопытство.

– А куда же и к кому ты, душенька, хочешь ехать?

– В Варшаву, к графу Станиславу Понятовскому.

При имени Понятовского лицо Марьи Симоновны приняло радостное выражение, так как она была гофмейстериною «маленького» двора, при котором так радушно был принимаем Понятовский. Перед Чоглоковой поднималась завеса, за которую ей так желательно было заглянуть по разным соображениям.

– Да вы не принцесса ли? – торопливо спросила Чоглокова, слышавшая очень часто такое название Клары при разговорах о Понятовском, и она пристально, с выражением сильного любопытства в глазах, стала всматриваться в Клару, понимая, что такая хорошенькая девушка могла увлечь своею красотою графа Станислава, хотя он и был любимец женщин самого высокого полета. – Ведь вы дочь короля Августа Второго? – как-то

нерешительно проговорила Чоглокова.

– Я – Клара Оберден, а чья я дочь, я этого не знаю, да не об этом теперь и дело идет, – сказала взволнованным голосом Клара.

– Да кто грозит не выпускать вас из Петербурга?

– Ваш муж! – вдруг громко, но дрожащим голосом вскрикнула Клара.

– Мой муж? – изумилась Марья Симоновна. – Этого не может быть! – гневно вскрикнула она, побуждаемая тем понятным каждой женщине чувством, которое неизбежно охватывает ее в первый раз в подобных неожиданных случаях.

– Да, он, – подтвердила Клара.

Марья Симоновна изменилась в лице, быстро подбежала к двери, и приотворив ее, заглянула в соседнюю комнату и затем заперла дверь на ключ. Точно шатаясь на ногах, она подошла к креслам и в бессилии опустилась в них.

– Сядьте возле меня, расскажите мне все, как было, – обратилась она в смущении к Кларе, указывая ей на близстоящее кресло. – Если вы говорите по-французски, то рассказывайте

на этом языке. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подслушал наш разговор.

Марья Симоновна тяжело дышала, опустив на колени сложенные руки и не смотря в лицо Клары, которая с полным чистосердечием рассказала о том, как она отдалась впервые Понятовскому, а потом как его выездом из Петербурга воспользовался Чоглоков, как он искал ее благосклонности и, не достигнув этого, употреблял против нее средства, недостойные вообще порядочного человека, а тем еще более женатого на такой прекрасной и молодой женщине, какую она видит перед собою. Хотя Клара говорила сильно взволнованным голосом, но говорила складно и задушевно, и казалось, что она своим чистосердечным признанием совершенно подавила обманутую мужем жену.

Чоглокова то бледнела, то красные пятна выступали на ее лице.

– Этого не может быть! Все, что я слышу, не более как клевета на моего мужа, – повторяла она, задыхаясь от овладевших ею сильных порывов гнева.

На все эти возгласы Клара не проговорила

ни слова.

– А кто устроил ваше сближение с графом Понятовским? – резко спросила она замолчавшую Клару.

Накипевшая против Дрезденши злоба заставила Клару упомянуть об Амалии Максимовне.

– Ах, это та негодная баба, о которой говорят в Петербурге так много даже дамы нашего круга?

«Вероятно, и мой Николай Наумович не раз прибегал к ее посредничеству», – подумала Марья Симоновна и решилась до всего добраться, употребив довольно хитрый прием.

– Я не могу поверить, чтобы мой муж имел какие-нибудь сношения с Лихтершей. Это напраслина на него. Правда, много женатых мужчин бывает у нее. Я, например, слышала, что даже граф Петр Иванович Шувалов часто навещает ее? Но уж это чистейшая выдумка, и ничего нет мудреного, что если могут говорить это о нем, то еще легче говорить о моем муже, который гораздо моложе его. Разве граф Петр Иванович ведет знакомство с Дрезденшей?

– Да, – проговорила Клара, утвердительно кивнув головой.

– Вот видите, – с уверенностью обратилась Марья Симоновна к Кларе, – если мне известны даже те посторонние люди, которые бывали у Дрезденши, то как мне не знать, если бы мой муж имел с нею какие-нибудь сношения?

В ответ на такое странное соображение Марьи Симоновны Клара только слегка улыбнулась, так как ей были известны как очень многие похождения Чоглокова в доме Амалии Максимовны, так и устройство разных его любовных делишек на стороне при посредстве той же Амалии Максимовны.

Спрашивая о графе Петре Ивановиче и желая убедиться в его сношениях с Лихтершей, Марья Симоновна имела в виду приобрести себе сильную союзницу в лице Мавры Егоровны, тоже обманутой своим мужем. Надобно было, однако, кончить как-нибудь с Кларой разговор, так сильно расстроивший Марью Симоновну.

– Отправьтесь к графине Мавре Егоровне Шуваловой, – сказала с видом участия Марья Симоновна, – и расскажите ей обо всем, не

скрывайте и того, что вы знаете относительно ее мужа. Она будет вам за это благодарна. Она очень близка с государыней, имеет счастье беседовать с нею каждый день и может помочь вам гораздо скорее, нежели я, так как я, несмотря на мое родство с императрицей, редко удостаиваюсь видеть ее и не считаю себя вправе в разговоре с нею вмешиваться в чужие дела.

Затем Чоглокова ласково простилась с Кларой, положив расправиться со своим коварным супругом.

Когда позднею ночью Чоглоков вернулся с охоты, Марья Симоновна не могла утерпеть, чтобы не рассказать ему об его любовных похождениях вообще и о проделках его с одною молодой девушкой, об имени которой она, однако, не упомянула, так что оказывалось, будто она только стороной проведала обо всем, без всякого участия со стороны Клары. Николай Наумович долго ломал голову, кто бы мог передать об его проказах Марье Симоновне. Он уверял и клялся, что с ним никогда ничего подобного не было, что все слышанное его женою лишь пустые сплетни или какое-ни-

будь недоразумение на его счет. Размолвка между супругами обратилась в сильную ссору, но Николай Наумович, погорячившись немного, присмирел, чувствуя себя кругом виновным, а Марья Симоновна, видя кротость мужа и его покорность, простила его на этот раз, взяв с него обещание перед иконой, что с ним никогда ничего подобного не повторится. Если же она еще что-нибудь услышит об его волокитстве, то скажет об этом императрице и попросит ее, чтобы она поручила исследовать дело начальнику Тайной канцелярии графу Александру Ивановичу Шувалову, который сумеет отлично расправиться как с ним, так и с предметом его страсти.

XIX

Совершенно иной прием встретила Клара у Мавры Егоровны. Когда Клара приехала в дом к графине и приказала о себе доложить так, как это сделала в доме Чоглоковой, то Мавра Егоровна просто-напросто не захотела принять ее, приказав сказать, что у нее, Мавры Егоровны, никаких дел с чужими людьми нет, а если ей, просительнице, что-нибудь нужно, то она может передать об этом домоправительнице графини, а та уже доложит об ее просьбе ее сиятельству. Вышедшая в прихожую старушка домоправительница принялась допытываться у Клары, что ей именно нужно от графини Марьи Егоровны, но Клара упорно настаивала на том, что она может передать это только самой графине с глазу на глаз, а никому более.

– Вишь ведь, какая упорная! – прошамкала старушка и побрела к своей госпоже.

Настойчивость неизвестной посетительницы раздражила Мавру Егоровну, и она с досадою побежала в прихожую.

– Иди сюда! – громко крикнула она Кларе в

дверь, спешно отворенную бежавшею перед нею старухой.

– Иди сюда! – повелительно повторила Мавра Егоровна, подзывая Клару рукой.

Неторопливо вошла Клара на этот зов.

– Ты кто такая будешь? – отрывисто спросила графиня.

– Я приезжая в Петербург иностранка Клара Оберден.

– О такой я и не знаю и не слыхивала отроду, – проговорила Мавра Егоровна, покачивая отрицательно головой. – А что же тебе нужно?

– Я пришла к вам жаловаться на госпожу Лихтер.

– Какая такая Лихтерша? И такой я не знаю. Что мне до нее за дело! – сердито перебила графиня. – Да кто же она такая? При дворе, что ли, она служит?

– Она тоже иностранка, приехавшая из Дрездена.

– Так это, верно, Дрезденша, что живет на Вознесенской першпективе? – вопросительно вскрикнула Шувалова. – О ней-то я слышала, ну так бы и сказала. Видно, она сманила тебя.

Наобещала три короба разных разностей в Петербурге, ты ей поверила, а теперь вздумала плакаться на нее? Так, что ли? Да ты-то сама, видно, какая-нибудь потаскушка. Вот я с тобой теперь разговариваю, а знаешь ли, что тебя ни одна знатная персона в Петербурге даже через порог не пустит.

У Клары захватило дыхание от такого унижения.

– Я понимаю мое жалкое положение, понимаю его очень хорошо, но что касается знатных персон, то сколько есть между ними таких, которые держат себя похуже меня! – проговорила твердо Клара.

– Что? Что? – грозно заговорила Мавра Егоровна, приподнимаясь с кресел и смотря в упор на Клару. – Не выдумывай, моя голубушка, не выдумывай всяких пустяков и вздоров, да и какое тебе дело до знатных персон. Ведешь знакомство с Дрезденшей, а сама ломишься в амбицию. Да какие такие известны тебе знатные персоны, которые возжались бы с этой негодницей? Ну-ка, скажи, кто он такой? Выдумываешь ты только попусту.

Клара не вытерпела и назвала нескольких

дам, которые, как выразился Данилов, езжали к Дрезденше, чтобы других мужей себе по нраву выбирать. На лице Мавры Егоровны показалось выражение удовольствия. Она была очень рада, что наконец напала на эту дорожку и что у нее для вечерних бесед с государыней найдутся весьма занимательные рассказы. При этом ей вообще приятно было узнать чужие тайны, особенно ввиду того, что сама Мавра Егоровна подозревала своего мужа и ревновала его к некоторым из знакомых с нею молодых дам.

– Хорошо, – проговорила уже несколько приветливым голосом графиня. – Не стыдись, тайны твоей я никому не выдам, а если чем можно, то я помогу.

– Я не стыжусь моей любви, – отвечала воодушевленно Клара, – потому что я полюбила от чистого сердца, полюбила в первый раз и никогда не изменю ему. Быть может, он позабудет и бросит меня, но он навеки останется мне мил! – с чувством и со слезами на глазах проговорила Клара.

– Видно, уж больно полюбился, коли о нем говоришь с таким сантиментом, – усмехну-

лась графиня. – Да кто же он такой?

– Граф Понятовский, – отвечала в волнении Клара.

– Понятовский? – как будто не веря, переспросила графиня. («Так вот оно что, – подумала она, – это куда как любопытно»). – Да вы не та ли особа, которую зовут в Петербурге «принцессой»? Ведь вы покойного короля польского дочерью будете? – спросила Шувалова, изменив свой прежний суровый тон на более мягкий.

– Я не знаю, чья я дочь, и не знаю, зовут ли меня в Петербурге принцессой, – с живостью перебила Клара.

– Теперь я припоминаю вас. Когда мы были с государыней на катальных горах, нам показывали вас. Вы были с Понятовским, и я заметила, что тогда граф сильно увивался за вами. Ах, он этакий негодник. Видно, что вкус у него куда как хорош. Да с чего вы вздумали сходиться с ним? – участливо спросила графиня, указывая рукою на стоявшее возле нее кресло и приглашая этим знаком Клару садиться. – Скажу вам, извините за откровенность, что вы просто-напросто глупенькая, вы

дурочка и больше ничего. Нашли кого выбрать – такого ветрогона, как Понятовский, да у него и без вас было столько возлюбленных персон, которые души в нем не чаяли.

– Он не скрывал от меня своих любовных удач, и я все знаю… – отозвалась Клара.

– Тише, тише, – проговорила Шувалова, – не будьте болтливы. Он, чего доброго, наговорил вам всяких небылиц. Ведь он порядочный хвастун, болтун и пустомеля. Рассказывал он здесь в Петербурге, будто какая-то цыганка предсказала ему, что он будет королем, так вот ему королевская дочь и годилась бы в невесты, – добавила графиня полунасмешливо и, взглянув в это время на сидевшую возле нее красавицу, подумала: «А что, ведь и в самом деле она хоть бы в королевы годилась». – Так что ж, моя голубушка, хочешь ты предпринять? – покровительственно спросила Мавра Егоровна. – Если что тебе нужно, я, пожалуй, доложу и государыне, а она тебя своею высокою милостью не оставит. Она у нас такая добрая, а только дурных нравов и вольностей женских куда как не любит. Вот и теперь хочет повреждение наших нравов исправить.

А ты что хочешь с собою сделать, ты так мне и не сказала.

– Я хочу уехать в Варшаву.

– Ну и с Богом, хорошо сделаешь. Будет, пожалуй, у нас скоро такой переполох, что и тебе, может быть, лучше бы отсюда подальше. Поезжай, поезжай в добрый час, там, наверно, встретишь своего любезного. Он теперь в Варшаве и гоняется за тамошними красотками, отбей его у них. Ведь ты такая хорошенькая, что тобой не налюбуешься.

Несмотря на эту льстивую приправу, на лице Клары выразилась тихая грусть при мысли, что Понятовский действительно изменил ей в Варшаве и волочится за другими.

– Жаль, моя миленькая, – заговорила Мавра Егоровна, – что Понятовский чужой у нас человек. Был бы он верноподданный ее величества, так государыня всемилостивейше позволила бы ему жениться на тебе.

– Да я сама не пошла бы за него, если бы его принудили взять меня за себя, – с живостью перебила Клара.

– Ну, как знаешь! Я сказала это так, только к слову. Да отчего же ты не едешь в Варшаву?

– Меня не хотят выпустить.

– Кто же это?

От прежнего сильного волнения и испытанного теперь раздражения при воспоминании о Понятовском у Клары кружилась голова, и она говорила, не отдавая себе отчета в своих словах. Озадаченная вопросом графини и стесняясь высказать о проделках с нею Чоглокова, хотя Марья Симоновна, по-видимому, и уполномочила ее на это, она как-то бессознательно на вопрос Шуваловой, кто же не хочет ее выпускать, отвечала:

– Ваш муж!

– Как мой муж? Это еще что за новость? – с удивлением вскрикнула Мавра Егоровна.

– Виновата! Я совсем не то хотела сказать, – проговорила, смешавшись, Клара, потирая рукою лоб и глаза, как будто приходя в себя.

– То-то, моя голубушка, вижу я, что ты совсем растерялась, как я заговорила о твоем Понятовском. Да ты, я думаю, моего мужа никогда и не видала? – лукаво спросила Мавра Егоровна.

– Нет, я его видела несколько раз.

– А где? – торопливо перебила графиня.

– У госпожи Лихтер.

– Ну и, разумеется, он за тобою ухаживал? – с любезно притворною улыбкою спросила Мавра Егоровна.

– О нет, – равнодушно проговорила Клара. – Зачем ему за мною ухаживать, когда он нашел себе другую.

– Другую? – привскочив с кресла, спросила графиня. – А как зовут ее?

– Мина.

Графиня сильно наморщилась.

– Мина, – повторила она вполголоса. «Хорошо, я доберусь до него, – подумала Мавра Егоровна. – Отлично сделает государыня, если она положит конец всем этим развращениям. Нужно посильно подбивать Федора Яковлевича да указать Демидову на эту негодяйку Мину. Пусть он хорошенько призаймется ею», – думала Мавра Егоровна. – Я вижу теперь, что ты хорошая девушка, – обратилась Шувалова к Кларе, – а что согрешила, то с кем греха не бывает. Ведь поганцы мужчины – особенно такой, как Понятовский, – соблазнят хоть кого. Будь спокойна, моя сударушка, я сегодня

же все расскажу государыне, она защитит тебя и даст тебе средства уехать в Варшаву. Уезжай туда подобру-поздорову, да только уезжай поскорее, – сказала графиня, снисходительно кивнув Кларе головою на прощание.

XX

Мавра Егоровна провела всю свою жизнь при дворе, начав со скромной должности камер-медхен при царевне Елизавете Петровне еще в ту пору, когда царевне приходилось в самые юные годы жить при трудных условиях. Мавра Егоровна, по отцу Шепелева, успела хорошо ко всему присмотреться и умела в случае надобности отлично владеть собою. По уходе Клары она при встрече со своим мужем сделала вид, что не получала никаких возмутивших ее известий о любовных проделках графа, и даже, напротив, обошлась с ним очень дружелюбно и несколько ласковее, нежели обходилась всегда. Петр Иванович был очень доволен, что дело уладилось благополучно и что Мина так уступчиво, хотя и неохотно исполнила его наставление, уехав на время в Нарву. Он слышал и уже не только

от своей жены, но и от других лиц, что государыня твердо намерена взяться за самые строгие меры для исправления поврежденных нравов, что в Петербурге с такою благою целью будет произведен большой перебор всех личностей, подозреваемых в любовных связях, и что в этом случае императрица приказала действовать беспристрастно, хотя бы розыск касался и самых знатных персон.

В тот же вечер, после того как Мавра Егоровна виделась с Кларой, она пересказала своей царственной подруге обо всем, что узнала от этой откровенной посетительницы. Государыня вспомнила, как она обратила однажды внимание на эту прелестную девушку и что к ней доходили разные слухи об отношениях Клары к поляку-красавцу, за которым следили в Петербурге не так, как за каким-нибудь опасным политическим агентом, но как за слишком смелым волокитою. Императрица в свою очередь склонилась к той общей в Петербурге молве, что Клара была дочерью короля Августа II, и это при рассказе о ней Шуваловой еще более побудило государыню принять в обманутой и потом покинутой де-

вушке особенное участие. Она приказала выдать Кларе немедленно заграничный паспорт, выдача которого была сопряжена в ту пору с большими хлопотами и разными формальностями, и поручила Марье Егоровне осведомиться у Клары, не нуждается ли она в деньгах, добавив при этом на случай, если окажется, что у нее нет денег на проезд, то снабдить ее ими на счет государыни.

Русское общество, несмотря на некоторый внешний лоск, который стало приобретать со времен Петра, продолжало сохранять прежние привычки и нравы, среди которых сплетни, пересуды и судачества были весьма выдававшимися принадлежностями общественной и домашней жизни русских бар и в особенности барынь. Елизавета, несмотря на ее высокое положение, выросла в весьма незатейливой среде, где толки о тех и других людях составляли едва ли не самую приятную часть провождения времени, оставшегося свободным от различных увеселений. Известно, что Елизавета Петровна, произведя ночной переворот, низвергнувший Брауншвейгскую фамилию, поплатилась за это на всю

жизнь ночным страхом, препятствовавшим ей спать спокойно до тех пор, пока не наступал утренний рассвет. Поэтому в ожидании этой поры к ней в опочивальню приводили баб-сказочниц, которые, сидя на полу, в ногах у ее постели, рассказывали ей не только сказки, но и передавали всякие городские слухи и толки.

Теперь у Мавры Егоровны неожиданно набралось столько сведений для толков и пересудов, и притом о лицах, более или менее близко знакомых Елизавете Петровне, что она могла занять ими государыню в продолжение нескольких ночей, так как к краткому рассказу Клары можно было прибавлять и дополнительные отзывы и особые замечания, а порою и воспоминания. Теперь государыне сделались известны такие похождения ее придворных кавалеров – и что было в особенности занимательно – и таких придворных дам, которые вовсе не подозревали, что их любовные проказы, прикрываемые ловкою Дрезденшею, могли быть кому-нибудь известны, а тем еще менее самой государыне.

Слушая рассказы своей любимой собесед-

ницы, Елизавета все более и более убеждалась в полезности задуманной ею меры для исправления нравов, горячо поддерживаемой ее духовником как дело богоугодное. Об измене своего мужа графиня умолчала перед государыней, соображая, что гораздо лучше будет не придавать делу ни малейшего личного участия, и рассчитывая, что и помимо государыни можно будет навести Демидова на Мину, к которой ревнивая Мавра Егоровна почувствовала такую сильную неприязнь, что готова была сжить ее со света.

Выбор Демидова для приведения в исполнение предположенной меры, на которого указал императрице Федор Яковлевич Дубянский, был, по-видимому, как нельзя более удачен. Демидов, не принадлежавший к той фамилии Демидовых, которые, выйдя из тульских крестьян, приобрели себе такую громкую известность своими богатствами, происходил из поповичей, вообще ненавидел знать и слыл в Петербурге примерным служакою. Как человек, он был из числа тех редких мужчин, для которых женщины как будто не существуют. Никакие женские прелести и ча-

ры не могли затронуть его черствого сердца. Когда ему приходилось говорить с женщиной, он не смотрел на нее, опасаясь, чтобы лукавый как-нибудь не искусил его греховным помыслом, хотя едва ли даже и лукавому мог бы когда-нибудь удасться такой зложелательный замысел против бесчувственного кабинет-секретаря.

Получив высочайшее поручение, Демидов предложил государыне, не благоугодно ли будет ей для исправления порочных нравов в Петербурге составить особую комиссию, хотя бы из лиц не очень высоких чинов, но зато вполне благонадежных. Государыня приняла это предложение и назначила Демидова «президентом» учреждаемой комиссии, получившей официальное название комиссии «о безбрачных». Такое название не соответствовало, впрочем, деятельности комиссии, так как ей, будто нарочно, пришлось иметь дело со множеством женатых и замужних. Со своей стороны, Демидов предложил ввести в состав этой комиссии таких лиц, как он сам, то есть таких, которые не только не поддадутся женскому влиянию, но, напротив, по врожден-

ным им свойствам или по приобретенной ими в жизни неприязни к женщинам станут преследовать представительниц прекрасного пола без малейшего послабления.

XXI

В течение Великого поста принялась действовать комиссия «о безбрачных». Василий Иванович Демидов, приняв благословение отца Федора Яковлевича Дубянского, тоже вошедшего в состав этой комиссии, считавшейся «секретною», открыл ее заседание.

В законодательном и вообще в деловом нашем языке каждая пора имела свои особые, весьма употребительные выражения. Грозный, а порою и величавый язык московских приказов, смешавшийся в исходе XVII столетия с достаточным количеством полонизмов, стал отличаться со времен Петра I сильною примесью иностранных слов, преимущественно латино-немецких, но вместе с тем продолжали входить и новые, чисто русские слова, но только с таким им применением, какого они не имели прежде и какое утратили впоследствии, так что теперь они, взятые

в употреблявшемся прежде смысле, кажутся нам странными и забавными. Такую участь в особенности испытали те слова, которые служили для означенных юридических и нравственных понятий. Прежде московско-приказное слово «воровство», означавшее решительно все роды преступлений, стало заменяться со времени Петра I выражениями «неистовство», «продерзости», а иногда и «пакости». Образ же действий, в котором обнаруживались такие поступки, стали называть «произвождением», или «упражнением». Поэтому нам не должны казаться странными те выражения, какие встречаются в делах комиссии, состоявшей под председательством Василия Ивановича Демидова, которые теперь совершенно устарели.

Изложив комиссии цель возложенной на нее задачи, Демидов со слезами на глазах упомянул о заботах императрицы относительно добрых нравов ее подданных; он не забыл, между прочим, и указов относительно одежды, карточной игры и езды на определенном числе лошадей соответственно рангам. При этом Демидов высказал, что в рассуждении

нравственных «произвождений», или «упражнений», не должно полагать никаких различий между знатными и незнатными персонами; что все одинаково должны жить в страхе Божием, когда они должны будут предстать на Страшном суде Господнем и дать ответ за свои «упражнения» в земной жизни. Далее он упомянул, что развращенность нравов персон как мужских, так и женских, и притом не только «подлого» народа, но и среди знатных персон, дошла до крайних пределов.

– Всемилостивейшей государыне, – сказал Демидов, намекая на похождения Понятовского, – известны столь зверские неистовства, что сердце ее переполнено самых горестных чувствий и что ее величество изволила поручить мне заняться этим делом, которое я и потщусь исполнить, по своей рабской должности, без всякой пощады, не обинуясь никем, кто бы то ни был, и приглашаю членов комиссии действовать с такою же прямотою.

Среди членов комиссии после речи ее президента послышался одобрительный говор, а отец Федор привел всех членов к присяге, со-

ставленной президентом применительно к предстоящим им обязанностям, возложенным на комиссию доверием государыни, и Демидов отобрал, по существующему тогда порядку, от своих коллег чересчур грозную подписку в том, что они не будут разглашать тайны совещаний и сделанных комиссией постановлений под опасением лишения живота и чести.

– Прежде чем мы приступим к рассмотрению подлежащих нашему ведению дел, я считаю нужным, – сказал Демидов, обращаясь к заседавшим членам комиссии, – ознакомить ваши превосходительства, ваши высокородия и ваши высокоблагородия с существующими у нас на сей предмет законами.

Говоря это, Демидов взял со стола навитый на небольшой деревянной валик бумажный сверток, так называвшийся столбец – склеенные впродоль листы бумаги, исписанные старинным почерком, так называвшимся полууставом.

– Сия бумага есть указная грамота светлейшего Адриана, архиепископа Московского и всея России и всех северных стран патриарха,

а в грамоте сей значится следующее:

«Которая вдова или девка приживет с кем беззаконно и родит ребенка, и тое родильницу молитвою очистив, взять поручную запись, пока обможется, чтоб не ушла, а как обможется, взять на Десятильнин двор и допросить, и бить шелепами обольстителя нещадно и послать его в монастырь на месяц, а быть ему в монастыре в трудах, быть при утрене, обедне и вечерне, и каждый день по сто поклонов творить. С родильницей поступить так же через сорок дней после родов».

Во время чтения этого указа присутствовавший в комиссии архимандрит Иона с важным видом поддакивал головою, а отец Федор только лукаво улыбался.

– Чаю я, – заговорил Иона по окончании чтения, – что сие мудрое учреждение святейшего патриарха и к подлежащим нам делам применить надлежало бы. Указ святейшего патриарха по церковным делам имеет силу государева указа, и доколе таковой указ не отменен, он должен сохранять свое непреложное действие. Шелепа – орудие куда как полезное: костей они не ломают, язв кровавых

на теле не налагают – это просто пустяки: холщовый длинный мешок, набитый увлажненным песком. А меж тем от ударения им бывает куда как больно. Следует считать, что он поражает чувствительнее, чем плети и батоги. У нас в монастырях таким истязаниям даже самых отъявленных негодников укрощают и исправляют, и тем частоту нравственную созидают и утверждают. Притом, – продолжал архимандрит, – хорошо еще и то, что в указе святейшего патриарха равное наказание для особ всех рангов полагается, никаких преимуществ знатным персонам не дается. Истязай только равномерно шелепами и тех и других и смотри только, чтобы равную влажность они имели.

– Вот это-то, что никаких изъятий при истязаниях не получается, как я мню, весьма худо, – возразило одно из превосходительств, заседавших в комиссии. – В прежнее время, когда в нравах наших господствовала праотеческая простота, такое уравнение могло быть допускаемо, а ныне знатных персон, особенно из женского пола, бить шелепами непристойно, потому главнейшим образом на всерос-

сийском престоле восседает высочайшая персона женского пола, и при битии шелепами знатных персон женского пола сему нежному полу учинялось бы поголовное бесчестие, а сие едва ли пристойно будет в глазах всей российской нации и всего света.

На такое возражение архимандрит Иона только пробурчал себе что-то под нос. Противоречить такому возражению, где его превосходительство сумело затронуть, хотя и очень нескладно, высочайшую особу, было весьма неловко. Но по выражению лица строгого монаха можно было заключить, что он и хотел-то именно при помощи патриаршего указа добраться до знатных персон.

– Патриаршие указы не имеют ныне никакой силы. Патриарший престол ныне упразднен, будучи заменен Святейшим правительствующим синодом, и верховным судьею этого освященного собора есть, по выражению «Духовного Регламента», царствующие государи, или в настоящее время наша благочестивейшая государыня, вседержавнейшая императрица Елизавета Петровна, от воли коей зависит, признавать или не при-

знавать указы, изданные в прежнюю пору патриархами всероссийскими, и о сем надлежит представить ее величеству наш всеподданнейший доклад, – объявил вполне основательно отец Дубянский.

– Сие замечание его высокопреподобия вполне верно, – отозвался Демидов, к мнению которого присоединились и остальные члены комиссии.

Председатель взял печатную в большой лист и переплетенную в желтую кожу книгу и, развернув «Воинский Регламент Петра Великого», принялся читать громким голосом, с вразумительною расстановкою следующий «артикул»:

«Ежели холостой человек пребудет с девкою, и она от него родит, то оный для содержания матери и младенца по состоянию и платы имеет нечто дать и, сверх того, тюремным наказанием и церковным покаянием наказан быть имеет, разве что потом на ней женится и возьмет ее за сущую жену, и в таком случае их не штрафовать».

– Ну, последнее то, чего доброго, и получше иной раз будет, – самодовольно крякнул

отец Иона. – Пожалуй, что такой невольный жених предпочел бы шелепа такому браку. Оттерпелся единожды, да и делу конец, а то по «Регламенту» выходит: женись на той, на которой изначально не имел никакой охоты жениться. По мне, как хотите, так и определяйте, что подлежит делать с блудниками и с блудницами, а я все-таки скажу, что духовный суд будет правильнее, ибо брак и по церковному уставу должен совершаться по обоюдному согласию жениха и невесты, а не подневольно, и патриарший указ правильно поучает, не предписывая никому принудительных браков. По указу этому наказали монастырским заключением и земными поклонами, а там и живи, как хочешь; хочешь – женись, хочешь – нет.

На такие доводы отца-архимандрита члены комиссии не обратили, однако, внимания.

– Ваши превосходительства, – начал опять президент, пересчитывая в последовательном порядке титулы заседавших особ, – к прочитанному мною артикулу «Воинского Регламента» присовокуплено и такое еще толкование оного: «Ежели кто с девицею пребудет и

очреватит ее под уговором, что на ней женится, то он сие содержать и на чреватой жениться весьма обязан». Значит, что и такие случаи могут представиться, что для обольстителя брак должен быть непреложно обязателен.

После непродолжительных прений комиссия, за исключением отца Ионы, постановила по ее делам руководствоваться подходящим артикулом «Великого Регламента», то есть не подвергая наказаниям, предписанным в патриаршем указе, в иных случаях принудительно венчать прегрешившего.

– Так, братец, в журнале и запиши, – приказал Демидов сидевшему за особым столиком секретарю.

– А как поступать в случае нарушения брачной верности супругами? О сем мы никаких указаний не сделаем? – спросил один из членов, почтенный старик, женившийся недавно на молодой девушке и потому на всякий случай желавший обеспечить ее супружескую верность законным порядком.

– Ну таких супругов следует предавать суду духовному. Суд сей будет заключать их в

монастырь на покаяние, а там будут исправлять их и шелепами, и земными поклонами. Таковой способ исправления к мирским властям не относится, – сказал Демидов. – Нам надлежит только забирать под стражу производящих такие неистовства.

– Справедливо, весьма справедливо, – поддакнул Иона, и на этот раз с ним согласились все члены комиссии.

По приказанию президента и это постановление комиссии было записано секретарем в журнале.

– Теперь, – начал снова Демидов, перечислив в прежнем порядке все титулы присутствующих, – теперь предстоит нам решить вопрос о том, коими способами привлекать мы будем к ответу виновных в незаконных любовных «упражнениях». Комиссия наша есть комиссия секретная, оглашать о ней мы по воле благочестивейшей государыни нашей не можем, так что нам нельзя опросить различные начальства, кто из подчиненных им лиц ведет жизнь зазорную, тем менее еще сие применено быть может к лицам женского пола, кои ни под каким непосредственным

начальством не состоят и вдобавок к тому имеют еще знатные ранги.

– А на что же есть сыщики? – с живостью заметил один из членов. – Пусть они разыскивают и разведывают тайком, а потом доносят нам. Мы же будем без всякой огласки привлекать оговоренных к надлежащим объяснениям, невзирая, согласно повелению ее величества, на их ранг и пол.

– Мы можем принимать жалобы супругов, а также и доносы, кои поступать могут к нам от мужей или жен, или от кого бы то ни было, хотя бы и от лиц, скрывших свое имя и звание. Мы по таким доносам будем удостоверяться в справедливости или несправедливости их и таковым образом упрочим благополучие государства Российского на радость ее императорского величества, – подал голос один из членов.

– Коль скоро таковые жалобы и доносы будут поступать к нам, то таить существование нашей комиссии будет излишне, ибо через сие окажется, что тем, которые станут жаловаться или доносить нам, уже известно об учреждении ныне действующей комиссии,

почитаемой секретной, – заметил отец Федор Яковлевич.

Оба эти мнения были приняты единогласно комиссией и записаны секретарем в журнал установленным порядком, а затем по докладу президента были одобрены государыней.

XXII

Немало в течение прошлого столетия совершилось в Петербурге государственных переворотов, и немало случилось здесь разного рода общественных переполохов. Тогдашние перевороты были политического свойства и имели важное государственное значение. Неожиданностью своею они приводили в изумление обитателей новой русской столицы. Петербургские жители в недоумении спрашивали друг друга: «Да как же это случилось и что будет теперь?» Так толковали, впрочем, лишь люди любопытные и болтливые. Большинство же людей осторожных, при которых происходили такие разговоры и толки, очень благоразумно отделывались молчанием, опасаясь попасть в застенок, где шу-

тить не любили и где обыкновенно страшными пытками доводили легкомысленных болтунов и болтуний до оговора не только посторонних лиц, но даже и самих себя.

При таких переворотах всего более испытывали страху «знатные персоны обоего пола», так как перемены в государственном управлении касались их самым ближайшим образом. Им становилось страшно при мысли, что вследствие неожиданного переворота не только явятся при дворе новые временщики и любимцы, которые уничтожат их видное положение, но еще, чего доброго, заберут их имения, а самих препроводят в отдаленную ссылку. Падение регента, герцога Курляндского, а затем и воцарение императрицы Елизаветы Петровны наглядно показывали, какими бедственными для многих сильных вельмож последствиями могут сопровождаться перевороты подобного рода.

Но и помимо таких слишком важных переворотов, немало страху нагоняли на жителей Петербурга и неоднократные переполохи, когда тоже не только знатные персоны, но и люди простого звания начинали трусить, что,

пожалуй, так или иначе, или по действительной прикосновенности, или только по злобному, а порою и неуместному оговору доберутся и до них. Подобный переполох испытали, например, в Петербурге в ту пору, когда начались беспощадные розыски по делу царевича Алексея Петровича. Немало тогда забирали в Тайную канцелярию лиц всякого звания. Некоторые из них вовсе не вышли оттуда на свободу, а иные хоть и вышли, но остались искалеченными на всю жизнь. Нередко производили более или менее сильные переполохи то появление подметных писем, то молва о каком-нибудь заговоре, большею частью мнимом. Тогда хватали кого попало, принимаясь прежде всего за так называвшихся «намеченных» людей, то есть за таких, которые были уже почему-нибудь в подозрении Тайной канцелярии или полиции, так что вообще в ту пору жилось в Петербурге не очень спокойно, и часто никто не мог быть уверен, что он, ложась спать в своем жилье, не будет ночью внезапно захвачен и отвезен туда, где он никогда не желал бы да вовсе и не думал очутиться.

Все перевороты, о которых идет у нас речь, прямо входят в историю, а переполохи с политическим оттенком более или менее соприкасаются с нею, но тот переполох, о котором мы намерены рассказать, совершенно чужд какого-либо политического значения. Он не связан ни с какими заговорами, ни с малейшим злоумышлением против предержащей власти, ни с дерзновенным ее порицанием, но относится только к любовным похождениям лиц обоего пола как знатных, так и незнатных, и представляет немало забавных сторон. Нельзя, впрочем, не оговориться, что, несмотря на такое его значение, он сопровождался грустными и прискорбными последствиями по любовной части для тех, кого он коснулся, хотя все дело обошлось без пыток и казней, и в некоторых частностях развязка его была подобна развязке современных нам комедий или опереток, так как она завершилась несколькими неожиданными браками.

XXIII

– Господь знает, что ныне делается в Питере, – покачивая головою и причмокивая губами, говорила своей товарке старая торговка яблоками, более двадцати лет постоянно продававшая их на Петербургской стороне, на Сытном рынке. – Никогда того еще не бывало, чтобы полицейские десятские хватали ни в чем не повинных молодых баб и девок и тащили их в полицию. Правда, частенько и прежде забирали всяких людей в Тайную канцелярию, но там совсем иная статья. Туда таскают по важным делам, а вот теперь за что-то крепко обозлились на все бабье племя. Мужчин-то, кажись, вовсе не трогают.

Женщина, с которою разговаривала торговка, только удивленно покачивала головою, а потом, подманив свою знакомку в сторону, заговорила ей шепотом:

– Знать-то я знаю, да боюсь сказать тебе, – чего доброго, разболтаешь и меня в беду введешь; ведь ты, голубушка Марья Сергеевна, на язык-то куда какая скорая.

– Не бойсь, вот те Христос, никому ничего

не скажу – разве я сама себе злодейка, разве я погибели своей пожелаю? – загорячилась баба.

– А нешто не слышала ты, – принялась шептать торговка, – что царица тайком ото всех вышла замуж за того поляка, что у ней в такой милости живет и что прежде был придворным певчим.

– Слышала, мать моя, слышала, как не слышать. По всему городу о том только и говорят, – лгала Марья Сергеевна. Хотя она в первый раз только теперь услыхала об этой выдумке, быстро распространившейся в народе, но не желала показать, что она отстала от своей товарки по части городских слухов и сплетен.

– Так вот, – продолжала словоохотливая торговка, – царица теперь и требует, чтобы мужчины и женщины все жили по-христиански, а не беззаконно. Понимаешь?

– Как не понимать. То-то прежде такой строгости и в заводе не было, – подхватила Марья Сергеевна.

– А теперь пошли расправляться, да еще как! Никому спуску нет. Намедни, примером

сказать, вот что случилось: недалеко от меня живет какая-то вдова-офицерша. Ну, разумеется, у нее дружок водится. Так, знаешь, ночью к ней подкралась тишком полиция да и захватила их вдвоем. Молодчика-то отправили, не говоря ни слова, в военную команду, а ее отвезли в Калинкину деревню, на прядильный двор, да там и засадили под самый что ни на есть крепкий караул, железа ей на руки и на ноги надели.

– Поди-ка ты, что творится, Матерь Пресвятая Богородица! Уж будто она и заправская офицерша?

– Как есть офицерша, все в околотке хорошо ее знают, да и мужа ее покойного помнят. Да и что теперь простая офицерша, коли и до полковниц и до генеральшей добираются. Чуть что нехорошее о какой проведают – сейчас же в какую-то комиссию к допросу и тащат. Не то еще, говорят, будет: сказывают, что главной заводчице таких пакостей вот здесь, на Сытной площади, в пример другим вскоре голову отрубят, что завзятых блудниц кнутом бить станут в разных местах города и потом ссылать в Сибирь или в монастыри, смотря

по их вине. Вот до чего люди теперь дожили. Смотри-ка! Смотри-ка! – вдруг вскрикнула торговка, показывая пальцами на конец рыночной площади.

На площади в это время показался небольшой взвод мушкетеров с ружьями на плече. Ими начальствовал полицейский офицер, сопровождаемый несколькими полицейскими десятниками.

– Вишь ведь, что делается? Видно, опять идут забирать какую-нибудь потаскушку, – загалдели в толпе.

Более любопытные бросились к команде, желая следовать за нею, чтобы посмотреть, куда она пойдет и что будет делать, но грозный окрик полицейского офицера заставил всех быстро отхлынуть и разбежаться во все стороны, особенно ввиду того, что в руках у них были толстые палки, которыми в ту пору разгоняли и отгоняли всех простых людей, собиравшихся толпою на улицах или стоявших на дороге.

В разбежавшихся, а потом столпившихся снова кучах рыночного люда шли теперь толки о небывавших еще никогда строгостях, и

спустя каких-нибудь полчаса на площади объяснялась причина строгости тем же самым вымышленным обстоятельством, которым объясняла ее старая торговка своей знакомке.

В Петербурге начался большой переполох. Комиссия, состоявшая под председательством Демидова, принялась действовать, опираясь на полномочие, данное государыней, чересчур уже круто, решительно и безоглядочно. Сперва вследствие принимаемых ею мер распространился по Петербургу только страх, перешедший вскоре в ужас. Сначала робели только простые женщины и девки, с которыми и прежде не слишком стеснялись полицейские власти, но постепенно робость, а потом и страх стали восходить все выше и выше, и вскоре всюду заговорили, что какая-то никому не известная комиссия забирает даже и барынь. Далее пошли толки о том, что она «вынимает» из домов жен от мужей, и притом даже от мужей чиновных, а наконец принялись толковать и о том, что комиссия добралась уже и до знатных персон женского пола, заподозренных в любовных «упражне-

ниях» на стороне, тайком от мужей.

Внезапный захват, без всяких объяснений, подозреваемых и вообще людей «намеченных» не был в ту пору редкостию для петербургских жителей, так как граф Александр Иванович Шувалов, начальник Тайной канцелярии, работал чрезвычайно усердно и затаскивал в свое страшное логовище не только по делам политическим, но и по таким, которые так или иначе затрагивали выгоды казны или – что бывало очень не редко, – только личные выгоды самого графа по разным подрядам и поставкам, взятым им на себя. Но в Тайную канцелярию по всем этим делам забирали почти исключительно мужчин, тогда как теперь стали хватать куда-то только женщин.

Комиссия под председательством Демидова действовала так сурово, что Данилов называет ее в своих «Записках» «инквизицией». Сам он, приволокнувшийся некогда за Шарлоттою и хотя не дошедший в обхождении с нею до важных «произвождений», сильно струсил и, по словам его, успокоился только тогда, когда «оная грозная туча комиссии про-

шла и его миновала».

Наконец, в Петербурге добрались, где существует эта комиссия, и тогда начали поступать к ней жалобы, заявления и доносы. Ни одна женщина и даже ни одна непорочная девушка не могла быть уверена, что ее не возьмут в комиссию для допроса.

– Главным гнездилищем разврата в здешней столице, – заговорил однажды в комиссии ее президент, – должно считаться увеселительное заведение некой иноземки Амалии Максимовны Лихтер, родом из Дрездена, а посему и именуемой в просторечии «Дрезденшей». До нее, ваши превосходительства, и так далее, – говорил Демидов, пересчитывая, как всегда, титулы присутствующих, – и следует нам всенепременно добраться. Нужно разорить ее зловредное гнездо и забрать не только обитающих у нее красавиц, но и посещающих ее дом лиц женского пола. С прискорбием, однако, долженствую я заявить досточтимой комиссии, что посещениям Дрезденши причастны и некоторые знатные персоны обоего пола, но, конечно, мы, по рабской должности нашей, не можем перед сим оста-

навливаться и должны в полной точности исполнить монаршую волю. Посему я и полагаю взять под караул означенную Дрезденшу и под угрозою допроса ее «с пристрастием» осведомиться от нее, кто именно упражнялся и упражняется в ее доме.

Комиссия единогласно одобрила это предложение.

– Еще должен я доложить вам, – заговорил снова Демидов, – есть у меня старый знакомец и некогда сослуживец мой по Коммерц-коллегии, асессор одной коллегии Ладыгин. Мои приятственные с ним отношения и побуждают меня наиглавнейшим образом поступить с ним без всякого лицеприятства. Поступила на него к нам жалоба, что он обещанием жениться склонил к любви одну непорочную и потом очреватевшую девушку, а затем, когда оная девушка потребовала от господина асессора Ладыгина исполнения данного им ей обещания жениться на ней, то поименованный асессор от сего уклонился, почему я и мню, на основании известного уже вам артикула «Воинского Регламента», а также и на основании приведенного к сему

артикулу «Толкования», его, асессора Ладыгина, с очреватевшей от него девицей торжественно обвенчать, показать сим всему свету недремлющую силу закона.

Мнение о повенчании Ладыгина с очреватевшей от него девушкой было единогласно принято комиссиею.

В следующем заседании комиссия занялась Дрезденшей, приведенной под сильным военным караулом в заседание комиссии. Президент ее для большей внушительности и на страх грешницам приказал забирать их в комиссию с особой обстановкой, так как для исполнения распоряжения комиссии посылалась вооруженная команда, которая окружала арестованную, как важную преступницу. Таким порядком приведена была среди белого дня и Дрезденша, захваченная врасплох в то время, когда она, пышно разодетая, вышла на улицу, собираясь ехать в гости. Прогулка разряженной дамы по улицам под военным конвоем возбудила сильный говор, и, судя по богатому наряду дамы, встречные люди принимали Амалию Максимовну за знатную персону.

Другой случай произвел также сильное впечатление на жителей, и в особенности на жительниц Петербурга. Слишком близкая приятельница одного из нелюбимых в гвардии полковников, Воейкова, молодая вдовушка из благородных дам, ехала в его карете. Несколько гвардейских офицеров, собравшихся у одного из своих товарищей, сидели у открытого окна, когда мимо них проезжала карета полковника, и они под благовидным предлогом вздумали сделать неприятность полковнику. Узнав, кто едет в полковничьей карете, офицеры стали кричать из окна той квартиры, где они были в сборе, чтобы карета остановилась. Кучер не слушался их приказаний и шибко погнал лошадей. Тогда приехавший в гости к офицерам верхом один лейб-компанец выбежал поспешно из комнаты, вскочил на стоявшую на дворе свою лошадь и помчался вслед за каретой, нагнал ее и остановил карету, а подбежавшие в это время офицеры ссадили с козел кучера, один из офицеров заменил его собою, другой влез в карету, двое других стали на запятки и таким образом отвезли эту даму в полицию, обвиняя

ее в незаконном сожительстве с полковником.

Что касается Дрезденши, то, по приводе ее в комиссию и после обычных в то время общих при производстве дознаний и следствий вопросов, президент комиссии принялся допрашивать Амалию Максимовну, кто посещал ее. Сначала Дрезденша стала отговариваться тем, что она не знала вовсе фамилий тех, кто бывал у нее. Но Демидов строгим и внушительным голосом потребовал, чтобы она сказала сущую правду, объявив, что комиссия и без ее указаний доберется сама до тех, кто ей нужен, и что, сверх того, упорство со стороны допрашиваемой не только совершенно бесполезно для открытия истины, но что оно усугубит ее наказание.

Тогда испуганная Дрезденша назвала несколько пришедших ей вдруг на память знатных особ, приезжавших к ней «выбирать себе мужей по нраву».

Демидов не удовольствовался такими показаниями Дрезденши, указавшей на нескольких дам, принадлежавших к самому знатному петербургскому обществу.

– Ты нам не на всех указала. Многих ты скрыла, говори без всякой утайки, а то я сейчас прикажу допросить с пристрастием, – крикнул президент, сильно затопав ногами.

Дрезденша растерялась вконец и начала называть даже тех знатных особ, которых она знала только по слуху. При названии некоторых из них среди членов комиссии слышались то возгласы удивления, то сдержанный смех, потому что Дрезденша с испуга и по незнанию в лицо оговариваемых ею стала называть в числе посетительниц ее дома и таких почтенных старушек, которые без посторонней помощи не могли даже приподняться с кресел.

– Вот они каковы наши-то знатные персоны! – не без злорадостного торжества говорил Демидов, ненавидевший, как попович, все то, что отзывалось родовитою знатностью. – Вот они каковские! Да я, впрочем, расправлюсь и с ними. Будут они меня помнить! – грозил суровый президент.

Комиссия постановила составить список лиц, названных Амалиею Максимовной Лихтер, и поднести оный список на высочайшее

воззрение всемилостивейшей государыни, поелику в списке сем встречаются некоторые персоны столь высокого ранга, что комиссия сама по себе не дерзает что-либо предпринимать против них, хотя они и подлежат всей строгости законов.

Далее комиссия постановила: содержать иноземку Лихтершу под строгим караулом в Калинкинской деревне впредь до окончания производившегося о ней в комиссии дела, а проживающих у Дрезденши замужних и незамужних, а также и вдов, забрав из ее дома, отправить в работы, тоже в Калинкину деревню, на прядильный двор.

«Комиссия, – пишет по поводу этого Данилов, – не была еще тем довольна, что разорила такое увеселение и постригла без ножниц многих красавиц. Обыскала она и тех красавиц, кои издалека выписаны были и жили в великолепных хоромах изобильно и которым жертвоприношение было отовсюду богатое. Повынимала она из домов с великою строгостью сей неявленный, заповедный и лестный товар посредством полицейских офицеров, забирала также жен от мужей, по оговору

Дрезденши, которые к ней в дом езжали, чтоб себе других мужей выбирать».

Заботливая о женской нравственности комиссия распорядилась учредить на прядильном дворе сильный военный караул под надзором офицеров, но все благие расчеты комиссии в этом случае разрушились. Караульные офицеры, вместо строгого исполнения обязанностей, возложенных на них «Воинским Регламентом», принялись сами приволакиваться за узницами, вверенными их надзору. «Упражнения» эти были раскрыты ревностным к своему долгу Демидовым, и, замечает Демидов, «многие офицеры подвергли себя несчастью», так как к ним были во всей строгости применены артикулы «Воинского Регламента», относящиеся к гарнизонной службе.

XXIV

На Вознесенской першпективе наискось так внезапно опустевшего дома, где жила Амалия Максимовна и где задавала она веселые вечеринки, стоял небольшой одноэтажный деревянный дом неуклюжей постройки, с крытым крыльцом, выходившим в палисадник, расположенный вдоль улицы. На крыльце этого домика очень часто можно было видеть в летнюю пору и днем и вечером мужчину средних лет, обращавшего на себя внимание своею величавою наружностью. Его высокий лоб с густыми, приподнятыми вверх волосами, в которых просвечивала уже проседь, гордое выражение его лица и проницательный смелый взгляд внушали каждому мысль, что человек этот далеко выходил вперед из числа людей заурядных. Проходившие днем мимо этого скромного дома очень часто могли видеть, как сановитый его хозяин, сидя на крыльце за простым некрасивым деревянным столом, занимался письменной работой, которою он увлекался до того, что не обращал ни малейшего внимания на людей и на соби-

равшихся мальчишек, которые останавливались перед забором палисадника, чтобы посмотреть на писавшего господина. Посмотреть же на него стоило. В жаркое время он сидел обыкновенно в одной только сорочке, из-под раскрытого ворота которой виднелась богатырская грудь. Переставая писать на короткие промежутки времени, он быстро вскакивал со стула, выпивал из стоявшей перед ним на столе глиняной кружечки несколько глотков какого-то напитка и начинал ходить то сперва по крыльцу тихими шагами в глубокой задумчивости, то, сбежав с крыльца, быстрыми шагами по палисаднику, потирая лоб и размахивая руками, как будто разговаривая или с самим собою, или с какими-то незримыми для других собеседниками. Кто знал этого человека, тот легко мог догадаться, что во время спокойной ходьбы он обдумывал какие-нибудь глубокие ученые задачи, а быстрые и беспокойные его движения обнаруживали, что он был в это время под влиянием поэтического вдохновения.

Улица, на которую выходил палисадник, представляла в летнюю пору много удобств

для письменных занятий на открытом воздухе. Она была обыкновенно совершенно пуста, да, впрочем, и хозяин скромного домика не стеснялся нисколько своим незатейливым нарядом. Около домика чувствовался живительный запах сосен, а по временам и вспрыснутых летним дождиком берез, так как вдоль улицы и позади домов существовали еще остатки неокончательно вырубленного леса. С особенным наслаждением вдыхал хозяин скромного домика запах сосны, напоминавший ему его родину на отдаленном севере России.

Под вечер, когда начинало смеркаться, он то задумчиво, то вдохновенно смотрел на загоревшиеся в темнейшем небе звездочки и, казалось, при немом созерцании природы хотел проникнуть в сокровенные от людей тайны.

Когда однажды во время наступавших еще прозрачных июльских сумерек хозяин домика сидел в таком настроении и смотрел на безоблачное небо, он услышал, что перед калиткой палисадника остановилась одноколка, из которой поспешно вылез небольшого

роста худощавый молодой еще человек.

– Приношу вашему высокородию мое почтительнейшее уважение, а вместе с тем и всепокорнейшее извинение на позднее посещение. Не подосадуйте на меня, Михайло Васильевич, что я в такую пору обеспокоил вас. Крайняя необходимость предстояла мне свидеться с вами, – сказал приезжий, стоя у калитки и сняв с головы треуголку.

– А что, брат, – громко крикнул Ломоносов, – видно, опять немцы в академии против тебя заершились. Нам, русским, нужно было бы против них действовать вкупе. Должно быть, тебе Рейхель чем-нибудь подгадил. Пойдем-ка ко мне в горенку. На улице о делах толковать не слишком удобно. Ты знаешь, что звуковые волны воздуха идут...

– Знаю я сие, Михайло Васильевич, благодаря вам, да вот в чем беда: не знаю я, куда принесут меня житейские волны. Страшная буря надо мною готова разразиться, – тяжело вздохнув, проговорил адъюнкт астрономии Никита Петрович Попов.

– Вот теперь для вас, астрономов, наступает хорошая, благодатная пора, – перебил Ло-

моносов, не обращая внимания на слова Попова. – Вот посмотри, уже на небе стали проглядывать звездочки, – продолжал он, отпирая одной рукой калитку палисадника, а другою указывая на небо.

Но приезжий в ответ на это тяжело вздохнул, входя в калитку палисадника, отворенную хозяином.

– Да ты, брат Никита, – заговорил Ломоносов, введя Попова в свое жилище, – попытался бы справиться с Рейхелем через общего вашего начальника господина Делиля. Хоть Яков Осипович и не слишком долюбливает нас, русских, и тоже свысока на нас смотрит, но ведь он не жалует и немцев, а к тебе лично он расположен преотменно и за тебя, наверно, заступится и Рейхелю тебя в обиду не даст, ведь ты у него, как известно, правая рука. Еще недавно он мне тебя хвалил и говорил, что вялый Рейхель никуда против тебя не годится.

Попов замялся, и было заметно, что он таким советом Ломоносова был поставлен в большое затруднение.

– Шарлоттушка! – громким голосом крик-

нул Ломоносов. – Подай-ка сюда свечку, а то уже совсем стемнело. Так что же ты? Не пытался разве проучить Рейхеля через господина Делиля? – спросил Михайло Васильевич, дружески положив свою большую и увесистую руку на плечо своего тщедушного гостя и пристально смотря на него.

– Дело в том, ваше высокородие, – заикаясь, начал почтительным голосом Попов, – что я ни по какому делу ныне обращаться к господину Делилю уже не могу. Потерял я всякое на то право.

– Почему же? – с живостью спросил Ломоносов.

– Потому что меня хотят женить, – почти сквозь слезы пробормотал адъюнкт.

– Так при чем тут господин Делиль? – захохотал громче Ломоносов. – Ведь он, кажись, не твоя невеста, чтобы мог гневаться на тебя, если бы ты женился, да и дочерей у него нет, так что он даже и метить-то на тебя как на жениха не мог. Странно ты, брат, говоришь: сказываешь, что тебя хотят женить, а разве сам добровольно жениться не хочешь? Ничего я, Никита Петрович, из твоих запутанных

и, сказать по правде, даже бессмысленных слов в толк взять не могу. Садись-ка и расскажи мне толком, в чем все дело.

– Вы, быть может, изволите знать, что у господина Делиля живет в качестве домоправительницы молодая немка Шарлотта, – начал прерывающимся голосом Попов.

– Знаю и даже видел ее, так себе дева, средственной красоты и, кажись, среднего разума.

– Ой, ой, ой! В том и беда, что она, ваше высокородие, разума-то среднего, а оказалась такая продувная, что я и не ожидал, – раздраженно вскрикнул адъюнкт.

– Да тебе-то что в этом? Разве только она, как немка, снюхалась, пожалуй, с немцем Рейхелем, а он чрез нее против тебя каверзы у господина Делиля строит? Впрочем, чего же ты, братец мой, можешь ждать от немцев вообще и в особенности, если ими заправляют такие пройдохи, как Шумахер да Тауберт.

– Она-то вконец меня и погубила. Вертелся сначала около Шарлотты один молодой сержант артиллерии, русский, по фамилии Данилов. Да Господь Бог был к нему милостив: избавил его от напасти тем, что его услали в Ри-

гу на службу, а я-то вместо него в беду и попал. Как Данилов уехал в Ригу, – продолжал жалобно Попов, – я вижу, что около Шарлотты место стало пусто, я сдуру-то обрадовался и присоседился к ней. Первее всего я и не смекнул, что господин Делиль поселил Шарлотту у себя в доме, чтоб воспользоваться ее невинностью. Но он в своем расчете ошибся, я предупредил его, и теперь он рвет и мечет против меня, да не только за Шарлотту, но ссылаясь и на то, что я моими любовными «упражнениями» опозорил его дом.

– Ну, что ж, братец ты мой, тут поделаешь? Знаешь, конечно, нашу русскую поговорку: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Ровно ничего хорошего я посоветовать не могу, да ведь такие дела часто с рук сходят полюбовным соглашением.

– В том-то и беда, что тут полюбовного соглашения и быть не может. Не та теперь пора. Теперь – известно ли вам это? – государыней учреждена тайная комиссия о безбрачных, и в Петербурге идет такой переполох, что просто ужас. Всех обретающихся в незаконном сожитии мужчин хотят женить на их

возлюбленных, идут теперь такие розыски, что можно сказать, будто у нас настали времена гишпанской инквизиции.

Ломоносов встрепенулся и как-то тревожно откашлялся.

– Слышал я что-то такое, да, признаться сказать, не поверил, думал я, что сие только простая выдумка каких-нибудь шутников, – проговорил он, стараясь скрыть овладевшее им волнение.

– Должен я по моей преданности и любви к вашему высокородию доложить вам, что и до вас добираются немцы в академии: они строчат донос о пребывании в вашем доме госпожи Шарлотты Ивановны.

– Ну, уж я-то немцам не поддамся! Не им провести Ломоносова! – с раздражением крикнул Михайло Васильевич. – Не дам я им потешаться надо мною. Я-то и у Господа Бога шутом быть на захочу. Смекаю я, что они замышляют, если и вправду учреждена такая комиссия, о которой ты говоришь.

– Не позволю я себе никогда обманывать вас, Михайло Васильевич, никогда, поверьте мне в этом, как честному человеку, – с чув-

ством сказал Попов, – а тем более не позволю я себе ничего подобного при тех важных произвождениях, какие наступили у нас по высокой монаршей воле. Да что тут говорить, если уже меня самого вытребовали на завтрашний день в комиссию о безбрачных для выслушания постановленного ею обо мне решения. Туда же потребовали по такому же точно делу и асессора Коммерц-коллегии Ладыгина, – может, изволите его знать?

– Как не знать! Бывал он у меня несколько раз. Когда составлял он тариф, то по вопросу о вывозе из пределов Российского государства и о ввозе в оные разных металлов необходимо ему было получить некоторые сведения по части металлургии, он обращался ко мне за советами и указаниями. Так и его хотят тоже женить по принуждению? Вот и попался молодец, а ведь он такой весельчак и гуляка, что супружеская жизнь ему не по вкусу придется.

Сказав это, Ломоносов оперся обоими локтями на стол, около которого сидел, и, положив между ладонями свою голову, стал о чем-то размышлять.

В это время Попов вынул из кармана сложенный вчетверо лоскуток бумаги и, развернув его, подал Ломоносову.

– Это что такое? – спросил он, как будто очнувшись.

– Вот та выписка, которую сделал из «Воинского Регламента» Рейхель и на основании которой хотят меня женить на Шарлотте, – печально проговорил жених-адъюнкт.

Ломоносов поднес исписанный листок бумаги к свечке и быстро пробежал глазами несколько первых строк выписки из «Воинского Регламента», который, будучи, собственно, саксонским военным уставом, был при Петре Великом напечатан в Петербурге на русском и немецком языках, так что на каждой странице он был напечатан в двух столбцах. Пробежав глазами первые строки выписки, Ломоносов прочел вслух следующие дальнейшие строки: «so ist solches (то есть данное девушке обещание жениться на ней) zu halten und Beschwagerte zu ehelichen alledings zu verbunden».

– Ну, что ж тут поделаешь, – сказал Ломоносов, возвращая выписку Попову, – должен

ты жениться на Шарлотте, да и только, если ты ей обещал это. Ведь и в пословице говорится: «Не давши слова, крепись, а давши – держись». А когда же будет твоя свадьба?

– Узнаю об этом завтра в комиссии, – вздохнул Попов.

– Ну а мне на твою свадьбу приезжать?

– Нет, уж лучше не ездите, Михайло Васильевич, – грустным голосом проговорил Попов, махнув рукою. – Какая это свадьба! Другая невеста была у меня на примете. Думал я только с Шарлоттой позабавиться, а дело-то кончилось иначе, – сказал Никита Петрович, расставаясь с академиком.

Когда Попов уехал, Ломоносов заходил скорыми шагами по комнате в глубокой задумчивости. В памяти его ожило значительно уже отдалившееся время его студенчества. Вспомнил он многих людей, промелькнувших перед ним в ту пору на чужбине, куда он забрался из своей далекой родины, томимый жаждою научных познаний, которых так усиленно требовал его светлый и могучий ум. Отчетливее всех из припомнившихся ему теперь обликов представился облик молодой,

скромной девушки, бедной мещаночки Шарлотты, у матери которой он, изучая металлургию, проживал в саксонском городке Марбурге как студент-нахлебник. Вспомнилось ему, как он полюбил Шарлотту и как она в свою очередь полюбила его, бедного пришлого издалека студента; как он, принужденный возвратиться на родину, не имел сил расстаться с Шарлоттой и сманил ее с собою в Россию на бедность и лишения, и как она в течение многих лет терпеливо переносила и нужду, и приниженное положение, и вдобавок к тому еще и крутой нрав своего сожителя.

Былое ожило в воображении Ломоносова. Он почувствовал сильное сожаление к Шарлотте и упрекал себя за то, что до сих пор не подумал исправить перед нею своей вины.

– Сама судьба, как нарочно, указывает мне, что я должен был сделать и чего я до сих пор не сделал по моей непростительной беспечности, Шарлотта доказала мне свою неизменную любовь и беспредельную преданность, а я плачу ей за это оскорбительным презрением. Я должен жениться на ней и именно потому, что на брак со мною она не предъявляла и

никогда не предъявит никаких притязаний. Она считает себя моею рабынею, а меня своим господином. Не ожидать же того времени, когда академики-немцы женят меня на ней, как женят теперь Попова. Шарлотта сама по себе имеет уже с давних пор право быть моею женой.

Рассуждая так с самим собою, Ломоносов думал совершенно искренне и теперь только удивлялся, каким образом он среди своих беспрерывных занятий мог забыть исполнить ту обязанность, которая лежала у него на душе столько лет.

– Шарлоттушка, пойди сюда! – ласково по-немецки крикнул он, приотворив дверь из своей комнаты. – Да приходи поскорее.

Шарлотта не замедлила явиться на этот зов.

– Хочешь выйти за меня замуж? – спросил он пришедшую на этот зов еще молодую и красивую женщину.

– Ваше высокородие, господин статский советник, могу ли я думать о такой чести? – чуть слышным и сильно взволнованным голосом прошептала Шарлотта.

– Какой тут, черт возьми, статский советник! – отозвался Ломоносов. – Когда я слюбился с тобой, я был человек бесчинный, простой холмогорский мужик, и только, а ты мной тогда не побрезгала.

– Но теперь вы достигли высокой чести, вас уважают все, не только знатные вельможи, но и государыня. А я простая и необразованная женщина.

– А все-таки, Шарлоттушка, я люблю тебя по-прежнему и буду любить тебя всю мою жизнь. Послезавтра я с радостью обвенчаюсь с тобою. Прости меня, что я так долго медлил исполнить то, что мне приказывала моя совесть.

Говоря это, он крепко обнял Шарлотту и поцеловал ее.

На третий день после этого Михаил Васильевич поехал с Шарлоттой в Ораниенбаум, где были у него фабрика мозаичных изделий и лесопильный завод, и там втихомолку обвенчался со своею возлюбленной.

По дошедшим из Академии наук в комиссию о безбрачных сведениях о незаконном сожительстве господина академика Ломоносо-

ва с иноземкою Шарлоттою комиссия навела соответствующие справки, но оказалось, что сваты-академики попали впросак, так как полиция донесла комиссии, что с Ломоносовым не проживает никакой незаконной сожительницы, а живет Шарлотта Ивановна Ломоносова, законная супруга его высокородия, господина статского советника и академика Михайла Васильевича Ломоносова.

XXV

На другой день после побывки своей у Ломоносова Попов, потерявший всякую надежду избавиться от подневольного брака с поднадоевшей уже ему Шарлоттою, явился в назначенный час в комиссию о безбрачных, где председатель комиссии встретил его грозным взглядом.

– Государь мой! – строго сказал ему Демидов. – Вот ваша записка с обещанием жениться на обольщенной вами девице Шарлотте Миндер, от вас очреватейшей. Вам предстоит теперь только выслушать сделанное по сему делу постановление комиссии, так как подлинность записки вы не отрицали да и отри-

цать не можете.

Сказав это, президент и все члены комиссии встали со своих кресел, и кабинет-секретарь громким голосом прочитал следующее:

«По указу ее императорского величества, самодержицы всероссийской, особо учрежденная ее величеством комиссия о безбрачных и об исправлении поврежденных нравов, рассмотрев жалобу иноземки Шарлотты Миндер на состоящего при санкт-петербургской академии десианс адъюнкта астрономии Никиты Петрова сына Попова, по силе шестнадцатого артикула „Воинского Регламента” и присовокупленного к оному артикулу „Толкования”, постановила: обвенчать его, адъюнкта Попова, с вышереченною Шарлоттою».

Попов не возражал ничего и только покорно склонил свою повисшую голову. Президент и все присутствовавшие опустились в кресла.

– Теперь, государь мой, вам под сею бумагою надлежит учинить рукоприкладство в том, что вам в присутствии сей комиссии было объявлено ее постановление; жалобы же на комиссию в Правительствующий сенат не

допускаются, ибо комиссия сия не есть ординарное, а только чрезвычайное учреждение, восприявшее свою власть непосредственно от высокомонаршей воли.

Сказав это, Демидов подал бумагу Попову и приказал ему подойти к секретарскому столу, чтобы учинить на бумаге надлежащее рукоприкладство.

– Бракосочетание ваше, государь мой, по определению комиссии, воспоследует сего июля в двадцать девятый день, в соборной церкви Казанской Богородицы, куда вы и имеете прибыть в пять часов вечера неотменно, в одеянии, приличествующем бракосочетающемуся лицу. Григорий Григорьевич! – крикнул Демидов, обращаясь к секретарю. – Возьми с господина Попова надлежащую подписку о явке в определенный час и в указанное место.

Расписавшись под подпиской, Попов, совершенно растерянный, вышел из залы заседания.

По уходе Попова в присутствие комиссии был введен асессор Коммерц-коллегии Дмитрий Петрович Ладыгин, человек уже доволь-

но пожилой, представлявший совершенную противоположность Попову. Насколько адъюнкт казался унылым и подавленным, настолько асессор казался веселым, беззаботным и самоуверенным. Войдя в залу, он очень развязно раскланялся с президентом и членами комиссии и, по-видимому, был вполне уверен, что дело кончится пустяками.

Демидов, не удостоивший своего старого знакомца даже кивком головы, встал, как и все члены комиссии, со своего кресла и громогласно прочел Ладыгину постановление комиссии, написанное в той же форме, в какой было написано и постановление по делу Попова, с тою разницей, что, во-первых, в постановлении об асессоре упоминалась не иноземка Шарлотта Миндер, а санкт-петербургская мещанская дочь Евфимия Васильева, и, во-вторых, постановление комиссии основывалось не на письменном доказательстве, как в деле Попова, а только на свидетельских показаниях.

Этим обстоятельством и захотел воспользоваться подневольный жених. Ладыгин начал ссылаться на недостоверность таких по-

казаний и потом на то, что обещание его было только шуткою, а наконец, и на то, что, ведя веселый образ жизни, он иногда вследствие излишней выпивки говорит в приятельской компании вовсе не то, что сам думает. Он уверял, что если свидетели и слышали обещание, данное им Евфимии Васильевой, то оно только случайно сорвалось у него с языка.

– Сими и подобными тому отговорками, – строго сказал Демидов, – всегда возможно, государь мой, отстранить от себя всякую виновность. Комиссия при обсуждении вашего дела имела в виду возможность таких неистовых и продерзостных отговорок и не приняла их в соображение при решении вашего дела, так что вам, государь мой, теперь не остается ничего более, как только учинить под сим постановлением надлежащее рукоприкладство. Всякие же ваши объяснения будут излишни и не будут иметь никакой силы.

С видимой неохотой и сильно дрожавшею рукою подписался асессор как под постановлением комиссии, так и под поданной ему секретарем подпиской о явке к бракосочета-

нию в соборную церковь Казанской Богоматери в тот же день и час, какие были назначены Попову.

– Вижу, – начал Демидов, обратившись к Ладыгину, – что в вас не имеется готовности исполнить монаршую волю, объявленную вам через сию комиссию, с тою предупредительною готовностью, каковая должна быть свойственна каждому из верноподданных ее величества, всемилостивейшей нашей государыни. Посему нахожу нужным предупредить вас, что для точнейшего исполнения вами высочайшей воли, выраженной в сей комиссии, отныне будет поставлена в вашем доме воинская команда при полицейском офицере, который, в случае нежелания вашего – чего, впрочем, я и представить себе не возмогу – исполнить добровольно законное постановление комиссии, приведет вас под караулом в назначенную для вашего бракосочетания церковь.

Бойкий и беззаботный асессор при этой угрозе изменился в лице. Колени его задрожали, он понял, что спасения уже нет, и с понуренной головой и расстроенным лицом хотел

уже выйти из залы заседания.

– Вот что еще, государь мой, я должен сказать вам, – обратился к нему Демидов. – Так как со стороны вашей могут быть представлены отговорки в том смысле, что у невесты вашей не готовы соответствующие предстоящей церемонии наряды, то о сем беспокоиться вам не надлежит. Всемилостивейшая государыня повелела своей гардеробмейстерине снабдить от высоких своих щедрот невесту вашу необходимым подвенечным нарядом. Кареты будут присланы за нею и за вами с колымажного двора, а духовенство и певчие будут удовлетворены за совершение брачного таинства из казенных сумм; на сии же суммы будет произведено освещение храма, так что вам ни о чем заботиться не предстоит. Да, кстати, Григорий Григорич, – обратился Демидов к секретарю, – я позабыл предуведомить обо всем этом Попова, так ты тотчас же, как окончится заседание комиссии, поезжай к нему и объяви ему то, что я сказал господину Ладыгину.

Между тем окончательно помолвленный жених вышел из присутствия комиссии, и

вскоре роковое для него заседание закрылось, так как ей в этот день не пришлось заняться рассмотрением какого-либо другого дела.

XXVI

Был на исходе июль месяц, и приближался Успенский пост. Перед этим непродолжительным постом не бывало и не бывает у нас так много свадеб, сколько справляется их обыкновенно перед наступлением Великого поста, а потому свадьбы в эту летнюю пору, оставляя довольно редкие случаи, обращали на себя в прежнее время особенное внимание петербургских жителей и преимущественно жительниц, особенно если справлялись так называемые богатые свадьбы, и такие свадьбы готовились на 19 июля 1750 года. Тем еще более заняли охотников и охотниц до всяких зрелищ предстоявшие свадьбы, что по городу разнеслась молва, что на этих свадьбах женихи будут подневольные, а невесты – девицы, «очреватевшие» от своих соблазнителей. В Петербурге все говорили об этих свадьбах и желали посмотреть на женихов, обязанных повенчаться против воли по

постановлению комиссии, наведшей ужас на множество петербургских женихов.

В день, назначенный для свадеб Попова и Ладыгина, потянулись по Невской першпективе к Казанскому собору толпы народа нескончаемой вереницей, а также загромыхали тогдашние тяжелые кареты и берлины, в которых ехали знатные обоего пола персоны, желавшие тоже посмотреть на брачующихся.

В то время Казанский собор стоял на том же месте, на котором находится и ныне, но он вовсе и не был таким великолепным храмом, какой был сооружен впоследствии. Старинный Казанский собор был небольшой деревянной церковью крайне незатейливой и, можно даже сказать, уродливой архитектуры, но, несмотря на это, он считался тогда главным храмом в Петербурге, и в нем отправлялись все торжественные богослужения. В день, назначенный для свадеб адъюнкта астрономии и асессора Коммерц-коллегии, мрачный внутри собор был ярко освещен зажженными в нем паникадилами и свечами перед иконами. Полицейские офицеры и десятские не допускали внутрь церкви никого из «под-

лого народа», и она наполнилась только знатными персонами, которых, смотря по степени их рангов, полицейские офицеры предупредительно провожали в церковь вперед, через плотно стоявшую толпу.

На правой стороне церкви, как бы таясь от всех, стоял сильно приунывший адъюнкт, тогда как асессор важно и спокойно прохаживался около поставленного перед царскими вратами аналоя, как бы стараясь быть на виду у всех. Ладыгин, поняв, что он никоим образом не избегнет предстоявшей ему участи, собрался с силами и теперь казался не только равнодушным, но и веселым, каким он был всегда.

Так как при императрице Елизавете Петровне, любившей церковное пение, церковные наши песнопения начали принимать оттенок итальянской музыки, то у нас в церквах стали вводить так называемые концерты. На свадьбы Попова и Ладыгина послана была, по приказанию государыни, часть хора придворных певчих, которые и встретили приехавших женихов торжественным песнопением.

Вскоре после того приехали обе невесты, и певчие приветствовали их пением концерта «Гряди, невеста, от Ливана!». Вся церковь пришла в движение, все кинулись вперед и приподнимались на цыпочки, чтобы лучше посмотреть на приехавших невест, роскошно разодетых гардеробмейстериною государыни. Свадьбы отличались, по-видимому, большою пышностью, так как комиссия, по внушению ее президента, хотела тем самым показать жителям столицы, что хотя обольщение непорочных девиц не проходит даром легкомысленным волокитам, но что вместе с тем государыня, строго держась закона, изданного блаженной памяти ее родителем, изливает свои непомерные щедроты на тех, которые сделались жертвами соблазна и обмана, будучи увлечены невольно в пропасть греховную.

Главным распорядителем брачных торжеств был Демидов и председательствуемая им комиссия. Она явилась в собор в полном составе, в праздничной одежде. Президент ее строго посматривал кругом, как будто отыскивая тех, кого за их любовные «упражне-

ния» следовало бы по закону поставить под венец.

Во время бракосочетания адъюнкт и его невеста стояли приунывши. Он скорбел о своем мимолетном увлечении и о сделанном им промахе, а она раскаивалась в той хитрости, которую употребила, чтобы женить на себе раба Божьего Никиту против его воли.

Совсем иначе держали себя асессор и его невеста. Он с полным равнодушием глядел на свою невесту и с легкой усмешкой на окружавшую их толпу, среди которой видел немало и своих знакомых, и своих приятелей. Невеста смотрела на всех как бы вызывающим взглядом, но, следуя русскому обычаю, не раз принималась хныкать под венцом, закрывая лицо платком и оплакивая свое девство, хотя такое оплакивание, судя по сильно уже раздавшейся ее талии, и казалось довольно запоздалым.

Когда кончился брачный обряд и молодые стали садиться в подъехавшие кареты, их окружила плотная толпа, среди которой шли самые разнообразные толки. Многие, особенно женщины, восхваляли справедливость и

мудрость государыни, желавшей положить конец соблазну молодых, неопытных девушек; другие же находили, что от подневольных браков не будет никакого добра.

Убедившись после обвенчания Попова и Ладыгина в своем неограниченном полновластии, комиссия принялась действовать еще усерднее и еще отважнее, чем прежде. Против нее поднялся в Петербурге сильный ропот, и Мавра Егоровна Шувалова, находя, что ветреникам и ветреницам задана уже хорошая острастка, начала склонять государыню к отмене тех чрезвычайно строгих мер в отношении чиновных персон, которые приняты были комиссией. Под влиянием ее государыня приказала 1 августа 1750 года написать из кабинета новый именной указ с. – петербургской полицеймейстерской канцелярии. По скромности нашего щепетильного в иных случаях времени не совсем было бы удобно передавать некоторые выражения и слова, встречающиеся в этом указе, а потому мы сообщим его содержание в смягченных выражениях.

Так как оказалось, говорилось в этом ука-

зе, что некоторые женщины, подлежащие ведению комиссии о безбрачных, кроются около Петербурга по разным островам, «а иные и в Кронштадт ретировались», того ради ее императорское величество указала: таких женщин как иноземок, так и русских сыскивать, и имеет полицейская главная канцелярия приказать по всем островам от полиции определенным командам смотреть и, «пристойным образом разведывая, оных ловить и приводить в главную полицию, а оттуда присылать в комиссию, и притом оным командам накрепко подтвердить, чтобы честным дамам и людям насильств, обид и примет никаких не чинили».

Указом этим была сдержана излишняя ретивость комиссии, напугавшей своими действиями всех грешников и грешниц по любовным «произвождениям».

Главная виновница всего переполоха, «принцесса», беспрепятственно уехала за границу, и неизвестно, встретила ли она опять Станислава Понятовского, которого полюбила со всем пылом молодой страсти. Сохранилось только известие, да и то не вполне достовер-

ное, что впоследствии она жила в Триесте, где вышла замуж за богатого итальянского негоцианта и считалась дочерью короля польского Августа II.

Понятовский, сделавшийся благодаря покровительству Екатерины II королем польским под именем Станислава-Августа, женился уже в преклонных годах, но брак этот никогда не был объявлен, так как по принятому им при избрании его на престол условию он имел право жениться только на той невесте, которую изберет ему сейм Речи Посполитой. Такой способ сватовства королю не нравился, и он, постоянно окруженный роем хорошеньких женщин, вовсе и не думал о приискании себе постоянной подруги жизни до тех пор, пока наступившая старость показала ему, что пришел конец мимолетных утех и что ему остается только обзавестись преданным другом, какого он и нашел в лице вдовой графини Грабовской, с которой он еще до брака с нею успел сжиться в течение многих лет.

Освобожденную из-под ареста Дрезденшу, признанную по решению комиссии главною развратительницею всего Петербурга, наказа-

ли, как говорили, жестоко розгами и после того выслали из пределов Российского государства.

По странной случайности из всех лиц, прикосновенных к переполоху, долее всего сохранилась память о друге принцессы, графе Дмитревском, и сохранилась она в летописи нашего театра. Когда императрице Елизавете Петровне был в первый раз представлен актер Нарыков, то императрица, пораженная его сходством с графом Дмитревским, повелела ему носить фамилию графа, и под этою фамилиею он составил себе на нашей сцене громкую известность.

Мало-помалу в Петербурге стали забывать о страшном переполохе, произведенном комиссиею о безбрачных, а затем исчезло о ней и всякое воспоминание, как исчезает и все в водовороте людской жизни...

Примечания

1

Мыза – хутор, усадьба.

[^^^]

2

Палаш – прямая, длинная и широкая сабля.

[^^^]

3

Кнастер – сорт табака.

[^^^]

4

Экзерциция – упражнение, учение войск.

[^^^]

5

Маркграф, ландграф, пфальцграф – правители германских княжеств.

[^^^]

6

Фухтеля – удары саблей плашмя.

[^^^]

7

Аркебузирование – расстрел.

[^^^]

8

Корнет – чин младшего командного состава в кавалерии.

[^^^]

9

Решпект – почтение, уважение.

[^^^]

10

Абшид – отставка.

[^^^]

11

1 Веселый дом – увеселительное заведение.

[^^^]

12

«Меленколия», «меланхолия» – грустное, подавленное состояние.

[^^^]

13

В недавно изданных «Записках» маркграфини рассказано об этом случае.

[^^^]

14

«Концепт» – здесь: конспект.

[^^^]

15

Фижмы – юбка на китовом усе.

[^^^]

16

Амфитрион – гостеприимный, хлебосольный хозяин.

[^^^]

17

Содержание и самые обороты речи для этого разговора взяты из «Записок» Данилова, которые и послужили основанием для настоящего рассказа. – Е. К

[^^^]